









1837—1937

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ

# А. С. ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В ДЕВЯТИ ТОМАХ

ПОД  
ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

Т О М  
VII

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА 1938



**А. С. ПУШКИН**

**П О В Е С Т И**

---

**ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
*«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»*

МОСКВА 1938

*Марка и переплет*  
*Н. И. Пискарева*

## От редакции

Тексты повестей, опубликованных при жизни Пушкина, воспроизводятся в настоящем издании в их последних печатных редакциях. На основании сверки с рукописями устранены лишь явные опечатки и цензурные извращения.

Произведения незаконченные или только начатые, равно как планы и программы вещей задуманных, но не осуществленных Пушкиным, даются в их последней рукописной редакции. Из черновых вариантов отмечаются в основном тексте в прямых скобках [ ] только те, которые существенны для уяснения замысла недовершенного произведения или успели прочно войти в литературный и научный оборот. В угловых скобках < > оставляются традиционные названия повестей, самим Пушкиным не озаглавленных, а также вставки редактора и слова, чтение которых предположительно. Все даты на-

писания законченных и незаконченных произведений оговорены в примечаниях.

Переводы иностранных отдельных слов и фраз даны в сносках, переводы более или менее значительных по размерам иностранных текстов даны в комментариях.

# 〈АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО〉

## Глава I

Я в Париже,  
Я начал жить, а не дышать.

Д м и т р и е в. *Журнал  
путешественника.*

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не переставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предложениями, то ра-

ною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил заботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению, и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

§ По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа: пример был заразителен. На ту пору явился Laws: алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем, общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизила все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая

странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностию. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

Temps fortuné, marqué par la licence,  
Où la folie, agitant son grelot,  
D'un pied léger parcourt toute la France,  
Où nul mortel ne daigne être dévot,  
Où l'on fait tout excepté pénitence.<sup>1</sup>

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le nègre du czar<sup>2</sup> и ловили его на перехват. Регент приглашал его не раз на свои веселые ве-

---

<sup>1</sup> (Счастлирое время, отмеченное вольностью,  
Когда безумие, звеня своей погремушкой,  
Легкими стопами обегает всю Францию,  
Когда ни один из смертных не считает нужным  
быть набожным,  
Когда люди делают всё, только не каются.)

<sup>2</sup> (Царского арапа.)

чера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтеские и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостью своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключеньи. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это польстило

ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-по-малу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудренных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову, и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным,

нежели простое любопытство; но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум,—а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде, чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность.

Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа, и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору.

Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг

озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлением его страсти, хотела противопоставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее

положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения— всё было истощено и всё отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец, она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Дня два перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шопот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания

обливал его ужасом... Вдруг он услышал слабый крик ребенка, и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини—черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приблизился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием. Всё вошло в обыкновенный порядок.

Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться, и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, гибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце

чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуточку ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

## Глава II

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им оболыщенную женщину. Графиня час от часа более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться бóльшим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I-го. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего

своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию.

«Подумайте о том, что делаете,—сказал ему герцог:—Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Оставайтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения».

Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении.

«Жалею,—сказал ему регент,—но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он по обыкновению вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостинной

графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы всё на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Bonne nuit»,<sup>1</sup> сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs», повторила графиня. Он всё не двигался... Наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспмятстве написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе потому, что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я всё, когда у твоих ног упивался твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностью... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что позволяет

---

<sup>1</sup> «Доброй ночи.»

в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу—и ты наконец устыдилась бы своей страсти... Что было б тогда со мною? Нет! Лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни всё, что ты вытерпела—все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора—отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива—

и думай иногда о бедном негре, о твоём верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ящики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в 17-ый день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим?—закричал он, вставая с лавки:—Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоём

приезде,—сказал Петр,—и поехал тебе навстречу.—Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же,—продолжал государь,—твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску; он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург.

Ибрагим с любопытством смотрел на ново-рожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына Сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы, и взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катинька, моего крестника: прошу любить и жаловать его попрежнему». Екатерина устремила на него черные пронизательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие,

стройные, свежие как розы, стояли за нею и почтительно приблизились к Петру. «Лиза,— сказал он одной из них,—помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? Вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хоть и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во

дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прославившего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим,—сказал он Ибрагиму,—не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов, Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, всё ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге; он видел вновь великого человека, близ которого, еще

не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж в объятия милой графини.

### Глава III

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякой по своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать.

Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные—следственно не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видел Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов, или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... Но иногда мысль ужасная стесняла его грудь:

рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец—он содрогался: ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостию оборотился, и молодой Корсаков, которого оставил он в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сейчас только приехал,—сказал Корсаков,—и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоём отсутствии. Графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад,—продолжал Корсаков,—что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! Что здесь делают, чем занимаются? Кто твой портной? Заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу,—сказал он,—что тебе теперь не до меня: в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь,—писала она,—что мое спокойствие дороже тебе всего на свете; Ибрагим, если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоём отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что считаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине, и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять. Он уже представлялся государю—и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous,<sup>1</sup>—сказал он Ибрагиму,—государь престранный человек, вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля,

---

<sup>1</sup> (Между нами.)

куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мною не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере, он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста, будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. «Ну, что графиня D.?»— «Графиня? Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-по-малу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что ж ты вытаращил свои арапские белки? или это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность? бешенство? отчаянье? Нет; но глу-

бокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шлафроке, читая французскую книгу. «Так рано?»—сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй,—отвечал тот,—уже половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедem». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков сунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец ныне в моде?

Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажы, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ими общий шопот: арап, арап, царский арап! Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настежь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел...

В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при непрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело поверты-

вались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведенных игрищах, и с досадою косились на жен и дочерей голландских шхиперов, которые в канифасных юбках и красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая, как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «*Que diable est-ce que tout cela?*»<sup>1</sup>—спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожняя глиняные кружки. На столах расставлены

---

<sup>1</sup> <Что за дьявольщина все это?>

были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шхипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озабочен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались—и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом повернутся направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, тарашил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между

молодыми гостьями одна в особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на середину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился, во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить *кубок Большого Орла*». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. Он тщетно уговаривал преступника добровольно

повиноваться закону. «Ага,—сказал Петр, увидя Корсакова,—попался брат, изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков,—сказал ему Петр,—штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство: смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из круга, но зашатался и чуть не упал к неопisanному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцовал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из зала, посадил в карету и отвез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея... проклятый кубок Большого Орла»... но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой,

как его раздели и уложили, и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок Большого Орла.

#### Глава IV

Не скоро ели предки наши,  
Не скоро двигались кругом  
Ковши, серебряные чаши  
С кипящим пивом и вином.

*Руслан и Людмила.*

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин; по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычай любезной ему старины.

Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, т. е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офи-

цера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет 50 от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою, и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостью выделявала самые трудные *па*. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уже из обыкновения.—Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая стар-

шинство рода, и тем поминая счастливые времена местничества, сели—мужчины по одной стороне, женщины по другой; на конце заняли свои привычные места: барская барыня, в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед, в синем поношенном мундире.

Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью.—Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведению старинной нашей кухни, звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна,—сказал князь Лыков:—каково поживаешь?

— По добру, по здорову, кум: поючи да плясучи, женишков поджидаючи.

— Где ты была, дура?—спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет,— сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая.—Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего; а право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят—нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести—сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна,—сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам.—По мне

жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды—поглядишь—сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? Разорение русскому дворянству! Беда, да и только.—При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.

— А кто виноват,—сказал Гаврила Афанасьевич, напняя кружку кислых щей.—Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся; а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля?—возразил Кирила Петрович.—Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды.—Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за прегрешения наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кис-

ленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно,—отвечал разгоряченный супруг,—что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа*; хлопочут не о хозяйстве, а об обновах, не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко,—сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич.— А признаюсь—ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напойт. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шума с Наташей, что привел меня в краску.—На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет—уж не князя ли

Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! Небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца—куды! влетел! расшаркался! разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла подмышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон».—Общий и продолжительный хохот снова изъясил удовольствие гостей.

— Ни дать, ни взять—Корсаков,—сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-по-малу восстановилось.— А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из Неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших, да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи), царской арап всех более на человека походит.

— Конечно,—заметил Гаврила Афанасьевич,— человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы

что зеваете, скоты?—продолжал он, обращаясь к слугам: — бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

— Старая борода, не бредишь ли?—прервала дура Екимовна.—Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбежались, как одурелые, гости перетрусилась, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, всё утихло, и царь вошел, в сопровождении хозяина, оторопелого от радости.—«Здорово, господа»,—сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскивали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь»,—сказал ей государь, и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом обратясь к гостям:—«Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому

дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту перед сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин из почтения и радости ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился.

Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич!—сказал он хозяину:—Мне нужно с тобою поговорить наедине», и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь.

Гости остались в столовой, шопотом толкуя

об этом неожиданном посещении и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

## Глава V

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклоением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи, и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Серdito приказал он слугам скорее собирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать, в ногах князя Лыкова, и начал вполголоса следующий разговор:

— Не даром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец,—сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство?—сказал тесть.—Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей—не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет,—отвечал зять, нахмуясь.—Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов,—но это статья особая.

— Так о чем же, братец,—сказала Татьяна Афанасьевна,—изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было приздумался.

— Что ж такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

— Слава богу,—сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь.—Девушка на выданьи, а каков сват, таков и жених,—дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм,—крякнул Гаврила Афанасьевич,—за кого? то-то, за кого.

— А за кого же?—повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте,—сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец,—отвечала старушка,— как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долго-рукой, что ли?

— Нет, не Долгорукой.

— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?

— Нет, ни тот, ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну, так Милославской?

— Нет, не он.

— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? Нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого же царь сватает Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»

— Батюшка-братец,—сказала старушка слезливым голосом,—не погуби ты своего родного дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному дьяволу.

— Но как же,—возразил Гаврила Афанасьевич.

вич,—отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как,—воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел,—Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого,—сказал Гаврила Афанасьевич,—он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич,—перервала старушка,—слыхали мы сказку про Бову Королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопые дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась—и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться

влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованный сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе—и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! Спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспokoйством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу. «Что Наташа?»—спросил он.—«Худо,—отвечал огорченный отец,—хуже чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом».

— Кто этот Валериан?—спросил встревоженный старик.—Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам,—отвечал Гаврила Афанасьевич,—на беду мою, отец его во время бунта спас мне

жизнь, и чорт меня догадал принять в свой дом проклятого волченка. Когда, тому два года, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял, как окаменелый. Мне показалось это подозрительным,—и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан видно нет.—Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме всё стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему: «Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе не достает?» Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участью и лучшей не желает. «Добро,—сказал государь,—если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить».

По окончанию работы, Петр спросил Ибрагима: «Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал менуэт на прошедшей ассамблее?»—

«Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая».—«Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?»—«Я, государь?..»—«Послушай, Ибрагим, ты человек одинокой, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время, найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством».—«Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай бог мне не пережить моего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...»—«Твоя наружность! Какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом?»

При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться!—думал африканец,—зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только, что я родился под <знойным> градусом?»

Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! Разве можно верить любви? Разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения—более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением.

Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом.— «Всё, брат, кончено,—сказал Петр, взяв его под руку:—я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь: оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах и знатности—и он будет от тебя без памяти. А теперь,—продолжал он, потряхивая дубинкою,—заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне перевестись за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

## Глава VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками.— У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

«Кто здесь?»—произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог.—«Скоро ли рассветет?»—спросила Наталья.—«Теперь уже полдень»,—отвечала служанка.—«Ах, боже мой, отчего же так темно?»—«Окны закрыты, барышня».—«Дай же мне поскорее одеваться».—«Нельзя, барышня, дохтур не приказал».—«Разве я больна? давно ли?»—«Вот уже две недели».—«Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...»

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка всё

стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.—«Что такое?»—спросила больная.—«Господа откушали,—отвечала служанка;—встают изо стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна».—Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросила вполголоса: «что Наташа?»—«Здравствуй, тетушка»,—сказала тихо больная—и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.—«Барышня в памяти»,—сказала служанка, осторожно придвигая кресла. Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновала. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилом Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал

их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.—«Вас зовут, Гаврила Афанасьевич»,—сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

«Дивлюсь твоему терпению,—сказал Корсаков Ибрагиму.—Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания! На твоём месте j'aurais planté là<sup>1</sup> старого враля и весь его род, включая тут же и Наталию Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé.<sup>2</sup>— Скажи по совести: ужели ты влюблен в эту маленькую mijauré?»<sup>3</sup>—«Нет,—отвечал Ибрагим,—я женюсь, конечно, не по страсти, но по соображению, и то, если она не имеет от меня решительного отвращения».—«Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль—не женись. Мне сдается, что твоя не-

---

<sup>1</sup> (Я послал бы к чорту.)

<sup>2</sup> (Слабой здоровьем.)

<sup>3</sup> (Жеманницу.)

веста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? Например: я, конечно, собою не дурен, но случилось однако ж мне обманывать мужей, которые были, ей богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.?—Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! Но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплюсненным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..»—«Благодарю за дружеский совет,—прервал холодно Ибрагим,—но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...»—«Смотри, Ибрагим,—отвечал смеясь Корсаков,—чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле».

Но разговор в другой комнате становился горяч.—«Ты уморишь ее,—говорила старушка.—Она не вынесет его виду».—«Но посуди ты сама,—возражал упрямый брат.—Вот уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он, наконец, может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровьи Натальи.

Воля твоя—а я ссориться с ним не намерен». — «Господи боже мой,—сказала Татьяна Афанасьевна,—что с нею, бедной, будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению». Гаврила Афанасьевич согласился, и возвратился в гостиную.

— Слава богу,—сказал он Ибрагимю,—опасность миновалась.—Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел.—Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и

вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила всё, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку.

Несчастливая красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. «Ласточка» (так прозывалась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилом Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству. сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмещивалась во всё, знала всё, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы

и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна по-минутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-летнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка?—сказала она,—батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды,—продолжала Наташа,—разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заморозить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

— Боже мой, боже мой!—простонала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша,—сказала карлица, целуя ее слабую руку.—Если уж и быть тебе за арапом, то всё же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину: мужья жен не запирают; арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

— Бедный Валериан!—сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня,—сказала она, таинственно понизив голос,—кабы ты меньше думала о стрелцеком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

— Что?—сказала испуганная Наташа,—я бредила Валерианом? батюшка слышал, батюшка гневается!

— То-то и беда,—отвечала карлица.—Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.

## Глава VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый

столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафроке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого роста, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал тотчас.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч,—сказал молодой посетитель тронутым голосом,—ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты, стреляя из детской пушечки, чуть (не) наделал пожара в этой самой комнатке.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Эээ,—вскричал он наконец, обнимая его,—сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрый повес, погофорим.

.....

**П О В Е С Т И  
П О К О Й Н О Г О  
И В А Н А П Е Т Р О В И Ч А Б Е Л К И Н А**

Г-жа П р о с т а к о в а.

То, мой батюшка, он еще сыз-  
мала к историям охотник.

С к о т и н и н.

Митрофан по мне.

*Недоросль.*

**О Т И З Д А Т Е Л Я**

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора, и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но к сожалению ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету

к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружелюбия, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие.

*Милостивый Государь мой \*\*\*\**

*Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, Милостивый Государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.*

*Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяй-*

ства весьма смысленый. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерской полк (числом не упомяну), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие

более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы, и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по щетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими вопросами плута старосту в крайнее замешательство привел, и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и предал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений несколько впрочем не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым

нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом, мы большею частию друг с другом не сходились.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая.\*

Кроме повестей, о которых в письме вашем упомянуть изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлую зимою все окна его флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом.

---

\* Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

Они, как сказывал Иван Петрович, большую часть справедливы и слышаны им от разных особ.\* Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околодка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как то мозолей, и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения, и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волосы русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, Милостивый Государь мой, всё, что мог

---

\* В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукою автора надписано: слышано мною от такой-то особы (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: Смотритель рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., Выстрел подполковником И. Л. П., Гробовщик приказчиком Б. В., Метель и Барышня девицею К. И. Т.

я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16  
Село Ненарадово.

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия, и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.



## Выстрел

Стрелялись мы.

Б а р а т ы н с к и й.

Я поклялся застрелить его по праву дуэли. (За ним остался еще мой выстрел.)

*Вечер на бивуаке.*

### I

Мы стояли в местечке \*\*\*. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В \*\*\* не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он ка-

зался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было невероятно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться,

отвечал он сухо, что случилось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случилось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнил счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв тер-

пение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным, и в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнел от злости и с сверкающими глазами сказал: «милостивый государь, извольте выдти и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях, и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкometу. Игра продолжалась еще несколько минут; но чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три

дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-по-малу всё было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня: по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера, мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной воле, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним попрежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем жела-

ние со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия была полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа,—сказал им Сильвио,—обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас,—продолжал он, обратившись ко мне,—жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время

и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общою; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек, Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся,—сказал он мне;—перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление».

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

«Вам было странно,—продолжал он,—что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р\*\*\*. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р\*\*\*, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его».

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал:

«Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив».

Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?—спросил я.—Обстоятельства верно вас разлучили?»

«Я с ним дрался,—отвечал Сильвио,—и вот памятник нашего поединка».

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют *bonnet de policé*<sup>1</sup>); он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

«Вы знаете,—продолжал Сильвио,—что я служил в \*\*\* гусарском полку. Характер мой вам

---

<sup>1</sup> (Полицейская шапка.)

известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Б\*\*\* (урцева), воспетого Д(енисом) Д(авыдовы)м. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех был или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек, богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами.

Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал

он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, невпример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмеряли нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому; но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною.

Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Нынче час мой настал...»

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо, и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

«Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед

своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!»

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

## II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке N\* уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но как скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шка-

фами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить клюшница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, т. е. самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и вздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б\*\*\*; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало;

я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село \*\*\* рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графской кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем, и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непри-

нужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел»,—сказал я, обращаясь к графу.—«Да,—отвечал он,—выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?»—продолжал он.—«Изрядно,—отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого.—В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов».—«Право?—сказала графиня, с видом большой внимательности;—а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?»—«Когда-нибудь,—отвечал граф,—мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета».—«О,—заметил я,—в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку

я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки». Граф и графиня рады были, что я разговорился. «А как ково стрелял он?»—спросил меня граф.—«Да вот как, ваше сиятельство: бывало увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!»—«Это удивительно!»—сказал граф;—а как его звали?»—«Сильвио, ваше сиятельство».—«Сильвио!»—вскричал граф, вскочив со своего места;—вы знали Сильвио?»—«Как не знать, ваше сиятельство: мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был, как свой брат товарищ; да вот уже лет пять, как об нем

не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство стало быть знали его?»—«Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?»—«Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?»—«А сказывал он вам имя этого повесы?»—«Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство,—продолжал я, догадываясь об истине,—извините... я не знал... уж не вы ли?..»—«Я сам,—отвечал граф, с видом чрезвычайно расстроенным,—а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...»—«Ах, милый мой,—сказала графиня,—ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать».—«Нет,—возразил граф,—я всё расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил».—Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился.—Первый месяц, the honeymoon,<sup>1</sup> провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испу-

---

<sup>1</sup> (Медовый месяц.)

галась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?»—сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!»—закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом. «Так точно,—продолжал он,—выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов, и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил—он спросил огня. Подали свечи.—Я запер двери, не велел никому входить, и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею,—сказал он,—что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жеребий, кому стрелять пер-

вому». Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив»,—сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было, и каким образом мог он меня к тому принудить... но—я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка; я не мог воздержаться от восклицания.)

Я выстрелил, продолжал граф, и слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери открылись, Маша вбегает, и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая,—сказал я ей,—разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше всё еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит?—сказала она, обращаясь к грозному Сильвио,—правда ли, что вы оба шутите?»—«Он всегда шутит, графиня,—отвечал ей Сильвио,—однажды дал он мне шутя пощечину, шутя про-

стрелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве, — а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять, или нет?» — «Не буду, — отвечал Сильвио, — я доволен; я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика, и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.



## Метель

Кони мчатся по буграм,  
Топчут снег глубокой...  
Вот, в сторонке божий храм  
Виден одинокой.

. . . . .  
Вдруг метелица кругом;  
Снег валит клоками;  
Черный вран, свистя крылом,  
Вьется над санями;  
Вещий стон гласит печаль!  
Кони торопливы  
Чутко смотрят в темну даль,  
Воздымая гривы...

Жуковский.

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р\*\*. Он славился во всем округе гостеприимством и радушием; соседы поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякой день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться не-

сколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать, удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выдти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти, и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась

на постель перед самым рассветом и задремала, но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрепятственные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать; сердце ее сильно забилося. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благо-

**словили; она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслися и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто сиюсь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожоки, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.**

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Пер-

вый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит, в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом, и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один, без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею; Влади-

мир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались.—Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до жадринской роши. Прошло еще около десяти минут; роши всё было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился; начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы, да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рошу. «Слава богу,—подумал он,—теперь близко». Он поехал около роши, надеясь тотчас попасть

на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу, и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-по-малу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избытки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?»—«Далеко ли Жадрино?»—«Жадрино-то далеко ли?»—«Да, да! Далеко ли?»—«Недалече; верст десяток будет».

При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?»—продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик,—сказал он,—достать мне лошадей до Жадрина?»—«Каки у нас лошади»,—отвечал мужик.—«Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно».—«Постой,—сказал старик, опуская ставень,—я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?»—«Что ж твой сын?»—«Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться».—«Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиную, и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?»—спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвет»,—отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадковским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную, Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?»—спросил Гаврила Гаврилович.—«Лучше, папенька»,—отвечала Маша.—«Ты верно, Маша, вчерась угорела»,—сказала Прасковья Петровна.—«Может быть, маменька»,—отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник,

отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и не даром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и в хмелю. Таким образом тайна была сохранена более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама, в беспрестанном бреду, высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что вероятно любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение по-

лучили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в \*\*\*ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступле-

ния французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседы, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri-Quatre*,<sup>1</sup> тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове Отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла.

---

<sup>1</sup> (Да здравствует Генрих четвертый.)

Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура!

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в \*\*\* губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё попрежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с *интересной бледностию*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она

с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

*Se amor non è, che dunque...*<sup>1</sup>

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно и он, с своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих

---

<sup>1</sup> (Если это не любовь, так что же это?)

ног и еще не слышала его признания? Что удерживало его? робость, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственно тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию, и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуговляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседы говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду,—отвечала старушка,—подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье,

настоящей героинею романа. После первых вопросов, Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю,—сказал Бурмин,—я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St. Preux.) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...»—«Она всегда существовала,—прервала с живостию Марья Гавриловна,—я никогда не могла быть вашею женою...»—«Знаю,—отвечал он ей тихо,—знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая

Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но—я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат,—продолжал Бурмин;—я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите?—воскликнула Марья Гавриловна;—как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года,—сказал Бурмин,—я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя вер-

стами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек, и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!»—закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?—сказал мне кто-то,—невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу,—сказала эта,—насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?»—«Начинайте, начинайте, батюшка»,—отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь»,—сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать...

Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: пошел!

— Боже мой!—закричала Марья Гавриловна;— и вы не знаете, что сделалось с бедною вашею женою?

— Не знаю,—отвечал Бурмин,—не знаю как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул, и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой!—сказала Марья Гавриловна, схватив его руку;—так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам.



## Гробовщик

Не зрим ли каждый день гробов,  
Седин дряхлеющей вселенной?

Д е р ж а в и н.

Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет всё было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность, и сам принялся им помогать. Вскоре

порядок установился; кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные, также отдаются на прокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу, Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведаёт, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру, и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтоб журить своих дочерей, когда заставлял их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье (а иногда и удовольствие) в них нуж-

даться. Итак Адриан, сидя под окном, и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умерла на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед, — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доныне слышать не можем, — извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом до-

мике, что против ваших окошек.—Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?»—спросил Адриан.—«Э-хе-хе,—отвечал Шульц,—и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть конечно мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».—«Сущая правда,—заметил Адриан;—однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома, и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю однако ж не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки,

что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частью немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее *с секирой и в броне сермяжной*. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обеда с гостями все вместе, угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на не-

мецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!»—провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку— и гости благодарили его, осушая свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особенно, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием, и до того развеселился, что сам предложил какой-то шуточный тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!»<sup>1</sup> Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику, и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему

---

<sup>1</sup> (Наших клиентов.)

соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красеньком сафьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая, в сем случае, русскую поговорку: долг платежем красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле,—рассуждал он вслух,—чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаэр святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой; ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных».—«Что ты, батюшка?—сказала работница, которая в это время разувала его;—что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!»—«Ей-богу, созову,—продолжал Адриан,—и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около нее теснились родственники, соседы и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы.—Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком, и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру всё сладил, и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его

знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи.—Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку, и в нее скрылся. «Что бы это значило?—подумал Адриан.—Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне,—сказал запыхавшись Адриан;—войдите же, сделайте милость».—«Не церемонься, батюшка,—отвечал тот глухо,—ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!»—подумал он, и спешил войти... Тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей,

погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался, и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров,—сказал бригадир от имени всей честной компании;—все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел—так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Ключки светлозеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров,—сказал скелет.—Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб—и еще сосновый

за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия—но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор, и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович,—сказала Аксинья, подавая ему халат.—К тебе заходил сосед портной, и здешний будочник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

— Что ты, батюшка, не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблагостили.

— Ой ли!—сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так,—отвечала работница.

— Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.



## Станционный смотритель

Коллежский регистратор,  
Почтовой станции диктатор.

Князь Вяземский.

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим, или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить об них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Суций мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутовливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покоя ни днем, ни ночью. Вся досаду, накопленную во время скучной

езды, путешественник вымещает на зрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут—а виноват зритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенской мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий зритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут—колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во всё это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого зрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных зрителей представлено

общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные зрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к обществу, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коиими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия зрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через \*\*\*скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего зрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго

не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции \*\*\* стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня!—закричал смотритель.—Поставь самовар, да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?»—спросил я смотрителя.—«Дочка-с,—отвечал он с видом довольного самолюбия;—да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение

и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу; блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой

робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с зрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать: Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого зрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый зритель, может быть, уже сменен; вероятно Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции \*\*\* с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошел в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё

кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его, он привстал... Это был точно Симеон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину—и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?—спросил я его;—мы с тобою старые знакомые».—«Может статься,—отвечал он угрюмо,—здесь дорога большая; много проезжих у меня перебивало».—«Здорова ли твоя Дуня?»—продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает»,—отвечал он.—«Так видно она замужем?»—сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал пошепотом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил, или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню?—начал он.—Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожиться, что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе.—Три года тому назад однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, и дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таким сценам, выбежала из-за перегородки и ла-

сково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпугав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С\*\*\* за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимона.

нада. Больной обмакивал губы, и всякой раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие, и что дня через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оживился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с зрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму зрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с зрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься?—сказал ей отец:—ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест; прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку

подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветренности молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал

молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С\*\*\* и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С\*\*\* почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось,—думал смотритель,—приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает, и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». — «Что сделано, того не воротить, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве, — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пятидесятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять наворачнулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их на землю, притоптал каблуком, и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... Но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего, дня через два, воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней, и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял—да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился, и, поровнявшись с кучером—«Чья,

брат, лошадь?—спросил он,—не Минского ли?»—«Точно так,—отвечал кучер,—а что тебе?»—«Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет».—«Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее».—«Нужды нет,—возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца,—спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Симеоновна?»—спросил он. «Здесь,—отвечала молодая служанка;—зачем тебе ее нужно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!—закричала вслед ему служанка:—У Авдотьи Симеоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате прекрасно убранной Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его

не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?»—спросила она, не поднимая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее поднимать, и вдруг увидя в дверях старого зрителя, оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?—сказал он ему, стиснув зубы;—что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» и сильной рукою, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но зритель подумал, махнул рукой и решился отступить. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию, и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год,—заклучил он,—как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого зрителя, рассказ неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого зрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко \*\*\*, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый зритель?» никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба, и на вопросы мои отвечала, что старый зритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной

поездки и семи рублей, издержанных даром.— «От чего ж он умер?»—спросил я пивоварову жену.— «Спился, батюшка»,—отвечала она.— «А где его похоронили?»— «За околицей, подле покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести меня до его могилы?»— «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителю могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

«Знал ты покойника?»—спросил я его дорогой.— «Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!) идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!»—а он нас орешками и наделает. Всё бывало с нами возится».

«А проезжие вспоминают ли его?»

«Да ныне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу».

«Какая барыня?»—спросил я с любопытством.

«Прекрасная барыня,—отвечал мальчишка,—ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый

смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смиренно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром—такая добрая барыня!..»

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища.

«Вот могила старого смотрителя»,—сказал мне мальчик, вспрыгнув на грудку песка, в которую врыт был черный крест с медным образом.

«И барыня приходила сюда?»—спросил я.

«Приходила, — отвечал Ванька; — я смотрел на нее издали. Она легла здесь, и лежала долго. А там барыня пошла в село, и призвала попа, дала ему денег, и поехала, а мне дала пятак серебром—славная барыня!»

И я дал мальчишке пятак, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.



## Барышня крестьянка

Во всех ты, Душенька,  
нарядах хороша.

Б о г д а н о в и ч.

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околке, в чем и не прекословили ему соседы, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход, и ничего не читал, кроме Сенатских Ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали

гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русской барин. Промотав в Москве большую часть имения своего, и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе;

Но на чужой манер хлеб русской не родится

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунской Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англomanии своего соседа, и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с!—говорил

он с лукавой усмешкою,—у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседов, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего Зоила медведем и провинциалом.

Таковы были отношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в \*\*\* университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякой случай.

Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтоб рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотри, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседы говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иногда и заглядывались; но Алексей мало ими

занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной; в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не жилали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближайший город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями; но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность* (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же одно-

образными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не во осуждение, однако ж *Nota nostra manet*,<sup>1</sup> как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англomана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам, мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала

---

<sup>1</sup> (Замечание наше остается в силе.)

за то две тысячи рублей, и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

«Позвольте мне сегодня пойти в гости»,—сказала однажды Настя, одевая барышню.

— «Изволь; а куда?»

«В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать».

— «Вот!—сказала Лиза,—господа в ссоре, а слуги друг друга угощают».

«А нам какое дело до господ!—возразила Настя;—к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело».

— «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да Расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек».

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна,—сказала

она, входя в комнату,—видела молодого Берестова; нагладелась довольно; целый день были вместе».

— «Как это? Расскажи, Расскажи по порядку».

«Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...»

— «Хорошо, знаю. Ну потом».

«Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...»

— «Ну! а Берестов?»

«Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...»

— «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!»

«Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три и обед был славный; пирожное блан-манже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола, и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился».

— «Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собою?»

«Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...»

— «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?»

«Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать».

— «С вами в горелки бегать! Невозможно!»

«Очень возможно. Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!»

— «Воля твоя, Настя, ты врешь».

«Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделилась. Целый день с нами так и провозился».

— «Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?»

«Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да, грех сказать, никого не обидел, такой баловник!»

— «Это удивительно! А что в доме про него слышно?»

«Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится».

— «Как бы мне хотелось его видеть!»—сказала Лиза со вздохом.

«Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону, или поезжайте верхом; вы верно встре-

тите его. Он же всякой день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту».

— «Да нет, не хорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!»

«И в самом деле: наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает».

— «А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка!» И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговиц, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову, и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, на подобие глиняных котлов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн

колол ее нежные ноги, а песок и камешки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шопотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная, почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой,

перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-по-малу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная лягавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: *tout beau, Sbogar, ici...*<sup>1</sup> и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая,—сказал он Лизе:—собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испуга, и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин,—сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой,—боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься,—сказал он ей;—ты мне позволишь идти подле себя?»—«А кто те мешает?»—отвечала Лиза,—вольному воля, а дорога мирская».—«Откуда ты?»—«Из Прилучина; я дочь Василья кузнеца, иду по грибы». (Лиза несла кузовок на веревочке.) «А ты, барин? Тугиловский, что

---

<sup>1</sup> «Спокойно, Сбогар, сюда.»

ли?»—«Так точно,—отвечал Алексей,—я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уловить их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь,—сказала она,—не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».—«Почему же ты так думаешь?»—«Да по всему».—«Однако ж?»—«Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгой и холодной вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями,—сказала она с важностию,—то не извольте забываться».—«Кто тебя научил этой премудрости?»—спросил Алексей, расхохотавшись.—«Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь?»—сказала она;—разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагладелась. Однако,—продолжала она,—болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую.

Прощения просим...» Лиза хотела удалиться. Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?»—«Акулиной,—отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой,—да пусти ж, барин; мне и домой пора».—«Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гостях к твоему батюшке, к Василью кузнецу».—«Что ты?—возразила с живостию Лиза,—ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти».—«Да я непременно хочу с тобою опять видеться».—«Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами».—«Когда же?»—«Да хоть завтра».—«Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?»—«Да, да».—«И ты не обманешь меня?»—«Не обману».—«Побожись».—«Ну вот ты святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из леса, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переделалась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку.

«Нет ничего здоровее,—сказал он,—как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решила не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решила на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени за-

рядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан, и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти, и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово,—сказала она наконец,—что ты никогда

не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мною свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы,—сказала Лиза,—довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был доброй и пылкой малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего

удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между ним и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменяло их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякой случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою,

велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англазированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он повернул в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно, и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего: Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал по полю. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую

кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскочил к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стреманный привел виновную лошадь, держа ее под устцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседы, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?—сказала она с удивлением;—отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?»—«Вот уж не уга-

даешь, my dear»,<sup>1</sup>—отвечал ей Григорий Иванович, и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите!—сказала она, побледнев.—Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь».—«Что ты, с ума сошла?—возразил отец:—давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...»—«Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны Лизе очень хотелось видеть,

---

<sup>1</sup> (Моя дорогая.)

какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа—отвечала Лиза,— я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или недовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы! — сказал смеясь Григорий Иванович. — Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала готовиться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатила около густозеленого дернового круга. Старый Берестов взшел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом, и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец, и повел по дорожкам,

тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его изображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась; он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексея пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было пред-

ставление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile<sup>1</sup> торчали как фижмы у Madame de Pompadour; талия была перетянута как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и вида удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что

---

<sup>1</sup> (Рукава, пышные у плеча и узкие у кисти.)

сурьма и белилы были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?—спросил он Лизу.—А знаешь ли что? Белилы право тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умиловить раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпе-

реть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч. и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ?— сказала она тотчас Алексею;— какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль»,— возразила Лиза.—«А почему же?»—спросил Алексей.—«А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...»—«Что же говорят?»—«Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?»—«Какой вздор! Она перед тобой урод уродом».—«Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею ровняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж,— сказала она со вздохом,— хоть ба-

рышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли и в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идет скорее, чем по Ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почталиона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала

к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича, всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкой родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович) вероятно обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить

свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякой раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякой день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку, и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарской мундир уже тебя не прельщает!» — «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей, — я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары: мой долг вам повиноваться». — «Хорошо, — отвечал Иван Петрович, — вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

«На ком это, батюшка?» — спросил изумленный Алексей.

— «На Лизавете Григорьевне Муромской, —

отвечал Иван Петрович, — невеста хоть куда; не правда ли?»

«Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».

— «Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал».

«Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится».

— «После понравится. Стерпится, слюбится».

«Я не чувствую себя способным сделать ее счастье».

— «Не твое горе, ее счастье. Что? так-то ты считаешь волю родительскую? Добро!»

«Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь».

— «Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться».

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим, и наконец об Акулине. В первый раз видел он

ясно, что он в нее страстно влюблен; романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роце были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявил ей о грозящей им гибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?»—спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет,—отвечал слуга,—Григорий Иванович с утра изволил выехать».—«Как досадно!»—подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?»—«Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею, и пошел без доклада.

«Всё будет решено, — думал он, подходя к гостиной,— объяснюсь с нею самою».— Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет, Акулина, милая,

смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слышала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «*Mais laissez-moi donc, Monsieur; mais êtes-vous fou?*»<sup>1</sup>—повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!»—повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь открылась, и Григорий Иванович вошел.

«Ага!—сказал Муромский,—да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...»

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

*Конец повестям И. П. Белкина.*



---

<sup>1</sup> (Оставьте меня, сударь, вы с ума сошли?)

## ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотой к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме,

кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые, незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его, как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным, и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же он всё преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка, с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера—где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распу-

стили перед вступлением неприятеля—я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков, хотели меня снова везти в Москву, посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище или, в противном случае, отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в 7 часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я 16-летнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

В сие время определился я юнкером в \*\* пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18... года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений кроме производства в офицеры и выигрыша 240 рублей в то время, как у меня в кармане всего оставался рубль 6 грив. Смерть дражайших моих родителей, воследовавшая в одно время, принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный.—Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочною дорогой.—Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его, что от роду со мною не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно.—Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, всё-таки затягивал гужи.—Наконец, завидел горюхинскую рощу и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось—я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 8 лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками—меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком,—теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего

крыльца.—Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хоть ставни были открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица и дружески со всеми ими целуясь; мои потешные мальчишки были уж мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела»,—и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели».— Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, в бездействии отrostивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед или ужин—ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого роду—я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими

чиновниками.—Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной.—Я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим \*\*.—Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды.—Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из 15 домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим *новейшим письмовником*, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку.—Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии.—Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль: не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя

на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.

К тому же, быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недосыгаемо нам, непсввященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в ПБ. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галлерею 4-го яруса.—Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в \*\*, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме *Ненависть к людям и раскаяние*. Утром, возвращаясь из Главного Штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью *Благонамеренного*; некто в гороховой шинеле ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько

потянул листок Гамбургской Газеты. Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил себе бифштексу и сел передо мною; я всё читал, не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел.—Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был?—сказал один другому:—Это Б., сочинитель».—«Сочинитель!»—воскликнул я невольно,—и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитую, побежал расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невскому проспекту—только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают—оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою, поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавливался, а сочинитель всё уходил от меня вперед. От роду моя солдатская шинель не была мне столь тягостною—от роду эполеты не казались мне столь завидными; наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить,—сказал я, приставя ко лбу руку,—вы

г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастье читать в Соревнователе Просвещения?»—Никак нет-с,—отвечал он мне,—я не сочинитель, а стряпчий; но \*\* мне очень знаком: четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту.— Таким образом уважение мое к русской литературе стоило мне 30 копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста— а всё даром.

Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь, с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из Отечественной Истории.— Не долго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика— и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: *Опасного Соседа*, *Критику на Московский Бульвар*, *на Пресненские пруды* и т. п. Несмотря на то, поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род,

и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу—но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей.—Я хотел низойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т. под., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастью, мысли не приходили мне в голову—и в целые 2 дня надумал я только следующее замечание:

Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.

Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить вымыш-

ленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно.—Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть судьей, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностью, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать историю всемирную—но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной, что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? И мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшало́го языка, когда не мог я выучиться славянским цыфрам? Я думал об истории меньшего объема, напр. об истории губернского нашего города; но и тут сколько препятствий для

меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика, и представляла мало пищи красноречию. \*\*\* был переименован в город в 17\*\* году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся 10 лет тому назад—и истребивший базар и присутственные места.

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению.—Ключница моя, в то самое время, как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: «Книги! книги!»—Книги!—повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую грудку книг в зеленом и синем бумажном переплете—это было собрание старых календарей.—Сие открытие охладило мой восторг, но всё я был рад нечаянной находке: всё же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром.

Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, т. е. ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счета, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. сверх сего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно—ибо увидел я возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное.— Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников Истории села Горюхина,—и вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые шесть месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду—и с помощью божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827 года.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!

---

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина:

1. Собрание старинных календарей. 54 *части*. Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Они отличаются ясностию и краткостию слога: например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6—корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8—погода ясная. 9—дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11—погода ясная. Пороша; затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений...—Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частию так называемым *лавочничьим* с титлами и без титлов, вообще плодовиито, несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги,

Евпраксии Алексеевны—такоже и записки приказчика Горбовицкого.

2. Летопись Горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи—к счастью успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

3. Изустные предания.—Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея старосты, бывшей, говорят, любовницею приказчика Горбовицкого.

4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян.

---

Страна по имени столицы своей Горюхиным называемая занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериховом и Перкуховом, коего обитатели бедны,

тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению зайчей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений Карачевских вольных хлебопашцев—соседей беспокойных, известных буйной жестокостью нравов. К западу облегают ее цветущие поля Захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваkanie лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

В. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса,—но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

---

Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благоприятным климатом.—Рожь, овес, ячмень и гречиха рождаются на тучных его нивах.—Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревьями и валежником на постройку и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах,

клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

---

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиками, и наконец непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

---

Обитатели Горюхина большею частию росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностию.

*В.* *Баба здоровенная*, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам.

Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся в околodge кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пьянства.

Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов и не уступят им в отважности, редкая из них боится старости. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются *копейщицами* (от словенского слова *копье*). Главная обязанность копейщиц—как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь же целомудренны, как и прекрасны; на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочее время года переходят в брод, предварительно засучив портки до колен.

Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями—некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж россиянину легко понять горюхинца и обратно.

Мужчины женились обыкновенно на 13-м году на девицах 20-летних. Жены били своих мужей в течение 4 или 5 лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола

имели свое время власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище—дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: «Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?» При возвращении с кладбища начиналася тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны 2—3 дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранились и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красоты, нежели из настоящей нужды—ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии.—Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Лето-

писи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою.—Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда тоже любимое искусство образованных горюхинцев; балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.

Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Архипа-Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

Ко боярскому двору  
Антон староста идет, (2)  
Бирки в пазухе несет, (2)  
Боярину подает,  
А боярин смотрит,  
Ничего не смыслит.  
Ах, ты, староста Антон,  
Обокрал бояр кругом,  
Село по миру пустил,  
Старостиху надарил.

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

### **Баснословные времена — староста Трифон**

Основание Горюхина и первоначальное население оного покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время всё покупали дешево, и дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастихи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны

обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что кажется достоверным:

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.

Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек—и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старшины витийствовали, мир волновался, а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом.

Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год вла-

ствования Трифона, последнего старосты, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа-Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложная парюю кляч, едва живых; на козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: «Жид, жид, ешь свиное ухо!..» *Летопись Горюхинского Дьячка*.) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки.—Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором—и привели

к незнакомцу по просыпе. Но или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными—и он не был в состоянии их разобрать.—Незнакомец, с ужасными проклятиями отослав старосту Трифона и земского Авдея спать, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие; но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело—и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки с призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служивший вечевою площадью. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы,—и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста и земский Авдей стояли подле него без шапки, с видом подобострастия и глубокой горести.—«Все ли здесь?»—спросил незнакомец.—«Все ли ста здесь?»—повторил староста. «Все-ста»,—от-

вечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (NB. «Грамоту грозновещую сию списах я у Трифона старосты, у него же хранилась она в кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхиным». Я не мог сам отыскать сего любопытного письма.)

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой\*\*, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оною. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: приказаний поверенного моего\*\* им, мужикам, слушаться как моих собственных. А всё, чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он\*\* поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание, и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.

Подписано NN.

Тогда\*\*, растопыря ноги на подобие буквы хера и подбочась на подобие фетра, произнес следующую краткую и выразительную речь:

«Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте— вы, я знаю, народ избалованный; да я выбью дурь из ваших голов, небось, скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы—и с ужасом разошлись по домам.

### Правление приказчика \*\*

\*\* принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы, она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома: «Чем мужик богаче, тем он избалованнее—чем беднее, тем смиреннее». Вследствие сего \*\* старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены на самых зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною строгостию.—2) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню—если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая обще-

ственная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от оногo по очереди откупались все богатые мужики, пока наконец выбор не падал на негодя или разоренного.\* Мирские сходки были уничтожены.— Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того, завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В 3 года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа-Лысого умолкли. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; ребятишки пошли по миру—и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

---

\* «Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы—а старик Тимофей сына откупил за 100 рублей; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р. и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес—и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах,—а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку пьяницу».

## РОСЛАВЛЕВ

*Отрывок из неизданных записок дамы*

Читая «Рославлева», с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени,—и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живо-

стию моих лет и еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна\*\* (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставляю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю.

Брат мой, двадцатидвухлетний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов; он считался в Иностранной Коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши дома. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.

Отец Полины был заслуженный человек, т. е. ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали,—но она скупчалась, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому

лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скупающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала, и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частью состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескьё до романов Крепильйона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и вероятно ничего по-русски не читала, не исключая и стихшков, поднесенных ей московскими стихотворцами.

Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем, и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке. (NB: Автору «Юрия Милославского» грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его, и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша кажется не старше Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько от-

личных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились два или три года назад: между тем как во Франции, Англии и Германии книги, одна другой замечательнее, следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я всё-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговков, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница — *M-me de Staël*. Она приехала летом, когда большая часть московских

жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуеилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее, и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший *M-me de Staël* еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу Корины. Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру, и, казалось, были гораздо более довольны ухую князя, нежели беседую *M-me de Staël*. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости. Во всё время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и *M-me de Staël*. Ждали от нее поминутно *bon mot*<sup>1</sup>; наконец вы-

---

<sup>1</sup> (Острое слово.)

рвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шопот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примиренные с M-me de Staël: она сказала каламбур, который они поскакали развезить по городу.

«Что с тобою сделалось, та chère?<sup>1</sup>—спросила я Полину,—неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?»—Ах, милая,—отвечала Полина,—я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые лица, тупая важность—и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленною! Она увидела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны просвещения, и кинула им каламбур. А они так и бросились!

---

<sup>1</sup> (Моя дорогая.)

Я сгорела со стыда, я готова была заплакать.. Но пускай,—с жаром продолжала Полина,— пускай она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ и понимает его. Ты слышала, что сказала она этому старому, несносному шуту, который, из угождения к иностранке, вздумал было смеяться над русскими бородами: «Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову». Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!

Не я одна заметила смущение Полины. Другие пронизательные глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой M-me de Staël. Не знаю, что подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге и с нею разговорилась. Через несколько дней M-me de Staël написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de M-me votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie.

de S.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> (Мое дитя, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы приехали оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матушки и будьте так добры—засвидетельствуйте ей почтение друга вашего де-С.)

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с M-me de Staël, несмотря на всё мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной, как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я всё это в одном очень порядочном обществе. «Может быть,—заметили мне,— M-me de Staël была не что иное как шпион Наполеона, а княжна\*\* доставляла ей нужные сведения».—«Помилуйте,—сказала я,— M-me de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая M-me de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, M-me de Staël, друг Шатобриана и Байрона, M-me de Staël будет шпионом у Наполеона!..»—«Очень, очень может статься,—возразила востроносая графиня Б.—Наполеон был такая bestia, а M-me de Staël претонкая штука!»

Все говорили о близкой войне, и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастью, заступники отечества были немного простоваты; они

были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого Моста и тому подобным. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились престонародные листки графа РаSTOPчина; народ ожесточился. Светские баллагуры присмирели; дамы вструхнули.

Гонители французского языка и Кузнецкого Моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался от лафита, а принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедывать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрыть свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая

проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспаривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай бог,—говорила она,—чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. «Помилуй,—сказала я однажды:—охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». Глаза ее засверкали.—«Стыдись,—сказала она,—разве женщины не имеют отечества? Разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет! Я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуж-

дают нас. Посмотри на M-me de Staël. Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой... И дядюшка смеет еще насмеяться над ее робостию при приближении французской армии! «Будьте спокойны, сударыня: Наполеон воюет против России, а не против вас»... Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но M-me de Staël в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлот Кордэ? А наша Марфа Посадница? А княгиня Д\*\* (ашкова)? Чем я ниже их? Уж верно не смелостию души и решительностию». — Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: «Il n'est de bonheur que dans les voies communes».<sup>1</sup>

Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений. Все толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем

---

<sup>1</sup> «Счастье только на путях обыкновенных.» Кажется, слова Шатобриана. *Примеч. Изд.*

своим именем. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уж не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. «Вы чем пожертвуете?» — спросила она раз у моего брата.—«Я не владею еще моим именем,—отвечал мой повеса.— У меня всего на всё 30 000 долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества». Полина рассердилась. «Для некоторых людей,—сказала она,— и честь, и отечество, всё безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви». Брат мой вспыхнул.—«Вы слишком взыскательны, княжна,—возразил он.—Вы требуете, чтобы все видели в вас *M-me de Staël* и говорили бы вам тирады из *Корины*. Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелем».—С этим словом он отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку за благородный порыв негодования и, узнав через неделю, что он вступил в *Мамоновский полк*, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свою

свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали, Москва тревожилась; жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их \*\*скую деревню.

Мы приехали в\*\*, огромное село в 20-ти верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большею частью приезжих из Москвы. Всякой день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка *Бивак* и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, Растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томление овладело ее душой. Она отчаявалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полиц(ейские) объявления графа Растопчина выводили ее из терпения.— Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры им принимаемые варварством не-

стерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты и следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в безумстве такого предприятия—но мысль о Шарлоте Кордэ долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по-московскому. Давал обеды, завел *théâtre de société*,<sup>1</sup> где разыгрывались французские *proverbes*,<sup>2</sup> и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя.

Их было четверо—трое довольно незначущие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою

---

<sup>1</sup> (Любительский театр.)

<sup>2</sup> (Пословицы.)

хвастливость почтенными своими ранами. Но четвертый был человек чрезвычайно примечательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностию. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег, и столько же беспокоило [французов], как ожесточало русских. «Но вы,—спросила его Полина,—разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?» Синекур (назову ж и его именем, данным ему г-м Загоскиным), Синекур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Синекур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. «Кончен!—возразила Полина,—а Наполеон всё еще идет вперед, а мы всё еще отступаем!»—«Тем хуже для нас»,—отвечал Синекур, и заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку невозможно было добиться. Они были наполнены шутками умными и плохими, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. «Признайся,—говорила она,—что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений находит он способ писать ничего не значущие письма, какова же будет мне его беседа в течение тихой семейственной жизни?» Она ошибалась. Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем, самого оскорбительного для нас. Он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.

Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем, у всякого было самое верное известие, всякой имел список убитым

и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту видела она в нем мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я заставляла ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что было еще причиною ее горести.

---

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Синекур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества, и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я, смеясь, дала ему заметить, что положение его самое романтическое.—В плену у неприятеля раненый рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце и наконец получает ее руку.—«Нет,—сказал мне Синекур:—княжна видит во мне врага России, и никогда не согласится оставить свое отечество». В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы пошли к ней

навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.

«Москва взята»,—сказала (она) мне, не отвечая на поклон Синекура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Синекур молчал, потупя глаза.—«Благородные, просвещенные французы,—продолжала она голосом, дрожащим от негодования,—ознаменовали свое торжество достойным образом.—Они зажгли Москву—Москва горит уже два дни».—«Что вы говорите,—закричал Синекур,—не может быть».—«Дождитесь ночи,—отвечала она сухо:—может быть, увидите зарево».—«Боже мой! Он погиб,—сказал Синекур,—как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную опустелую сторону, при приближении зимы, с войском расстроенным и недовольным. И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад: нет, нет, русские, русские зажгли Москву! Ужасное, варварское великодушие! Теперь всё решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором!»

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. «Неужели,—сказала она,—Синекур прав, и пожар Москвы дело наших рук? Если

так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу!»

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за отечество. «Ты не знаешь? — сказала мне Полина с видом вдохновенным. — Твой брат... он счастлив, он не в плену — радуйся: он убит за спасение России».

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия.



# 〈ДУБРОВСКИЙ〉

## ТОМ ПЕРВЫЙ

### Глава I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения.

Никто не дерзал отказываться от его приглашения, или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать

полную волю всем порывам пылкового своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, [он] раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. [В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, собственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодые затворницы, в положенные часы, сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилла Петрович выдавал некоторых из них замуж и новые поступали на их место.]

С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; [несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство].

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах, и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Га-

вриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский, с расстроенным состоянием, принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, от роду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишка своего старого товарища. [Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходились отчасти и в характерах и в наклонностях.] В некоторых отношениях [и] судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку—сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петро-

вича росла в глазах родителя, и он часто говорил Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головою и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать, и выдти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай всё расстроил и переменял.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъездное поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на

псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилы Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак [и богадельня], под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением, и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилы Петровича—один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзую; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения.

— Что же ты хмуришься, брат,—спросил его Кирила Петрович,—или псарня моя тебе не нравится?

— Нет,—отвечал он сурово,—псарня чудная,—вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам.

Один из псарей обиделся.

— Мы на свое житье,—сказал он,—благодаря бога и барина, не жалуемся —а что правда—то правда, иному [голому] и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку.—Ему было б и сытнее и теплее.

Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псара могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел, и не сказал ни слова.

В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят—он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и только тогда, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. От роду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, по-

скакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что дескать Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирила Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух—и услышал следующее:

Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне пса́ря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопов не намерен, да и от Вас их не стерплю—потому что я не шут, а старинный дворянин.—За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский.

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рас-

сердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своей сущностью.

— Как,—загремел Троекуров, вскочив с постели босой,—высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать!— да что он в самом деле задумал; да знает ли он с кем связывается,—вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту, с обыкновенной своею пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своею охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское—Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услы-

шал он удары топора, и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно вооруженных у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом—и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла, и осадить самого помещика в его усадьбе—таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел

у ворот остановившуюся тройку—маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинеле вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику—Троекуров узнал заседателя Шабашкина, и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном, и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут,—сказал ему Троекуров,—зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство,—отвечал Шабашкин,—и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда, выпей водки, да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя.—Он отказался от водки (и) стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть,—сказал Троекуров,—мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение—как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы, или...

— Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это име-

ние принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына, и продано потом отцу Дубровского.—Нельзя ли к этому придраться?

— Мудрено, ваше превосходительство; вероятно сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли как ни есть образом достать от вашего соседа запись, в силу которой владеет он своим именем, то конечно — — —

— Понимаю, да вот беда—у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! Чего ж вам лучше—в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же—я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству, ровно через две недели, Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет, и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во 1) что Дубровский мало знает толку в делах, во 2) что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться—уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвою ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало за-

ботился о выигрыше им затеянного дела—Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, страшая и подкупая судей и толкуя вкрив и впрям всевозможные указы. Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к \*\* земскому судьи для выслушания решения одного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

## Глава II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович, писаря встали и заложили перья за ухо, члены встретили его с изъявлениями глубокого подобоострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях,—Андрей Гаврилович стоя при-

слонился к стенке—настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.

Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года (февраля) \* дня К\*\* уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим \*\* губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола \*\* душами, да земли с лугами и угодьями \*\* десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9-го дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец [коллежский асессор] и кавалер [Петр Ефимов] сын Троекуров в 17... году августа 14-го дня, служивший в то время в \*\* наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее \*\* округи в помянутом сельце Кистеневке, которое селение тогда по ревизии называлось Кистеневскими выселками, всего значущихся по 4-й ревизии мужеска пола \*\* душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою,

с пашенною и непашенною землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына, по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2 500 р., на что и купчая в тот же день в \*\* палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день К\*\* земским судом введен был во владение и учинен за него отказ.—А наконец 17... года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а между тем он проситель генерал-аншеф, Троекуров с 17... года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения, как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие \*\* и \*\* губерниях в К\*\*, П\*\* и Р\*\* уездах, в разных селениях, всего до 3 000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными \*\* ими \*\* душами (коих по нынешней... ревизии значится в том сельце всего \*\* душ) с землею

и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение, а за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж \*\* земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, \*\* душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17... году августа 30 дня, засвидетельствованной в \*\* уездном суде, титулярному

советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, \*\* душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил одного доверителя Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему продавцу Троекурову впредь и никому в то имение уже не вступаться.

Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу,—ему Андрею Дубровскому неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17... году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением—со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, т. е. с 17... года, а по смерти отца его с 17...

и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей—которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые гг. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно.—Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же гг. Дубровских назад сему лет 30-ть от случившегося в их имении в ночное время (пожара) сгорел, причем сторонние люди доказали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2 000 рублей.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилою Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных

доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертью самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года мая... дня, совершенно уничтожается.—А сверх того—велено спорные имения отдавать во владения—крепостные по крепостям, а не крепостные по розыску. На какое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобраз, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащее им имение и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе... с помещика Дубровского и его Троекурова оными удовлетворить.—По рассмотрении какого дела и учиненной из оного и из законов выписки в \*\* уездном суде определено:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке,

по нынешней... ревизии всего мужеска пола\*\* душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу одного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17... году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупатель, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году\*\*\* земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена (доверенность), данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского: но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу... воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертию дателя оной совершенно уничтожается.—Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, т. е. с 18... года, и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, \*\* душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на

оное купчей за генерал-аншефом Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова; и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать К\*\* земскому суду.—А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправо владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов.—Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у гг. Дубровских несколько лет в беспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таком неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением, а посею генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемя из оного ничего. А что при вводе за него оказаться может всё без остатка, предоставляя между тем генерал-аншефу Троекурову,

буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить где следует особо.—Каковое решение наперед объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписи удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда—.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует.

Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот

упал, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство, — продолжал он, — псаря вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас уже проучу — — —». Сторожа сбежались на шум, и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастью не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи—к вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

### Глава III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё еще было плохо. Правда припадки сумасшествия уже не возобновля-

лись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты, и задумывался по целым суткам.—Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей, и кроме ее не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардии пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил

в долги, не заботясь о будущем, и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал, и прочел следующее:

Государь ты наш, Владимир Андреевич,—я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровьи папенькином. Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое—а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное—слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову—потому что мы-дескать ихние, а мы искони Ваши—и от роду того не слыхивали.—Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду.—Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит?—У нас дожди

идут вот уже друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня.

Владимир Дубровский несколько раз сряду прочитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста—со всем тем он романически был к нему привязан, и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца никакого известия и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выдти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись

один, написал просьбу об отпуске — закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске [и через два дня пустился в дорогу на перекладных с верным своим Гришей].

---

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне: глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне, и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон

повез его проселочными дорогами—и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

— А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич—барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд—хотя по часту он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

— Так видно этот Кирила Петрович—у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин—заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках—господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымает он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы—на днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита кузнец и сказал ему: и полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей—Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе—а все мы божи да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы на нашешь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави—у него там и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет.—Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем.

При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал—и предался своим размышлениям. Прошло более часа—вдруг Гриша пробудил его восклицанием: *Вот Покровское!* Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами—на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома—на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня—около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезьями. Дубровский узнал сии места—он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его

моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинаясь честолюбию, общему и деревенским кучерам как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу, и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилося.—Перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через 10 минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неопишанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошанный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб, окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Насилу мог

он продрасться сквозь их усердную толпу, и взбежал на ветхое крыльцо. В сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника.

— Здорово, здорово, няня,—повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху, —что батюшка, где он? каков он?

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

— Здравствуй, Володька!—сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего.

Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддерживал его.

— Зачем вы встали с постели,—говорила ему Егоровна,—на ногах не стоит, а туда же норovit, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне— и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише, и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

## Глава IV

Где стол был яств, там гроб  
стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения—у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное—из коего не мог он получить ясное понятие о тяжбе, и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его превосходительству вступить во владение новоприобретенным имением—самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии нахо-

дился его противник, старый товарищ его молодости—и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выbranить—но, не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито:

— Пошел вон, не до тебя.

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: *Гром победы раздавайся*, что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщенье и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали.—Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа—и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальней у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смяте-

ние изобразилось на лице его—багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся— —и вдруг упал.—Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания—паралич его ударил.

— Скорей, скорей в город за лекарем!—кричал Владимир.

— Кирила Петрович спрашивает вас,—сказал вошедший слуга.

Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора— пошел.

Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина—Егоровна всплеснула руками.

— Батюшка ты наш,—сказала она пискливым голосом,—погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас.

— Молчи, няня,—сказал с сердцем Владимир,—сейчас пошли Антона в город за лекарем.

Егоровна вышла. В передней никого не было— все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо—и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его, сидя на дрожках—лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина.

Дворня с шумом толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал:—«Не надобно лекаря, батюшка скончался».

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь—не было уж и признака жизни в сем теле еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла—слуги окружили труп, оставленный на их попечение,—вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

## Глава V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с деревьев.

При выходе из рощи, увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери, там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился—но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом—за ним и все дворовые—принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики нередко утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на клад-

бище—в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу—все присутствующие бросили в нее по горсти песку—яму засыпали, поклонились ей, и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил, и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед—объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать—и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, повидимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околодку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.)

— Что будет—то будет,—сказала попадья,— а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же, как не ему, и быть у нас господином,—прервала Егоровна,—напрасно Кирила Петрович и горячится—не на робкого напал—мой соколик и сам за себя постоит—да и, бог даст, благодетель его не оставит. Больно спесив Кирила Петрович: а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: Вон, старый пес! Долой со двора!

— Ахти, Егоровна,—сказал дьячок,—да как у Григорья-то язык повернулся, я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и клонят ниц, а спина-то сама так и гнется, так и гнется. — — —

— Суета сует,—сказал священник,—и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче, да гостей созовут побольше— а богу не всё ли равно. — —

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околодок, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно,—есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пир ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между *(тем)* Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушить душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги—сучья поминутно задевали и царапали его—ноги его поминутно вязли в болоте—он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной

лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его. — — Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки—в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев—и живо представлялось ему верное подобие жизни—подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться—он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. — — Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо,—говорил поп попадье,—нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось — —

Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь увидел он множество народа—крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

— Что это значит?—спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу.—Это кто такие, и что им надобно?—

— Ах, батюшка Владимир Андреевич,—отвечал старик, задыхаясь.—Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина.

— Отец ты наш,—кричали они, целуя ему руки,—не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим.—Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали (его).

— Стойте смирно,—сказал он им,—а я с приказными переговорю.

— Переговори, батюшка,—закричали ему из толпы,—да усовести окаянных.

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо

взирал около себя... Исправник, высокий и голстый мужчина лет пятидесяти, с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крикнул, и произнес охриплым голосом:

— И так, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь г. Шабашкин.—Слушайте его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник.

При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования.

— Позвольте узнать, что это значит?—спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника.

— А это то значит,—отвечал замысловатый чиновник,—что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться по добру по здорову.

— Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам—и объявить помещику отрешение от власти — —

— А ты кто такой,—сказал Шабашкин с дерзким взором,—бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помер,—мы вас не знаем, да и знать не хотим.

— Ваше благородие, наш молодой барин,—сказал голос из толпы,—Владимир Андреевич.

— Кто там смел рот разинуть,—сказал грозно исправник,—какой барин, какой Владимир Андреевич—барин ваш Кирила Петрович Троекуров—слышите ли, олухи.

— Как не так,—сказал тот же голос.

— Да это бунт!—закричал исправник.—Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперед.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? Но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать — —

— Да что на него смотреть,—закричали дворовые,—ребята! долой их!—и толпа двинулась.

Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени—и заперли за собою дверь.

— Ребята, вязать!—закричал тот же голос,—и толпа стала напирать.

— Стойте, —крикнул Дубровский, — дураки, что вы это? вы губите и себя и меня—ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его —

он нас не обидит—мы все его дети—а как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать.

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желанное действие. Народ утих, разошелся—двор опустел. Члены сидели в доме. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление.

Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.

— Мы решили,—продолжал заседатель,—с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся во-свояси.

— Делайте, что хотите,—ответил им сухо Дубровский,—я здесь уже не хозяин.

С этим словом он удалился в комнату отца своего, и запер за собою дверь.

## Глава VI

«Итак, всё кончено,—сказал он сам себе;—еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился,

где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченною на перилы, в белом утреннем платье с одною розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства,—подумал Владимир,—он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями, или повешен в передней, предмет насмешек и замечаний его псарей—а в ее спальней, в комнате— где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы—страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него—они хозяйничали, требовали то того, то другого, и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец всё утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *Письма моей жены*. С сильным движением чувства, Владимир принялся за них: они писаны были во время Т(урецкого) похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она

описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги. В одном из них она изъясляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался, и позабыл всё на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался во всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Двери были заперты—не нашед ключа, Владимир возвратился в залу—ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол—топор блестел у него. И обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца.

— Зачем ты здесь?—спросил он.

— Ах, Владимир Андреевич, это вы,—отвечал Архип пошепту,—господь помилуй и спаси! Хорошо, что вы шли со свечою!—Владимир глядел на него с изумлением.

— Что ты здесь притаился?—спросил он кузнеца.

— Я хотел... я пришел... было проведать, всё ли дома,—тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем?—Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники—того и гляди —

— Ты пьян, брось топор, поди выпись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было— —да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело—подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора— —Эк они храпят, окаянные—всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился.

— Послушай, Архип,—сказал он, немного помолчав,—не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ко фонарь ты, ступай за мною.

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора, сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли.

— Кто на сторожах?—спросил Дубровский.

— Мы, батюшка,—отвечал тонкий голос,—Василиса да Лукерья.

— Подите по дворам,—сказал им Дубровский,—вас не нужно.

— Шабаш,—примолвил Архип.

— Спасибо, кормилец,—отвечали бабы—и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликнули—Дубровский узнал голос Антона и Гриши.

— Зачем вы не спите?—спросил он их.

— До сна ли нам,—ответил Антон,—до чего мы дожили, кто бы подумал — —

— Тише!—перервал Дубровский,—где Егорова?

— В барском доме в своей светелке,—отвечал Гриша.

— Поди, приведи ее сюда, да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось—кроме приказных—а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных никто в доме не смыкал глаз.

— Все ли здесь?—спросил Дубровский,—не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих,—отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы,—сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо—вот так. Ну, ребята, огню!—

Архип открыл фонарь—Дубровский зажег лучину.

— Постой,—сказал он Архипу,—кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени—двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: *как не так, отопри!* и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось—и осветило весь двор.

— Ахти,—жалобно закричала Егоровна,—Владимир Андреевич, что ты делаешь!

— Молчи,—сказал Дубровский.—Ну, дети, прощайте, иду, куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец,—отвечали люди,—умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы—Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им место свидания—Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею.

Стекла трещали, сыпались, пылающие бревны стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «горим, помогите, помогите».

— *Как не так,*—сказал Архип,—с злобной улыбкой взирающий на пожар.

— Архипушка,—говорила ему Егоровна,—спаси их, окаянных, бог тебя наградит.

— *Как не так,*—отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребяташки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

— *Теперь всё ладно,*—сказал Архип,—каково горит,—а? Чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание: кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда прыгнуть—со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканием призывало на помощь, мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние.

— *Чему смеетесь, бесенята,*—сказал им сердито кузнец,—бога вы не боитесь—божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь,—и поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом

торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз.

— Ну, ребята, прощайте,—сказал он смущенной дворне,—мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом.

Кузнец ушел; пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи и около них бродили погорелые жители Кистевки.

## Глава VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми, некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский,

няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда—Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец-Архип, по всеобщему показанию, был жив и вероятно главный, если не единственный виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В \*\* появились разбойники, и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии—останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского

было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному—поместия Троекурова были пощажены, разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый (день) ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение— Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября—день храмового праздника в селе Троекурова.— Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами, для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

## Глава VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своеобразием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езживали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная (библиотека), составленная большею частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме *Совершенной Поварихи*, не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения вся-

кого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка, и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем—в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет 9-ти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников

Троекурова, у которого 4 года жил он гувернером. Кирила Петрович всё это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза—не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностию, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

— Подойди сюда, Маша: скажи ты этому мусье, что так и быть—принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына——переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился, и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо,—сказал Кирила Петрович,—не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на М-г Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредко выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотроги-

вался, колот себе лапы, ссердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей, и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею штукою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынноком. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознаме-

рился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с (собою) темными коридорами—вдруг боковая дверь отворилась—двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него—Француз не смутился, не побежал, и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбжалось—двери отворились—Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки.

Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу—кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе,—отвечал Дефорж,—но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением, и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Пет-

рович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил, и не думал уж его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марию Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию—и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности, Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

## *ТОМ ВТОРОЙ*

### **Глава IX**

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчиков, третьи у свя-

щенника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и всё потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви, и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась—ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею—и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариєю Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее—первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе храма сего*.

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать—сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями.

Поминутно входили новые лица, и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки—с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляли бутылки и графины, и прилаживали скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: кушанье поставлено—и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы, и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою как робкое стадо козочек и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь Лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебо-сола.—В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми.

— Это кто?—спросил хозяин.

— Антон Пафнутьич,—отвечали несколько го-

лосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина, лет 50, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь, и уже собираясь извиниться.

— Прибор сюда,—закричал Кирила Петрович,—милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен, и покушать любишь.

— Виноват,—отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана,—виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам—что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни—пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да всё кое-как уладили, прошли ровно три часа—делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд...

— Эге!—прервал Кирила Петрович,—да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

— Как, чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то?—Того и гляди попадешься ему в лапы—он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкою безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог милывал.—Всего-на-всё разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье,—заметил Кирила Петрович,—я чай красная шкатулочка полным-полна...

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

— Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович,—пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич,—а мы, ей-богу, разорились,—и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки.

Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему

в гости приехавшему, и сидящему на другом конце стола, подле учителя.

— А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку всё-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников—разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман—как такого благодетеля извести? Не правда ли, г-н исправник?

— Сущая правда, ваше превосходительство,—отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность,—сказал Кирила Петрович.—А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеича—кабы не сожгли его, так в околodge было бы тише. А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?

— У меня, Кирила Петрович,—пропищал толстый дамский голос,—в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако, сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь как могу своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего 7 верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается бледен, оборван и пеш—я так и ахнула—что такое? что с тобою сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна—разбойники ограбили; самого чуть не убили—сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил—за то всего ободрал—отнял и лошадь и телегу. Я обмерла: царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала всё и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая—вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, суший портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо

и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том, о сем, наконец и о Дубровском—я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно,—сказал он,—я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста. А в убийствах никто его не обвиняет, нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика».—Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил, и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги.—Батюшка, виноват—грех попутал—солгал.—«Коли так,—отвечал генерал,—так изволь же рассказать барыне, как всё дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же,—продолжал генерал,—рассказывай: где ты встретился с Дубровским?»—У двух сосен, батюшка, у двух сосен.—«Что же сказал он тебе?»—Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?—«Ну, а после?»—А после потребовал он письмо и деньги.—«Ну?»—Я отдал ему письмо и деньги.—«А он?—Ну, а он?»—Батюшка, виноват.—«Ну, что ж он сделал?»—Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с бо-

гом—отдай это на почту.—«Ну, а ты?»—Батюшка, виноват.—«Я с тобою, голубчик, управлюсь,—сказал грозно генерал,—а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника, и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски—деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического—особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?—спросил Кирила Петрович.—Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать.

— Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком, не знаю, почернели ль у него волосы, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик—но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что следственно ему не 35 лет, а около 23.

— Точно так, ваше превосходительство,—провозгласил исправник,—у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду 23-й год.

— А!—сказал Кирила Петрович,—кстати: прочтите-ка, а мы послушаем, не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадетсЯ, так не вывернетсЯ.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев.

«Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

«От роду 22 года, *роста* среднего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые*: таковых не оказалось».

— И только,—сказал Кирила Петрович.

— Только,—отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, г-н исправник. Ай да бумага! По этим приметам немудрено будет вам оты-

скать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные!

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цымлянского громко были откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

— Нет,—продолжал Кирила Петрович,—уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек из всей шайки. Он бы всех до единого переловил—да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять—то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят

воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит—от разбойников не попятится.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович,—сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить,—отвечал Кирила Петрович,—умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель,—Кирила Петрович указывал на Дефоржа;—выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою—с позволения сказать—помнишь?

— Как не помнить,—сказал Антон Пафнутьич почесываясь,—очень помню. Так Миша умер—жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?—

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти, и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол—все встали, и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

## Глава X

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота, и объявил, что (до) следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом, и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины годные на то были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень легко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною—и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужин—а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обще-

ству более свободы и живости—кавалеры осмелились занять места подле дам—девицы смеялись и перешоптывались со своими соседями; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали—словом, ужин был чрезвычайно весел—и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости—Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая господ в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал—красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться вору, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им

оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, побрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть——

— *Que désire monsieur?*<sup>1</sup>—спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

— Эх, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше,<sup>2</sup> понимаешь ли?

— *Monsieur, très volontiers,* — отвечал Дефорж, — *veuillez donner des ordres en conséquence.*<sup>3</sup>

Антон Пафнутьич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно

---

<sup>1</sup> (Что вам угодно, сударь?)

<sup>2</sup> (Я хочу лечь спать в вашей комнате.)

<sup>3</sup> (Очень охотно, сударь, извольте дать соответствующие приказания.)

бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму—дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна—и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения—француз его не понял, и Антон Пафнутьич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше,—закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад.— Я не могу dormire<sup>1</sup> в потемках.

Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман,—проворчал Спицын, закутываясь в одеяло,—нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня.—Мусье, мусье,—продолжал он,—же ve

---

<sup>1</sup> (Спать.)

авек ву парле.<sup>1</sup>—Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит бестия француз,—подумал Антон Пафнутьич,—а мне так сон и в ум нейдет—того и гляди воры войдут в открытые двери или влезут в окно—а его, бестию, и пушками не добудишься».

— Мусье! а, мусье!—дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал—усталость и винные пары мало-по-малу превозмогли его боязливость—он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал, сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза—и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа; француз в одной руке держал карманный пистолет, а другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се?<sup>2</sup>—произнес он трепещущим голосом.

— Тише, молчать,—отвечал учитель чистым русским языком,—молчать или вы пропали. Я—Дубровский.

---

<sup>1</sup> (Я хочу с вами говорить.)

<sup>2</sup> (Что такое, сударь, что такое?)

## Глава XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции \*\* в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым—обличающим разночинца или иностранца, т. е. человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

— Вот бог послал свистуна,—говорила она вполголоса,—эк посвистывает—чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что?—сказал смотритель,—что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда?—возразила сердитая супруга,—а разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к чорту.

— Подождет, Пахомовна; на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Эге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел—отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинеле и в белой фуражке вошел к смотрителю—вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

— Лошадей,—сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас,—отвечал смотритель.—Пожалуйте подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону— Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку, и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает,—отвечала смотрительша,—какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел, проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать?—спросил он его.

— В ближний город,—отвечал француз,—оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя. Я думал сегодня быть уже на месте, но г-н смотритель, кажется, судил иначе—в этой земле трудно достать лошадей, г-н офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы,—спросил офицер.

— К г-ну Троекурову,—отвечал француз.

— К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?

— *Ma foi, monsieur...*<sup>1</sup> я слышал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними—что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (*avec les outchitels*) он не церемонится, и уж двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что ж делать, г-н офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 р. в год и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду от-

---

<sup>1</sup> (Право, сударь...)

сылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал—достаточный для будущей моей независимости—и тогда bonsoir,<sup>1</sup> еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?—спросил он.

— Никто,—отвечал учитель,—меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы—но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее—

Офицер задумался.

— Послушайте,—прервал он, обращаясь к французу,—что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами, с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы,—сказал вошедший смотритель.

Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас,—отвечал офицер,—выдьте вон на

---

<sup>1</sup> (Прощайте.)

минуту.—Смотритель и слуга вышли.—Я не шучу,—продолжал он по-французски,—10 000 могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги.

При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

— Мое отсутствие— —мои бумаги,—повторял он с изумлением,— — вот мои бумаги — — но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, всё еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш паспорт— —хорошо—письмо рекомендательное, посмотрим—свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте— —

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

— Я было забыл самое важное: дайте мне честное слово, что всё это останется между нами—честное ваше слово.

— Честное мое слово,—отвечал француз.— Но мои бумаги, что мне делать без них.

— В первом городе объявите, что вы были

ограблены Дубровским. Вам поверят, и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравьи.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием:

— Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский.

Смотрительша опрометью кинулась в окошко, но было уже поздно—Дубровский был уж далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему о существовании удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой, вместо часового, стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться,—вылез из брички, и пошел

пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном, и не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился во-свояси—без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать, и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы—зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы, и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя—Кирила Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна за неограниченное усердие и робкую внимательность,

Саша за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, повидимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оногo.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник—коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во всё это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло стать и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия,—Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки, и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна,—а Кирила

Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутыч; он был так бледен и казался так расстроен, что вид (его) всех поразил, и что Кирила Петрович осведомился о его здравии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова—Антон Пафнутыч спешил откланяться и несмотря на увещания хозяина вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и всё вошло в обыкновенный порядок.

## Глава XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марию Кириловну—особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и при-

знавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в семь часов в беседке у ручья—Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его.

Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками, или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смерклось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями; столовые часы пробили третью четверть седьмого и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо—огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами—в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам, и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

— Благодарю вас,—сказал он ей тихим и печальным голосом,—что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если б вы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленной фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалось, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют... я должен вас оставить,—сказал он наконец,—вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться...

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете,—продолжал он, потупя голову,—я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться—ни за себя, ни за него. Всё кончено.—Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству—в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное ви-

дение, и сердце мое смирилось,—я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья—их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час... Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался легкий свист—и Дубровский умолк... Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите,—сказал Дубровский,—меня зовут, минута может погубить меня.

Он отошел, Марья Кириловна стояла непо-

движно—Дубровский воротился и снова взял ее руку.

— Если когда-нибудь,—сказал он ей нежным и трогательным голосом,—если когда-нибудь несчастье вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего—для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите!—закричал Дубровский.— Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа—обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь,—прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским Марья Кириловна возвращалась из сада. Ей показалось, что все люди разбегались—дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка—издали услышала она голос Кирила Петровича—и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружили исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша,—спросил Кирила Петрович,—не встретила ли ты м-г Дефоржа?

Маша насилу могла ответить отрицательно.

— Вообрази,—продолжал Кирила Петрович,—исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство,—сказал почтительно исправник.

— Эх, братец,—прервал Кирила Петрович,—убирайся, знаешь куда, со своими приметам. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела.—Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз застрашал его, ваше превосходительство,—отвечал исправник,—и взял с него клятву молчать...

— Вранье,—решил Кирила Петрович,—сейчас я всё выведу на чистую воду. Где же учитель?—спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с,—отвечал слуга.

— Так сыскать его,—закричал Троекуров, начинающий сомневаться.—Покажи мне твои хваленые приметы,—сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.

— Гм, гм, двадцать три года etc... Оно так,

да это еще ничего не доказывает. Что ж учитель?

— Не найдут-с,—был опять ответ.

Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива, ни мертва.

— Ты бледна, Маша,—заметил ей отец,—тебя перепугали.

— Нет, папенька,—отвечала Маша,—у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся.—Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами—ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая *Гром победы раздавайся*. Гости шептались между собою, исправник казался в дураках—француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим

проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка во-свояси, да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой,—продолжал он, обращаясь к гостям.— Велите закладывать—а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

### Глава XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича.

В 30-ти верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях—всем именем его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой от роду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения, и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старше. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгла-

димую печать. Несмотря на то наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачей атмосфере, и спешил выдти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четверугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки, и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее—князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь из-

винился, указывая на свои бархатные сапоги— и шутя над своею подагрой—он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своею соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение, и ему ли оно принадлежит?— —Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому,—повторил Верейский,—как, этому славному разбойнику?

— Отцу его,—отвечал Троекуров,—да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле—и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил— —Не правда ли, Марья Кири-

ловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно!—сказал Троекуров,— она знакома с ним—он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки.

Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел всё это очень странным и переменял разговор. Возвратясь он велел подавать свою карету, и несмотря на усиленные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной—и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3 000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом—выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густозеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Просторный парк окружал дом

со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца, и подал руку молодой красавице; они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбацьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галлерей картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки, он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз от роду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой

беседке. Они поехали по озеру, около островов—посещали некоторые из них—на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя—время прошло незаметно—начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой—самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай—слушая неистощимые рассказы любезного говоруна—вдруг раздался выстрел—и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали, и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению—а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал *tous les frais*<sup>1</sup> князя, как знаки уважения и желанья ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них

---

<sup>1</sup> (Все траты.)

отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

## Глава XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука—кто-то положил на пальцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку, и поспешила к отцу—в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Верецкий сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша,—сказал Кирила Петрович,—скажу тебе новость, которая, надеюсь,

тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна,—сказал Кирила Петрович,—но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла,—сказал Кирила Петрович,—осуши свои слезы, и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке,—продолжал он, обратясь к Верейскому,—это у них уж так заведено... Теперь, князь, поговорим о деле—т. е. о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным— брак пугал ее как плаха, как могила... «Нет, нет,—повторяла она в отчаянии,—лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Ду-

бровского». Тут она вспомнила о письме, и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им— и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 на прежнем месте».

## Глава XV

Луна сияла—июльская ночь была тиха—изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я всё знаю,—сказал он ей тихим и печальным голосом.—Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне свое покровительство,—отвечала Маша,—но не сердитесь—оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите—я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы

должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа...

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною—я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал—бледное лицо покрылось багровым румянцем, и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал—потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам: представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика—решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство

не доставит вам и одной минуты счастья; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз—пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался—Маша плакала...

— Бедная, бедная моя участь,—сказал он, горько вздохнув.— —За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать (вас) к волнуемому сердцу и сказать: Ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства—я должен отдалять его всеми силами... Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О как должен я ненавидеть того—но чувствую—теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело.

— Пора,—сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне,—сказал он,—то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба—я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

## Глава XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства—Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать—и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела, и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. Засим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел, и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька,—закричала она жалобным голосом,—папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

— Это что значит,—сказал грозно Кирила Петрович,—до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда всё решено, ты вздумала капризничать и отречься. Не изволь дурачиться; этим ты со мною ничего не выиграешь.

— Не губите меня,—повторяла бедная Маша,—за что гоните меня от себя прочь, и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела, я хочу остаться с вами попрежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

— Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра, — вскрикнула Маша, — боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

— Что? что?—сказал Троекуров,—угрозы! мне угрозы,—дерзкая девчонка!—Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский,—отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

— Добро,—сказал он ей после некоторого

молчания,—жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из нее не выдешь до самой свадьбы.—С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою дверь.

Долго плакала бедная девушка, воображая всё, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там—как только станет смеркаться. Смерклось—Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко, и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

## Глава XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с ней не говорил—что впрочем не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу—голова ее кипела—кровь волновалась—она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело—и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша, — сказала она, — зачем ты меня зовешь?

— Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и за-

претил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей, и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видел.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать—и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, он хотел тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг рыжий и косоый оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь?—сказал он грозно.

— Тебе како дело?—отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц,—кричал Саша,—или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил—и закричал во всё горло:

— Воры, воры—сюда, сюда...

Мальчишка силился от него отделаться. Он был повидимому двумя годами старше Саши, и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на землю, и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли...

— Ах, ты, рыжая бестия,—говорил садовник,—да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под-силки,—сказал он,—а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо, и убирайся.

— Как не так,—отвечал рыжий, и вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой.

Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног—садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо!—кричал Саша.

— погоди, барин,—сказал Степан,—мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор а Саша его сопровождал, с беспокойством по-

глядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что?—спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал всё происшествие.

Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса,—сказал он, обратясь к Саше,— за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился—и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька— —Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу— —

— Постойте, папенька, я всё вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко—и я подбежал—и сестрица не нарочно уронила кольцо, а я спря-

тал его в дупло, и—и— —этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть.

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать— —Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я всё расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил кольцо—а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику—и спросил его грозно:

— Чей ты?

— Я дворовый человек господ Дубровских,—отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро,—отвечал он.—А что ты делал в моем саду?

— Малину крал,—отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага,—заметил Кирила Петрович,—слуги в барина: каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо,—сказал Саша.

— Молчи, Александр,—отвечал Кирила Петрович,—не забудь, что я собираюсь с тобою

разделаться. Ступай в свою комнату. Ты—косой—ты мне кажешься малый не промах.—Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то, я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро,—сказал Кирила Петрович,—запереть его куда-нибудь, да смотреть, чтоб он не убежал—или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там, и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником,—сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами,—да как можно скорее.

— Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь?—думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая:—*Гром победы*. Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник.

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

— Славная весть,—сказал ему Кирила Петрович,—я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосходительство,—сказал исправник с видом обрадованным,—где ж он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая однако ж о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на всё, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине,—сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел,—сказал ему исправник,— посадить тебя в городской острог, выстегать плетью и сослать потом на поселение—но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение.—Развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодарю же барина,—сказал исправник.

Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой,—сказал ему Кирила Петрович,—да впредь не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел—весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом не оглядываясь через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко... Окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба,—сказал мальчик,—я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где же ты пропадал, бесенок,—отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка,—мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед,—проворчала старуха,—на, вот тебе ломотик,—и сунула в окошко ломоть черного хлеба.

Мальчик жадно его прикусил и жуя мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

## Глава XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню. Весь дом был в движении—слуги бегали, девки сутились—в сарае кучера закладывали карету. На дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марию Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда

неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли?—раздался у дверей голос Кирила Петровича.

— Сию минуту,—отвечала дама,—Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь; хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.

— Невеста готова,—сказала дама Кирилу Петровичу,—прикажите садиться в карету.

— С богом,—отвечал Кирила Петрович,—и взяв со стола образ,—подойди ко мне, Маша,—сказал он ей тронутым голосом,—благословляю тебя...

Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька... папенька...—говорила она в слезах, и голос ее замирал.

Кирила Петрович спешил ее благословить—ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать — и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты, и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь—за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слышала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда

ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычным вопросом, она содрогнулась и обмерла—но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и всё еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово, туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты, и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее—и человек в полумаске, отворив дверцы,

со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей:

— Вы свободны, выходите.

— Что это значит,—закричал князь,—кто ты такой...

— Это Дубровский,—сказала княгиня.

Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, и с ужасом закрыла лицо обеими руками, Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась, князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет. Но ему не дали времени выстрелить, дворцы растворились, и несколько сильных (рук) вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его!—закричал Дубровский,—и мрачные его сообщники отступили.

— Вы свободны,—продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

— Нет,—отвечала она.—Поздно—я обвенчана, я жена князя Верейского.

— Что вы говорите,—закричал с отчаяния Дубровский,—нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...

— Я согласилась, я дала клятву,—возразила она с твердостью,—князь мой муж, прикажите освободить его, и оставьте меня с ним. Я не обма-

ывала. Я ждала вас до последней минуты— — но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души—лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под устцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови, в отмщение за кровь своего атамана.

## Глава XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иглою с искусством, обличающим опытного портного—и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе—разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалашам,—а другие разбрелись по лесу—или прилегли соснуть, по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколот к рукаву иголку—сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,  
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога.

— Полно тебе, Степка,—сказала она сердито,—барин почивает, а ты знай горланишь—нет у вас ни совести, ни жалости.

— Виноват, Егоровна,—отвечал Степка,—ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает.

Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на

походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул—в укреплении сделалась тревога—и Степка просунул к нему голову в окошко.

— Батюшка, Владимир Андреевич,—закричал он,—наши знак подают, нас ищут.

Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие, и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе, при его появлении настало глубокое молчание.

— Все ли здесь?—спросил Дубровский.

— Все, кроме дозорных,—ответили.

— По местам!—закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место.

В сие время трое дозорных прибежали к воротам—Дубровский пошел к ним навстречу.

— Что такое?—спросил он их.

— Солдаты в лесу,—отвечали они,—нас окружают.

Дубровский велел запереть ворота—и сам

пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов—и стали приближаться—разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу—и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам.

— Готовиться к бою,—сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох—снова всё утихло.

Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался—солдаты уже были на валу—разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Обо-

дренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали—разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велел отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его—мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после (↪) он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни.

— Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло.

После сей речи он оставил их, взяв с собою одного \*\*. Никто не знал, куда он девался.

Сначала сомневались в истине сих показаний—приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении—но последствия их оправдали—грозные посещения, пожары и грабежи прекратились—дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.



## ПИКОВАЯ ДАМА

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

*Новейшая гадательная книга.*

### I

А в ненастные дни  
Собирались они  
Часто;  
Гнули — бог их прости! —  
От пятидесяти  
На сто,  
И выигрывали  
И отписывали  
Мелом.  
Так, в ненастные дни,  
Занимались они  
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин?—спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандром, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а всё проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте*?.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн!—сказал один из гостей, указывая на молодого инженера,—отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного паролы, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно,—сказал Германн,—но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн—немец: он расчетлив, вот и всё!—заметил Томский.—А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

— Как? что?—закричали гости.

— Не могу постигнуть,—продолжал Томский:—каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного,—сказал Нарумов,—что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж, и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть *la Vénus moscovite*;<sup>1</sup> Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепившая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым.

---

<sup>1</sup> (Московскую Венеру.)

В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усювестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь, и что есть разница между принцем и каретником.—Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть. Написала ему записку, и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа, и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.—«Я могу вам услужить этой суммою, сказал он, но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыгаться».

«Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». — «Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен, — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякой из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затаился, и продолжал.

— В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine.<sup>1</sup> Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю, и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты? — подхватил третий.

— Не думаю, — отвечал важно Томский.

---

<sup>1</sup> (На карточный вечер у королевы.)

— Как!— сказал Нарумов,— у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалястики?

— Да, чорта с два!— отвечал Томский:— у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец; все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них, и даже для меня. Но вот, что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл—помнится, Зоричу,—около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю; они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе,—отыгрался, и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уж рассветало; молодые люди допили свои рюмки, и разъехались.

## II

— Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.

— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches.

*Светский разговор.*

Старая графиня \*\*\* сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов, и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman,<sup>1</sup>—сказал, вошедши, молодой офицер.—Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul?

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у \*\*\*?

---

<sup>1</sup> (Бабушка.)

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я, чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как, постарела? — отвечал рассеянно Томский: — она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову, и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она: — а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul, — сказала она потом: — теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный, или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась, и не отвечала ни слова.

— Paul!—закричала графиня из-за ширмов:— пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна; она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки; она принялась опять за работу, и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька, — сказала она, — карету закладывать и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пьальцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли!— закричала графиня.— Вели скорее закладывать карету.

— Сейчас!— отвечала тихо барышня, и побежала в переднюю.

Слуга вошел, и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить, — сказала графиня.— Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче!— сказала графиня.— Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку; ближе... ну!—

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу,— сказала она:— что за вздор! отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?..

— Карета готова,— сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета?— сказала графиня:— всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься?—сказала им графиня.—Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя!—сказала графиня.—Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода?—кажется, ветер.

— Никак нет-с! ваше сиятельство! очень тихо-с!—отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку! Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

— И вот моя жизнь! — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была несчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня\*\*\*, конечно, не имела злой души; но была свое нравна, как женщина, избалованная светом, скупа, и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуж-

дые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света; таскалась на балы, где сидела в углу, разряженная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай, и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы, и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках, и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть, как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как не доставало *vis-à-vis*, и дамы брали ее под руку всякой раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение, и гля-

дела кругом себя,—с нетерпением ожидала избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашенная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды,—это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились,—однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять—молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу, и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пальцы, и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством

некоторого беспокойства, но уже офицера не было,—и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графинею садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бровным воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку,—офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза; она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение,—подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякой раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что

нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*,—а между тем, целые ночи просиживал за карточными столами, и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение, и целую ночь не выходил из его головы.—Что, если, думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу: что, если старая графиня откроет мне свою тайну!—или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость,—пожалуй, сделаться

ее любовником, — но на всё это требуется время — а ей восемьдесят семь лет, — она может умереть через неделю, через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал, и доставит мне покой и независимость! —

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини \*\*\*, — отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы ре-

шительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу, и опять очутился перед домом графини \*\*\*. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

### III

*Vous m'écrivez, mon ange,  
des lettres de quatre pages plus  
vite que je ne puis les lire.*

*Переписка.*

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею, и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его

за перчатку, и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился?—как зовут этот мост?—что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад, и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю, и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было незапечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово-в-слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении, и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка, и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям?—отослать ли ему письмо?—отвечать ли

холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться: у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу,—и задумалась. Несколько раз начала она свое письмо,—и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена,—писала она,—что вы имеете честные намерения, и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку, и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его, и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал, и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того, Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна

открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись,—сказала она:— эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам!—отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки.—Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть!—сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу, им употребленному.—Это письмо верно не ко мне!—И разорвала письмо на мелкие кусочки!

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?—сказала мамзель:—я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька!—сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания:—вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного вообра-

жения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать; она упивалась ими; стала на них отвечать,—и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо:

— «Сегодня бал у \*\*\* ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет,—и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите всё прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты.

Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока.—Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы,—было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и вошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симмет-

рии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже M-me Lebrun. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой—молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Легоу, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева—другая, в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Всё было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать—и всё умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра,—и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение

овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в Вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести, и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец графиня осталась в спальнной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в Вольтеровы кресла, и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево.

В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь!— сказал он внятным и тихим голосом.— Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала попрежнему.

— Вы можете,—продолжал Германн,—составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка,—сказала она наконец:— клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить,—возразил сердито Германн.—Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгаться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изображали сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы,—продолжал Германн,—назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот всё-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился, и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь,—сказал он,—сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери,—всем, что ни есть святого в жизни,—не откажите мне в моей просьбе!—откройте мне вашу тайну!—что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте, вы стары; жить вам уж недолго,—я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне

только вашу тайну Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма!—сказал он, стиснув зубы:— так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою, и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатила навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться,—сказал Германн, взяв ее руку.—Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты?— да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

#### IV

7 Mai 18\*.

Homme sans mœurs et sans religion!

*Переписка.*

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глу-

бокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу—сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии, и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека,—и уже она была с ним в переписке,—и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину\*\*\*, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну, и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во всё время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лиза-

вета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы всё это знаете?—спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы,—отвечал Томский:—человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поledenели...

— Этот Германн,—продолжал Томский,—лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодеяния. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн,—или как бишь его?

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть,—на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами—

oubli ou regret?<sup>1</sup>—прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна \*\*\*. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом.—Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ее самою, и, благодаря новейшим романам, это, уже пошлое лицо, пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложив крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были?—спросила она испуганным шопотом.

— В спальне у старой графини,—отвечал Германн,—я сейчас от нее. Графиня умерла.

---

<sup>1</sup> (Забвение или сожаление?)

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется,—продолжал Германн,—я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!* Германн сел на окошко подле нее, и всё рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, всё это было не любовь! Деньги,—вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она, в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее, молча; сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище!—сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти,—отвечал Германн:—пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому?—сказала наконец Лизавета Ивановна.—Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову, и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице, и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь, и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал

он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal,<sup>1</sup> прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключем, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

## V

В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон-В\*\*\*. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»

Ш в е д е н б о р г .

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в \*\*\* монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное

---

<sup>1</sup> (Журавлем.)

влияние на его жизнь,—и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре,—дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы—une affectation.<sup>1</sup> Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее,—сказал оратор,—бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, при-

---

<sup>1</sup> (Притворством.)

ехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли,— и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю, и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и поклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился, и навзничь грянулся об землю. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, про-

тив обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвращаясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать, и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать, и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко,—и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь открылась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу, и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним,—и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли,—сказала она твердым голосом:—но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду,—но с тем, чтоб ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть,

тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям, и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку, и записал свое видение.

## VI

— *Atânde!*

— Как вы смели мне сказать *atânde?*

— Ваше превосходительство, я сказал *atânde-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз—скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз—не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она

стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». — Всякой пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, прошедшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько

генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалиясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться, и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты, и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту,—сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста, и пожелал ему счастливого начала.

— Идет!—сказал Германн, подписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с?—спросил, прищуриваясь, банкомет:—извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч,—отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна.— «Он с ума сошел!»—подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам,—сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою,—что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти сепелем здесь еще не ставил.

— Что ж?—возразил Германн:—бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить,—сказал он,—что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла!—сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шопот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Извольте получить?—спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов, и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием, и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные

советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но всё улыбающегося, Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял, и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

—Туз выиграл!—сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита,—сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза, у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха!—закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел

он от стола, поднялся шумный говор.—«Славно спонтировал!»—говорили игроки.—Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

### Заключение

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.



# КИРДЖАЛИ

## Повесть

Кирджали был родом болгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать об нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на болгарское селение. Они зажгли его с двух концов, и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: Кирджали! Кирджали! Всё селение разбежалось.

Когда Александр Ипсиланти обнарудовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турков, а может быть и молдаван—и это казалось им очевидно.

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться, и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии, и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодьями. Эти трусы и негодяи, большею частию, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.

Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. Отряд остался без предводителя; но Кирджали, Сафианос, Кантагони и другие не находили никакой нужды в предводителе.

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, болгар и всякого сброду, не имею-

щих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря, и из которых, бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился, и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которой гарцовали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд. Майор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с ним сделалось.

На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганями. Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них

не бывалые: эти копыя были русские: некрасовцы сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего государя, могли перейти Прут, и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кантагони и Сафьянос остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненный накануне, лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьем в брюхо. Он одной рукой поднял саблю, другою схватился за вражеское копьё, всадил его в себя глубже, и таким образом мог достать саблю своего убийцу, с которым вместе и повалился.

Всё было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, они всё же были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные востроносые туфли начинали уж изнашиваться, но хохлатая скуфейка всё же еще надета была на бекрень, а атаганы и пистолеты всё еще торчали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные

бедняки были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими.

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал и, на основании мирных договоров, потребовал от русского начальства выдачи разбойника.

Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами.

Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины, и признался, что он Кирджали. «Но,—прибавил он,—с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я конечно разбойник, но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?» После того Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи.

Он дожидался не долго. Начальство, не обя-

занное смотреть на разбойников с их романтической стороны и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы.

Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд.

У ворот острога стояла почтовая каруца... (Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и в бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями, и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу.)

Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туф-

лями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках, окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то ожидали.

Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за ними двое солдат вывели скованного Кирджали.

Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого роста, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.

Один из чиновников, краснорожий старичок, в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищепил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, повидимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ,

приказав ему раздаться—и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к нему, и сказал ему несколько слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: *гайда!* Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покати-лась.

— Что это говорил вам Кирджали?—спросил молодой чиновник у полицейского.

— Он (видите-с) просил меня, — отвечал, смеясь, полицейский,—чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в болгарской деревне—он боится, чтоб и они *из-за него* не пострадали. Народ глупый-с.

Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уж спустя, встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем.

— А что ваш приятель Кирджали?—спросил я,—не знаете ли, что с ним сделалось?

— Как не знать,—отвечал он, и рассказал мне следующее:

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покамест заключили его в тюрьму.

Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали); они уважали его, и с жадностью, общею всему Востоку, слушали его чудные рассказы.

Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: «Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память».

Турки развесили уши.

— Братья,—продолжал Кирджали,—три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Ясс котел с *гальбинами*. Видно ни мне, ни ему не владеть этим кладом. Так и быть: возьмите его себе, и разделите его полюбовно.

Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою, и с ним отправились из города в степь.

Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли

долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двенадцать шагов на полдень, топнул и сказал: *здесь*.

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень, и стал смотреть на их работу.

— Ну, что, скоро ли?—спрашивал он,—дорылись ли?

— Нет еще,—отвечали турки, и работали так, что пот лил с них градом.

Кирджали стал оказывать нетерпение.

— Экой народ,—говорил он.—И землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган.

Турки призадумались, и стали советоваться. «Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, нас семеро». И турки развязали ему руки и дали ему атаган.

Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали... Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, разбежались.

Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч *лево*в и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы, и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены.

Каков Кирджали?



# ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

## Глава I

— *Quel est cet homme?*

— *Ha, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.*

— *Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte.*

Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший виц-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна; но он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем.

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких, так называемых, поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ве-

даем).—как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеямен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него, как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека, тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он?—красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Приедет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоела, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он из-

бегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было того беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставлял его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный впрочем талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, обедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое. Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него

такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?

Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретае живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли.—Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали.—Он писал стихи.

Вдруг дверь его кабинета скрипнула, и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.

— *Кто там?*—спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.

Незнакомец вошел. Он был высокого росту, худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода,

окружающая впалые желто-смуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на его желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и ведро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе—за политического заговорщика; в передней—за шарлатана, торгующего элексирами и мышьяком.

— Что вам надобно?—спросил его Чарский на французском языке.

— Signor,—отвечал иностранец с низкими поклонами,—*Lei voglia perdonarmi si...*<sup>1</sup>

Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на итальянском языке.

— Я неаполитанский художник, — говорил незнакомый,—обстоятельства принудили меня оставить отечество; я приехал в Россию в надежде на свой талант.

Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончеле и развозит по домам свои билеты. Он уж хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:

---

<sup>1</sup> (Сударь, ...простите пожалуйста, если...)

— Надеюсь, *signor*, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.

Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.

— Позвольте спросить, кто вы такой, и за кого вы меня принимаете?—спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

Неаполитанец заметил его досаду.

— *Signor*,—отвечал он запинаясь...—*No credo... No sentito... la vostra eccellenza mi perdona...<sup>1</sup>*

— Что вам угодно?—повторил сухо Чарский.

— Я много слышал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту,—отвечал итальянец,—и потому осмелился к вам явиться...

— Вы ошибаетесь, *signor*,—прервал его Чарский,—звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ: наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их побери!) этого не знают, тем хуже для

---

<sup>1</sup> (Сударь... Я полагал... Мне казалось... что ваше сиятельство простит меня...)

них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения *libretto*. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках,—поразили его. Он понял, что между надменным *dandy*,<sup>1</sup> стоящим перед ним в хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстукке и поношенном фраке—ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выдти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.

— Куда же вы?—сказал он итальянцу.—  
Постойте... Я должен был отклонить от себя

---

<sup>1</sup> (Денди, щеголь.)

незаслуженное титло и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?

— Нет, *eccellenza!*—отвечал итальянец,—я бедный импровизатор.

— Импровизатор!—вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения.— Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор?—и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.

Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива. Ему деньги были нужны; он надеялся в России коё-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

— Я надеюсь,—сказал он бедному художнику,—что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда, итальянский язык у нас не в употреблении; вас не поймут; но это не беда; главное—чтоб вы были в моде.

— Но если у вас никто не понимает итальянского языка,—сказал призадумавшись импровизатор,—кто же поедет меня слушать?

— Поедут,—не опасайтесь: иные из любопыт-

ства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.

Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и — — —

В тот же вечер он поехал за него хлопотать.

## Глава II

Я царь, я раб, я червь, я бог.  
Д е р ж а в и н.

На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-й номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний италиянец отворил ее.

— Победа!—сказал ему Чарский,—ваше дело в шляпе. Княгиня \*\* дает вам свою залу—вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то по крайней мере за барыш...

— А это главное!—вскричал италиянец, изъявляя свою радость живыми движениями, собственными южной его породе.—Я знал, что вы мне поможете. *Corpo di Vasso!*<sup>1</sup> Вы поэт, так же,

---

<sup>1</sup> (Чорт возьми!)

как и я; а что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность? Постойте... хотите ли выслушать импровизацию?

— Импровизацию!.. разве вы можете обойтись и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?

— Пустое, пустое! где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий... Садитесь где-нибудь и задайте мне тему.—

Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару—и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа.

— Вот вам тема,—сказал ему Чарский,— *поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.*

Глаза италиянца засверкали—он взял несколько аккордов—гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

.....

Италиянец умолк... Чарский молчал, изумленный и растроганный.—

— Ну что?—спросил импровизатор.

Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.

— Что?—спросил импровизатор,—каково?

— Удивительно,—отвечал поэт.—Как? чужая мысль чуть коснулась вашего слуха, и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

— Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными, однообразными стопами?—Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею—тщетно я сам захотел бы это изъяснить. Однако... надобно подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете? Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике

не слишком было тяжело, и чтобы я между тем не остался в накладе? Говорят, la signora Catalani брала по 25 рублей? Цена хорошая...

Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с италианцем в меркантильные расчеты. Италианец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный италианец не заметил этой перемены и проводил (его) по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности.

### Глава III

Цена за билет 10 рублей;  
начало в 7 часов.

*Афишка.*

Зала княгини \*\* отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены; стулья расставлены в двенадцать рядов; в назначенный день, с семи часов вечера, зала была освещена, у дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоногая жен-

щина в серой шляпе с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. Он нашел италиянца в боковой комнатке, с нетерпением посматривающего на часы. Италиянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Всё это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась.

Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пульпитрами занимали обе стороны подмостков. Посредине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала; наконец в половине осьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из «Танкреда». — — — Всё уселось и примолкло —

последние звуки увертюры прогремели... И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приблизился к самому краю подмостков.

Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику: сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк.

...Италиянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга, и никто ничего не отвечал. Италиянец, подождав немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками, им овладело беспокойство; он предчувствовал, что дело без него не обойдется и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва вполголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружескою

улыбкою. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего; он взял карандаш и бумагу из рук италиянца, написал несколько слов; италиянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал; два журналиста, в качестве литераторов, почли обязанностию написать каждый по теме; секретарь неаполитанского посольства и молодой (человек), недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции,—положили в урну свои свернутые бумажки; наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-италиянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую вслух:

— Семейство Ченчи (*La famiglia dei Cenci*).

*L'ultimo giorno di Pompeia.*

*Cleopatra e i suoi amanti.*

*La primavera veduta da una prigioniera.*

*Il trionfo di Tasso.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> (Последний день Помпеи.—Клеопатра и ее любовники.—Весна в темнице.—Торжество Тассо.)

— Что прикажет почтенная публика?—спросил смиренный италиянец,—назначит ли мне сама один из предложенных предметов, или предоставит решить это жребию?..

— Жребий!..—сказал один голос из толпы.— Жребий, жребий!—повторила публика.

Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил, кому угодно будет вынуть тему? Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднимающуюся ручку в белой маленькой перчатке—он с живостью оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.

— Извольте развернуть и прочесть,—сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух: *Cleopatra e i suoi amanti*.—Эти слова были произнесены тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки.

— Господа,—сказал он, обратясь к публике,— жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовники. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких любовниках здесь идет речь, *perché la grande regina aveva molto...*<sup>1</sup>

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

— Я желал бы знать,—продолжал он,—на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему... Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться.

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах... Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке:

— Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви, и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило... мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен... не выберете ли вы другого?..

---

<sup>1</sup> (Потому что великая царица имела много...)

Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась.

.....

Чертог сиял. Гремели хором  
Певцы при звуке флейт и лир.  
Царица голосом и взором  
Свой пышный оживляла пир;  
Сердца неслись к ее престолу,  
Но вдруг над чашей золотой  
Она задумалась и долу  
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет.  
Безмолвны гости. Хор молчит.  
Но вновь она чело подъемлет  
И с видом ясным говорит:  
«В моей любви для вас блаженство.  
Блаженство можно вам купить...  
Внемлите ж мне: могу равенство  
Меж нами я восстановить.

Кто к торгу страстному приступит?  
Свою любовь я продаю;  
Скажите: кто меж вами купит  
Ценою жизни ночь мою?»—

Рекла — и ужас всех объемлет,  
И страстью дрогнули сердца...  
Она смущенный ропот внемлет  
С холодной дерзостью лица,  
И взор презрительный обводит  
Кругом поклонников своих...  
Вдруг из толпы один выходит,  
Вослед за ним и два других.  
Смела их поступь; ясны очи;  
Навстречу им она встает;  
Свершилось: куплены три ночи,  
И ложе смерти их зовет.

Благословенные жрецами,  
Теперь из урны роковой  
Пред неподвижными гостями  
Выходят жребии чредой.  
И первый—Флавий, воин смелый,  
В дружинах римских поседель;  
Снести не мог он от жены  
Высокомерного презренья;  
Он принял вызов наслажденья,  
Как принимал во дни войны

Он вызов ярого сраженья.  
За ним Критон, молодой мудрец,  
Рожденный в рощах Эпикура,  
Критон, поклонник и певец  
Харит, Киприды и Амура.  
Любезный сердцу и очам,  
Как вешний цвет едва развитый,  
Последний имени векам  
Не передал. Его ланиты  
Пух первый нежно отенял;  
Восторг в очах его сиял;  
Страстей неопытная сила  
Кипела в сердце молодом...  
И грустный взор остановила  
Царица гордая на нем.

— Клянусь...—о мать наслаждений,  
Тебе неслыханно служу,  
На ложе страстных искушений  
Простой наемницей всхожу.  
Внемли же, мощная Киприда,  
И вы, подземные цари,  
О боги грозного Аида,  
Клянусь—до утренней зари  
Моих властителей желанья  
Я сладострастно утомлю  
И всеми тайнами лобзанья  
И дивной негой утолю.

Но только утренней порфирой  
Аврора вечная блеснет,  
Клянусь—под смертную секирой  
Глава счастливцев отпадет.—

.....

И вот уже сокрылся день,  
Восходит месяц златорогий.  
Александрийские чертоги  
Покрыла сладостная тень.  
Фонтаны бьют, горят лампы,  
Куруется легкий фимиам,  
И сладострастные прохлады  
Земным готовятся богам.  
В роскошном сумрачном покое  
Средь обольстительных чудес  
Под сенью пурпурных завес  
Блится ложе золотое...

.....



# КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь смолоду.

*Пословица.*

## Глава I

### Сержант гвардии

Был бы гвардии он завтра ж  
капитан.  
— Того не надобно: пусть в  
армии послужит.  
Изрядно сказано! Пускай его по-  
тужит...

.....  
Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора

гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по нынешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором, на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу,—ворчал он про себя,—кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel,<sup>1</sup> не очень понимая значения этого слова. Он был добрый малой, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; не редко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*,

---

<sup>1</sup> (Быть учителем.)

т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке, и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски,—и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, висясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила, и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно

соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей, и, пользуясь сном Бодре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бодре, разбудил его очень неосторожно, и стал осыпать укоридами. Бодре в смятении хотел было встать, и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей, и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоня голубей и играя в чахарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменялась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно

подалее, и таким образом Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то бывало по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак батюшка читал Придворный Календарь, изредко пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы?..» Наконец батюшка швырнул календарь на диван, и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок,—отвечала матушка.—Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

«Добро,—прервал батюшка,—пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что по мнению моему было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

«Не забудь, Андрей Петрович,— сказала матушка,— поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями».

— Что за вздор!— отвечал батюшка нахмуясь.— К какой стати стану я писать к князю Б.?

«Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши».

— Ну, а там что?

«Да ведь начальник Петрушин— князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк».

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет ляжку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его паспорт? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол, и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило. Куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего! На другой день по утру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел

в кибитку с Савельичем, и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова, и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, повидимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр \*\* гусарского полка и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал,

по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать к службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это,— говорил он,— необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко. Чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден, и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам; и после нескольких уроков предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу, что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал

игру, словом—вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий, и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось?—сказал он жалким голосом.—Где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!»—Молчи, хрыч!—отвечал я ему, запинаясь;—ты верно пьян, пошел спать... и уложи меня.

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая голо-

вою,—рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? Проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудро было унять, когда бывало примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, какво подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что негоден... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел, и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам  
*Иван Зурин».*

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный, и обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?»—спросил изумленный Савельич.—Я ему должен,—отвечал я со всевозможной холодностию.—«Должен!—возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление;—да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать, и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!»—закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич,—произнес он дрожащим голосом,—не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-

накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...»

— Полно врать,—прервал я строго,—подавай сюда деньги, или я тебя взащеи прогоню.

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

## Глава II

### Вожатый

Сторона ль моя, сторонущка,  
Сторона незнакомая!  
Что не сам ли я на тебя зашел,  
Что не добрый ли да меня конь  
завез:  
Завезла меня, доброго молодца,  
Прытость, бодрость молодецкая,  
И хмелинушка кабацкая.

*Старинная песня.*

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой по тогдашним ценам

был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Всё это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только побрякивая. Я непременно хотел с ним помириться, и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват: вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич!—отвечал он с глубоким вздохом.—Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только! Как покажусь я на глаза господам? Что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-по-малу успокоился, хотя всё еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни,

пересеченные холмами и оврагами. Всё покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону, и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачем?

«Время ненадежно: ветер слегка подымается;— вишь, как он сметает порошу».

— Что ж за беда!

«А видишь там что?» (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

«А вон—вон: это облачко».

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

— Я слышал о тамошних метелях, и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час

от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облежала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Всё исчезло. «Ну, барин,—закричал ямщик,—беда: буран!»

Я выглянул из кибитки: всё было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали.

«Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. — Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка; — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом. — Я стал было его бранить. Савельич за него заступился: «И охота было не слушаться, — говорил он сердито, — воротился бы на постоянный двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» — Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но

ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. — А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли где дорога?»

«Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?»

— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

«Страна мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам».

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу,

жило недалеко; сворачивай вправо, да поезжай».—А почему ехать мне вправо?—спросил ямщик с неудовольствием.—Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой.—Ямщик казался мне прав. «В самом деле,—сказал я:—почему думаешь ты, что жило не далече?»—А потому, что ветер оттоле потянул,—отвечал дорожный,—и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко.—Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил цыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаньям, сли-

ваются с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота, и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтоб батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую, и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки, и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише,—говорит она мне,—отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься».—Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей:—Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?—«Всё равно, Петруша,—отвечала мне матушка,—это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не

соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич держал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали?—спросил я, протирая глаза. «На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся».

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый?—спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие»,—отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза.—Что, брат, прозяб?—«Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечер у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость,—прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штофф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе,—сказал он,—опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?»—Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огороде летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком—да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши!—отвечал хозяин, продолжая

иносказательный разговор.—Стали было к вечеру звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.—«Молчи, дядя,—возразил мой бродяга,—будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!»—При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне, и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирненного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далеко от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решил убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал

ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь, и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоянному двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении.

Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, — сказал я хладнокровно; — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

«Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке».

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благо-

родие мне жалует шубу с своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

«Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища».

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп.

«Господи владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголелому!»

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился, и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». — Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину роста высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой!—сказал он.—Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!»—Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуи, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также... и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держатъ в ежовых рукавицах»... Что такое ешовы рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что такое «держатъ в ешовых рукавицах»? повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит,—отвечал я ему с видом как можно более невинным,—обходиться ласково, не

слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

«Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно ешовы рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где ж он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: всё будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом»—а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка,—сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт—всё будет сделано: ты будешь офицером переведен в\*\*\* полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим отобедать у меня».

«Час от часу не легче!—подумал я про себя,—к чему послужило мне то, что почти в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В\*\*\* полк и в глухую крепость на границу киргизкайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостую

трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

## Глава III

### Крепость

Мы в фортеции живем,  
Хлеб едим и воду пьем;  
А как лютые враги  
Придут к нам на пироги,  
Зададим гостям пирушку:  
Зарядим картечью пушку.

*Солдатская песня.*

Старинные люди, мой батюшка.

*Недоросль.*

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знаю-

щим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.—Далече ли до крепости?—спросил я у своего ямщика. «Недалече,—отвечал он.—Вон уж видна».—Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница с лубочными крыльями, лениво опущенными.—Где же крепость?—спросил я с удивлением.—«Да вот она»,—отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка,—отвечал инвалид:—наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку,

убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?»—спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта: но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет,—сказала она,—он пошел в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить,—сказал он,—вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить,—продолжал он,—зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?»—Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки»,—продолжал неумолимый

вопрошатель.—«Полно врать пустяки,—сказала ему капитанша:—ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...) А ты, мой батюшка,—продолжала она, обращаясь ко мне,—не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой статный казак. «Максимыч!—сказала ему капитанша.—Отведи г. офицеру квартиру, да почище».—«Слушаю, Василиса Егоровна,—отвечал урядник.—Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?»—«Врешь, Максимыч,—сказала капитанша:—у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка?»—Петр Андреич.—«Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, всё ли благополучно?»

— Всё, славу богу, тихо,— отвечал казак;— только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

«Иван Игнатьич!— сказала капитанша кривому старичку.— Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру».

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоящую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел

молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня,—сказал он мне по-французски,—что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени».—Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он

просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь,—прибавил он,—ничего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно, и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился!—сказала комендантша.—Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?»—Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенно дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться».—Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка?—сказала ему жена.—Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься».—А слышь ты, Василиса Егоровна,—отвечал Иван Кузмич,—я был занят службой: солдатушек учил.

«И, полно!—возразила капитанша.—Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается,

ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома, да богу молился, так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли!—сказала она;—ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестою».—Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее; и я спешил переменить разговор.—Я слышал,—сказал я довольно нехотая,—что на вашу крепость собираются напасть башкирцы.—«От кого, батюшка, ты изволил это слышать?»—спросил Иван Кузмич.—Мне так сказывали в Оренбурге,—отвечал я. «Пустяки!—сказал комендант.—У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы—народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку,

что лет на десять угомоню». — И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям? — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

«Да слышь ты, — сказал Иван Кузмич: — баба-то не робкого десятка».

— А Марья Ивановна? — спросил я: — так же ли смела, как и вы?

«Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки».

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

## Глава IV

### Поединок

— Ин изволь и стань же  
  в позитуру.  
Посмотришь, проколю как я  
  твою фигуру.  
К н я ж н и н.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечною. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непростительной связи с Василисой Егоровной, что

не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междоусобием.

Я уж сказывал, что я занимался литературою.

Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия, вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,  
Тщусь прекрасную забыть,  
И ах, Машу избегая,  
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,  
Всемигнута предо мной;  
Они дух во мне смутили,  
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,  
Сжался, Маша, надо мной;  
Зря меня в сей лютой части,  
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь?—спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следующей. Но к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так?—спросил я его, скрывая свою досаду.

«Потому,—отвечал он,—что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы».

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозой.—«Посмотрим,—сказал он,—сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело,—отвечал я нахмуясь,—кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

«Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник!—продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня,—но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советуешь действовать не песенками».

— Что это, сударь, значит? Изволь объяснить.

«С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег».

Кровь моя закипела.—А почему ты об ней такого мнения?—спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

«А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай».

— Ты лжешь, мерзавец!—вскричал я в бешенстве, —ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменялся в лице. «Это тебе так не пройдет,—сказал он, стиснув мне руку.— Вы мне дадите сатисфакцию».

— Изволь; когда хочешь!—отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу, и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши, он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! —сказал он увидя меня; —добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытираца на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, —сказал он мне, —что хотите

Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

«Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побрались? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье—и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить».

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно,—сказал Иван Игнатьич:—делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша,—сказал он.—Если уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы,

что в фортеции умышляется злодействие противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатъича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатъичем. «Зачем нам секунданты,—сказал он мне сухо:— без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, повидимому, так дружелюбно, что Иван Игнатъич от радости проболтался. «Давно бы так,—сказал он мне с доволь-

ным видом:—худой мир лучше доброй ссоры, а и не честен, так здоров».

«Что, что, Иван Игнатьич!—сказала комендантша, которая в углу гадала в карты:—я не вслушалась».

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

«Иван Игнатьич,—сказал он,—одобряет нашу мировую».

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

«Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем».

— За что так?

«За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна».

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

«Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затыкнул мою любимую:

Капитанская дочь,  
Не ходи гулять в полночь.

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось».

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать,—сказал он мне;—надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «Привел!» Нас встретила Василиса Егоровна.

«Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам,—сказал он ей хладнокровно,—не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело».—Ах! мой батюшка!—возразила комендантша;—да разве муж и жена не один дух и единая плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения, да каялись перед людьми.

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта, повидимому, примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал.—Как вам не стыдно было,—сказал я ему сердито,—доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?—«Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил,—отвечал он;—Василиса Егоровна выведала всё от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что всё так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине.—Наше дело этим кончиться не может,—сказал я ему.—«Конечно,—отвечал Швабрин;—вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!»—И мы расстались, как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорой с Швабриным. «Я так и обмерла,—

сказала она,—когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иваныч.

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

«Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх».

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему, или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела. «Мне кажется,—сказала она,—я думаю, что нравлюсь».

— Почему же вам так кажется?

«Потому что он за меня сватался».

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

«В прошлом году. Месяца два до вашего приезда».

— И вы не пошли?

«Как изволите видеть. Алексей Иваныч конечно человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно

будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!»

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злое речие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дождался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин: — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились, молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; на-



и плечо были у меня стянуты. Мало-по-малу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок, и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? каков?»—произнес шепоту голос, от которого я затрепетал.—Всё в одном положении,—отвечал Савельич со вздохом;—всё без памяти, вот уже пятые сутки.—Я хотел оборотиться, но не мог.—Где я? кто здесь?—сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?»—сказала она.—Слава богу,—отвечал я слабым голосом.—Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...—я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнися! опомнися!»—повторял он.—Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич,—сказала она.—Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича, и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ан-

гельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна,—сказал я ей,—будь моею женою, согласишься на мое счастье». — Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь,—сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла всё мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цырюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Всё семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители конечно рады будут ее счастью. «Но подумай хоро-

шенько,—прибавила она:—со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался; но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет, и что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне, и решился однако писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его, и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

С Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается, да раскается».—Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление

о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы незлопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви, и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел, и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться, и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснился; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою бабушки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано

было письмо; наконец решился его распечатать, и с первых строк увидел, что всё дело пошло к чорту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной, дочерью Мироновой, мы получили 15 сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, не смотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостойн, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые

батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала, но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно:—Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить.—Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь,—сказал он чуть не зарыдав,—что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?»—Что ты сделал?—отвечал я.—Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?—«Я? писал на тебя доносы?—отвечал Савельич со слезами.—Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитав, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, не взирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство молодому человеку. С получением сего, приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил,—повторял он;—вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами, да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье, да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, каза-

лось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось?—сказала она, увидев меня.—Как вы бледны!»—«Всё кончено!»—отвечал я, и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...»—Этому не бывать!—вскричал я, схватив ее за руку;—ты меня любишь; я готов на всё. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит... «Нет, Петр Андреич,—отвечала Маша,—я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле божией.

Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую—бег с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги; — посмотри, доносчик ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что де стыдно мне не исполнять господских приказаний;— а я не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под

правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цырюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него кроме хорошего нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то был молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. И изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш  
Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила, и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-по-малу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичем виделся я только, когда того требо-

вала служба. С Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важные влияния на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

## Глава VI

### Шугачевщина

Вы, молодые ребята, послушайте,  
Что мы, старые старики, будем  
сказывать.

*Песня.*

Прежде, нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема

была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении, и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Всё было уже тихо, или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали в тайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатъича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях, и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан,

немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оногo, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

«Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то видно силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы, да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота, да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть, да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите всё это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно».

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе с Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. — Как ты думаешь, чем это кончится? — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он; — посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей

не топить, а топить хворостом и валежником». — А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились? — Иван Кузмич не был приготовлен к такому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатъича, который вытаскивал из пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша: — уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатъича с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия,

начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка!—отвечал Иван Игнатьич.— Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

«А что за человек этот Пугачев?»—спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет

неведомая сила. Впрочем не мог он сказать ничего положительного, потому что далее ехать побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Подсланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем, лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатъич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужь тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант

думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — Полно врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша; — ты, знать, хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих, не проведешь! — Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже всё знаешь, так пожалуйста оставайся; мы потолкуем и при тебе». — То-то, батька мой, — отвечала она; — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами.

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выдти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

«Видно он в самом деле силен», — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатъич, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

«Постой, Иван Кузмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться».

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его

полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатъич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных

в 1741 году.—Да ты видно старый волк, побывал в наших капканах. Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь?—продолжал Иван Кузмич:— али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением, и не отвечал ни слова.

«Якши,—сказал комендант;—ты у меня говоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!»

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну,—сказал комендант,—видно нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

«Что это с тобою сделалось?»—спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда!—отвечала Василиса Егоровна.—Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила.

Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич!—сказал я коменданту.—Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей: «А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?»

— И, пустое!—сказала комендантша.—Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

«Ну, матушка, — возразил Иван Кузмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?»

— Ну, тогда...—Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

«Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом».

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

«И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?»

— У Акулины Памфиловны,—отвечала комендантша.—Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча, и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застаю Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич!—сказала она мне со слезами.— Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее.—Прощай, ангел мой,—сказал я,—прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!—Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

## Глава VII

### Приступ

Голова моя, головушка,  
Голова послуживая!  
Послужила моя головушка  
Ровно тридцать лет и три года.  
Ах, не выслужила головушка  
Ни корысти себе, ни радости,  
Как ни слова себе доброго  
И ни рангу себе высокого;  
Только выслужила головушка  
Два высокие столбика,  
Перекладинку кленовую,  
Еще петельку шелковую.

*Народная песня.*

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выдти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал

с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений, и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы?—сказал Иван Игнатьич, догоняя меня.—Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел».—Уехала ли Марья Ивановна?—спросил я с сердечным трепетом.—«Не успела,—отвечал Иван Игнатьич:—дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ними находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам.

Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу, и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее.—«Ну, что?—сказала комендантша.—Каково идет баталья? Где же неприятель?»—Неприятель недалеко,—отвечал Иван Кузмич.—Бог даст, всё будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?—«Нет, папенька,—отвечала Марья Ивановна;—дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомя, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблей в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал над шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам через частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали:

«Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас!—закричал Иван Кузмич.—Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про

себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники видимо приготавливались к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна!—сказал комендант.—Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива, ни мертва».

Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен; благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее». (Маша кинулась ему на шею, и зарыдала.)—Поцелуемся ж и мы,—сказала заплакав комендантша.—Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!—«Прощай, прощай, матушка!—сказал комендант, обняв свою ста-

руху.—Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел во след Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и всё внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя, и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко,—сказал комендант;—будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние, и вдруг выпалил опять. Картечьхватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята,—сказал комендант—теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите?—закричал Иван Кузмич.—Умирать, так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость.

Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым послушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красивый казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча, умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?»—спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича.

Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай, — сказал ему Пугачев, — государю Петру Феодоровичу!» — Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец! — Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать

про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради, вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил (руку), сказал с усмешкою: «Его благородие знать

одурел от радости. Подымите его!»—Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Всё это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои!—кричала бедная старушка.—Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи!—закричала она в иступлении.—Что это вы с ним сделали? Свет ты мой,

Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!»—Унять старую ведьму!—сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

## Глава VIII

### Незванный гость

Незванный гость хуже татарина.

*Пословица.*

Площадь опустела. Я всё стоял на одном месте, и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Всё было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; всё растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел

ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

«Ах, Петр Андреич!—сказала она, сплеснув руками.—Какой денёк! какие страсти!..»

— А Марья Ивановна?—спросил я нетерпеливо.—Что Марья Ивановна?

«Барышня жива, — отвечала Палаша.—Она спрятана у Акулины Памфиловны».

— У попадьи!—вскричал я с ужасом.—Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадьа вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна?—спросил я с неизъяснимым волнением.

«Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадья.— Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, всё прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — Молода, государь.— «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и йокнуло, да нечего было делать.— Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и придти к твоей милости.— «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами—и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадил? А каков Швабрин, Алексей Иванович? Ведь остригся в кру-

жок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то».—В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. «Ступайте себе домой, Петр Андреич,— сказала она;— теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет, то будет; авось бог не оставит!»

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу!— вскричал он, увидя меня.— Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? всё у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду—ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что

тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

«Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новёшенький, а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!»

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

«Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду, пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю».

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Остаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтоб я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих, затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно

советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но всё же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, «что-де великий государь требует тебя к себе».—Где же он?—спросил я, готовясь повиноваться.

«В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его».

Я не почел нужным оспаривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к ко-

мендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши всё еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановою.

Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. «А, ваше благородие!—сказал Пугачев, увидя меня.—Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то гра-

фом, то Тимофеичем, а иногда величая его дя-  
дюшкой. Все обходились между собою как то-  
варищи и не оказывали никакого особенного  
предпочтения своему предводителю. Разговор  
шел об утреннем приступе, об успехе возму-  
щения и о будущих действиях. Каждый хвастал,  
предлагал свои мнения и свободно оспаривал  
Пугачева. И на сем-то странном военном совете  
решено было идти к Оренбургу: движение дерз-  
кое, и которое чуть было не увенчалось бедствен-  
ным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему  
дню. «Ну, братцы,—сказал Пугачев,—затя-  
нем-ка на сон грядущий мою любимую песенку.  
Чумаков! начинай!»—Сосед мой затянул тонким  
голоском заунывную бурлацкую песню, и все  
подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,  
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.  
Что завтра мне доброму молодцу в допрос идти  
Перед грозного судью, самого царя.  
Еще станет государь-царь меня спрашивать:  
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,  
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,  
Еще много ли с тобой было товарищей?  
Я скажу тебе, надежа православный царь,  
Все правду скажу тебе, всю истину,  
Что товарищей у меня было четверо:  
Еще первой мой товарищ темная ночь,  
А второй мой товарищ булатный нож,  
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,  
А четвертой мой товарищ, то тугой лук,

Что рассыльщики мои, то калены стрелы.  
Что возговорит надежа православный царь:  
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,  
Что умел ты воровать, умел ответ держать!  
Я за то тебя, детинушка, пожалую  
Среди поля хоромами высокими,  
Что думя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,—всё потрясло меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел было за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить».—Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

«Что, ваше благородие?—сказал он мне.—Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо

с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко предо мною виноват, — продолжал он; — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?»

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

«Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо».

Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжество-

вало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

«Кто же я таков, по твоему разумению?»

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иногочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельд-маршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам на-

чальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня—спасибо; казнишь—бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал; он, ударя; меня по плечу.— Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости всё было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики за-поздальных гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось всё в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру, и нашел Савельича, горящего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко!—сказал он перекрестившись.— Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

## Глава IX

### Разлука

Сладко было спознаваться  
Мне, прекрасная, с тобой;  
Грустно, грустно расставаться,  
Грустно, будто бы с душой.

Х е р а с к о в .

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где всё еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из стар-

шин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросался их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружили главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай,—сказал он мне.— Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детскою любовью и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрину:— «Вот вам, детушки, новый командир. Слушайте его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было посадить его.

В это время, из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает

ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» спросил важно Пугачев.

— Прочитай, так изволишь увидеть, — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малой в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурился, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей».

«Штаны белые суконные, на пять рублей».

«Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей».

«Погребец с чайною посудуою, на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье?—прервал Пугачев.—Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...»

— Какими злодеями?—спросил грозно Пугачев.

«Виноват: обмолвился,—отвечал Савельич.—Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили, да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать».

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

«Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

«Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще!—вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками?—вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу.—Глупый старик! Их обрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят,

за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь,—отвечал Савельич;—а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был видно в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие, и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь,—отвечал Савельич,—смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без

памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие утешали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка—невинный предмет его ненависти, он мог решиться на всё. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости, и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловой, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте,—говорила мне попадья, провожая меня;—прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился, и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще,—примолвил запинаясь урядник,—жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!»—«Что у меня за пазухой-то побрякивает?—возразил урядник, нимало не смутясь.—Бог с тобою, старинушка. Это бренчит уздечка, а не полтина».—Добро,—сказал я,—прерывая спор.—Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути, и возьми себе на водку.—«Очень благодарен, ваше благородие,—отвечал

он, поворачивая свою лошадь;—вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь,—сказал старик,—что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать, да всё же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

## Глава X

### Осада города

Заняв луга и горы,  
С вершины, как орел, бросал на  
град он взоры.  
За станом повелел соорудить  
раскат,  
И в нем перуны скрыв, в нощи  
привести под град.  
Х е р а с к о в.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они рабо-

тали около укреплений, под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался, и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему всё. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов!—сказал он, когда кончил я свою печальную повесть.—Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и какая мастерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай!—заметил генерал.—Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой?»—Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что вероятно его превосхо-

дительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим,—сказал он.—Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал

изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело: «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно*, или *оборонительно*? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть, начиная с младших по чину. Г. прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагоклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово: *молокосос*, произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Г. прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собрание голосов. Г. коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

«Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное, или наступательное...»

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

«Э-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...»

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

«Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако, надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку».

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому

подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

«Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие основано на всех правилах здоровой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает».

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

«Но, государи мои, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать».

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решился следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета, узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближался к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, ко-ему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских, и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была губельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы

Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею, и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках пересел был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городская конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреич? Как вас бог милует?»

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я нескazanно ему обрадовался.—Здравствуй, Максимыч,—сказал я ему.—Давно ли из Белогорской?

«Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо».

— Где ж оно?—вскричал я, весь так и вспыхнув.

«Со мною,—отвечал Максимыч, положив руку за пазуху.—Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить». Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пу-

гачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выдти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозитя, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждть еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота  
Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия прищпоривая моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.—Ваше превосходительство,—сказал я ему,—прибегаю к вам, как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе; дело идет о счастье всей моей жизни.

«Что такое, батюшка?—спросил изумленный старик.—Что я могу для тебя сделать? Говори».

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

«Как это? Очистить Белогорскую крепость?»—сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех,—отвечал я с жаром.—Только отпустите меня.

«Нет, молодой человек,—сказал он качая головою.—На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация....»

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.—

Дочь капитана Миронова,—сказал я ему,—пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выдти за него замуж.

«Неужто? О, этот Швабрин превеликий schelm, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парاپете крепости! Но покамест надобно взять терпение!..»

— Взять терпение!—вскричал я вне себя.— А он между тем женится на Марье Ивановне!..

«О!—возразил генерал.— Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица».

— Скорее соглашусь умереть,—сказал я в бешенстве,—нежели уступить ее Швабрину!

«Ба, ба, ба, ба!—сказал старик.— Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но всё же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна, я не могу взять ее на свою ответственность».

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

## Глава XI

### Мятежная слобода

В ту пору лев был сыт, хоть  
с роду он свиреп.  
«Зачем пожаловать изволил  
в мой вертеп?»  
Спросил он ласково.

А. С у м а р о к о в.

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не равён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на-всё денег? «Будет с тебя,—отвечал он с довольным видом.—Мошенники как там ни шарили, а я всё-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек полный серебра.—Ну, Савельич,—сказал я ему,—отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость.

«Батюшка Петр Андреич!—сказал добрый дядька дрожащим голосом.—Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время,

когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны».

Но намерение мое было твердо принято.— Поздно рассуждать,—отвечал я старику.—Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив, авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть в три-дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

«Что ты это, сударь?—прервал меня Савельич.—Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною? Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану».

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами; это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я повернул лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, повидимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дожждаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас

привели прямо к избе, стоявшей на углу перекреста. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец,—сказал один из мужиков:—сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дождался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,—всё было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие!—сказал он мне с живостию.—Как поживаешь? За чем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» спро-

сил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясниться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выдти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них,— сказал мне Пугачев:— от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого роста, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга!»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту! — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

«Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу».

«Прикажи слово молвить, — сказал Жлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору».

«Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить

порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную, да запалить там огоньку; мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров».

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу, при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие?—сказал он мне подмигивая.—Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

«Добро,—сказал Пугачев.—Теперь скажи, в каком состоянии ваш город».

— Славу богу,—отвечал я;—всё благополучно.

«Благополучно?—повторил Пугачев.—А народ мрет с голоду!»

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что всё это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

«Ты видишь,—подхватил старичок,—что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверлет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно».

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу. «Полно, Наумыч,—сказал он ему.—Тебе бы всё душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»

— Да ты что за угодник?—возразил Белобородов.—У тебя-то откуда жалость взялась?

«Конечно,—отвечал Хлопуша,—и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором».

Старик отворотился и проворчал слова: «рванные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч?—закричал Хлопуша.—Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородашки не вырвал!

«Господа енаралы!—провозгласил важно Пугачев.—Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь».

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова, и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен,—сказал он, мигая и прищуриваясь.—Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя,—отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

«Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим, и на свадьбе твоей попируем!»—Потом обращаясь к Белобородову:—«Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем».

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте, и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок.

«Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога

молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану».

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянной. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровавых привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова: озлобленный Швабрин мог открыть ему всё; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станет с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

«О чем, ваше благородие, изволил задуматься?»

— Как не задуматься,—отвечал я ему.— Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.

«Что ж?—спросил Пугачев.—Страшно тебе?»

Я отвечал, что быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

«И ты прав, ей богу прав!—сказал самозванец.—Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился,—прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать,—помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья».

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова.

«Что говорят обо мне в Оренбурге?»—спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудно; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да!—сказал он с веселым видом.— Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.—Сам как ты думаешь?—сказал я ему,—управился ли бы ты с Фридриком?

«С Федором Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву».

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».

— То-то!—сказал я Пугачеву.—Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся. «Нет,—отвечал он;—поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

«Слушай,—сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живёшь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-всё только тридцать три года?—Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!—Какова калмыцкая сказка?»

— Затейлива,—отвечал я ему.—Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружаясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему

пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней— и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

## Глава XII

### Сирота

Как у нашей у яблонки  
Ни верхушки нет, ни отросточек;  
Как у нашей у княгинюшки  
Ни отца нету, ни матери.  
Снарядить - то ее некому,  
Благословить - то ее некому.

*Свадебная песня.*

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!»— Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно-знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на

том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом, но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее».

Швабрин побледнел, как мертвый.— Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

«Веди ж меня к ней», — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице. «Государь! — сказал он. — Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей».

Я затрепетал. «Так ты женат!» — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

«Тише! — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною».

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке, и третий день как бредит без умолку».

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах, и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрину и сказал с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне: — Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?»

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше

решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина: «И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?»

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. «Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину; — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта». Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково: «Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь».

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

«Что, ваше благородие? — сказал смеясь Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!»

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин услыша предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь! — закричал он в исступлении. — Я виноват, я вам солгал, но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости».

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостью.

«Ты мне этого не сказал», — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

«И то правда, — сказал смеясь Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их».

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнь мою рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой

благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему!—сказал он.—Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он обратился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?»—спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей: «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне; я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич,—говорила попадья.—Привел

бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то».—Полно, старуха,—прервал отец Герасим.—Не всё то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались.

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная!—говорила Акулина Памфиловна.—Промчи бог тучу мимо. Ай-да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!»—В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою

на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была попрежнему, просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Всё было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне всё, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагоприятное положение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна!—сказал я наконец.—Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас

неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить».—Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противоречил. Мы поцеловались горячо, искренно—и таким образом всё было между нами решено.

Чрез час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать всё, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся

когда-нибудь».—Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Всё было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше всё было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.



Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйскою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усатый вахмистр. — Вот уж тебе будет баня, и с твоею хозяйскою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это всё кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяйшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

«Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие при-

казал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!»

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире!

— Возможно ли?—вскричал я.—Иван Иваныч! ты ли?

«Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?»

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

«Какую тебе квартиру? Оставайся у меня».

— Не могу: я не один.

«Ну, подавай сюда и товарища».

— Я не с товарищем; я... с дамою.

«С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат!» (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

«Ну,—продолжал Зурин:—так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попирировали по-старинному... Гей! малой! да что ж сюда не

ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею».

— Что ты это?—сказал я Зурина.—Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

«Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?»

— После всё расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении, и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Всё это, брат, хорошо; одно не хорошо; зачем тебя чорт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся

меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе не за чем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и всё будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж я чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию.—Друг ты мой, Архип Савельич!—сказал я ему.—Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней.

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного. «Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?»

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-по-малу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было

медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидеться или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружили. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно, и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев всё еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и всё предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то

время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и снова начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться чрез Волгу.

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Правление было повсюду прекращено; помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марию Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать! Женишься—ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: Емеля, Емеля!—думал я с досадою;—зачем не наткнулся ты на штык, или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марию Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?»—спросил я с беспокойством.—«Маленькая неприятность,—отвечал он, подавая мне бумагу.—Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего!»—сказал Зурин.—«Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев—устрасала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

## Глава XIV

### Суд

Мирская молва —  
Морская волна.

*Пословица.*

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решил перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, вместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посередине сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть куз-

неца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Такое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливаемой из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой

возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, — сказал он мне нахмурясь; — но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать не мог и никаких поручений от него принять не мог.

«Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене, или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?»

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера, и с жаром начал свое оправдание.

Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посоветился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

«На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился, и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и всё прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными извещениями злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку—эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел—Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу,

разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца.—Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать,—как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил всё мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слышивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностью.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка

получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б\*\*. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявил ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков к несчастью оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решила помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горечь его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как!—повторял он, выходя из себя.—Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возратить ему бодрость, говоря

о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания, и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного Календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча взяла шерстяную фуфайку и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург?—сказала она.—Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было

ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка!—сказал он ей со вздохом.— Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав, что двор находился в то время в Царском Селе, решила тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, словом, разговор Анны Власьевны стоил

нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидящую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, с своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном

чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчание.

«Вы верно не здешние?»—сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

«Вы приехали с вашими родными?»

— Никак нет-с. Я приехала одна.

«Одна! Но вы так еще молоды».

— У меня нет ни отца, ни матери.

«Вы здесь конечно по каким-нибудь делам?»

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

«Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

«Позвольте спросить, кто вы таковы?»

— Я дочь капитана Миронова.

«Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?»

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня,—сказала она голосом еще более ласковым,—если я вмешиваюсь в ваши дела; но я

бываю при дворе, изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Всё в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменялось,—и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

«Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй».

— Ах, неправда!—вскрикнула Марья Ивановна.

«Как неправда!»—возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей богу, неправда! Я знаю всё, я всё вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не

хотел запутать меня.—Тут она с жаром рассказала всё, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием.—«Где вы остановились?» спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вышла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Всё-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее

желтым роброном?»—Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна, и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так утрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово

и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты,— сказала она;— но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не любопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который

узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии.—В тридцати верстах от \*\*\* находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

*Издатель*

19 окт. 1836 г.



## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Пропущенная глава<sup>1</sup>

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню \*\* и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром.

Нетерпение овладело мной [и не давало мне покою]. Деревня отца моего находилась в 30 верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении.

— Берегись,—сказал он мне.—Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые, и приведем в гости к твоим родителям 50 чел(овек) гусаров на всякий случай.

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами.—Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла.—Погода была тихая.—

---

<sup>1</sup> Глава эта, не включенная в окончательную редакцию «Капитанской дочки» по цензурным соображениям и сохранившаяся только в черновой рукописи, самим Пушкиным названа была «Пропущенной главой». В тексте этой главы остались невыправленными фамилии некоторых персонажей: Гринеv называется Буланиным, а Зурин—Гриневым.)

Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по [поверхности] темных волн.— Я погрузился в мечты воображения: (спокойствие природы и ужасы политические), любовь etc.—

Прошло около получаса.—Мы достигли середины реки... Вдруг гребцы начали шептаться между собою.

— Что такое?—спросил я, очнувшись.

— Не знаем, бог весть,—отвечали гребцы, смотря в одну сторону.

Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плившее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дожидаться его.

Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще темнее. Он был от меня уже близко, и я всё еще не мог н(ичего) различить.

— Что бы это было,—говорили гребцы.—Парус не парус, мачты не мачты...

Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту—3 тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною.—Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами.—Полная луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой [заводский] русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: *Воры и бунтовщики*. Гребцы [смотрели] равнодушно ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго

чернела во мраке. Наконец она исчезла—и лодка моя пристала к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова. Я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. На всякой случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня.—Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в \*\*.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посреди улицы ямщик начал их удерживать.

— Что такое?—спросил я с нетерпением.

— Застава, барин,—отвечал ямщик, с трудом останавливая разъяренных своих коней.

В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне, (и) снял шляпу, спрашивая пашпорту.

— Что это значит?—спросил я его,—зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?

— Да мы, батюшка, бунтуем,—ответил он, почесываясь.

— А где ваши господа?—спросил я с сердечным замиранием.

— Господа-то наши где?—повторил мужик.—Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки—и хочет везти к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо—и сам отодвинул рогатку.—Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу (и) велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика тоже с дубинами.—Телега остановилась прямо перед ними.—Я выскочил и бросился прямо на них.

— Отворяйте двери!—сказал я им.

Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере, оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок с двери, выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буяннить.

— Где Андрюшка земский?—закричал я ему.—Кликнуть его ко мне.

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка,—отвечал он мне, гордо подбочась.—Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за шиворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но *отеческое* наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар.—Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением,—три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать.

Вдруг услышал я милый знакомый голос:

— Петр Андреич! Это вы!

Оглянулся, и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную. Я остолбенел...

Матушка ахнула и залилась слезами.

Отец глядел на меня молча—не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его.

Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша,—говорил отец мне, прижимая меня к сердцу,—слава богу, дождались тебя...

— Петруша, друг мой,—[говорила] матушка.—Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения,—но, подошел к двери, я нашел ее снова запертою.

— Андрюшка,—закричал я,—отопри!

— Как не так,—отвечал из-за двери земский.—Сидика сам здесь. Вот ужю научим тебя буяннить, да за ворот таскать государевых чиновников!

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись,—сказал мне батюшка,—не таковский я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета—я мог еще выдержать осаду.—Гринева должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил всё это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр,—сказал мне отец,—довольно ты напроказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на Марию Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики.

— Что это значит,—сказал отец,—уж не твой ли полковник подоспел?

— Невозможно,—отвечал я.—Он не будет прежде вечера.

Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом:

— Андрей Петрович! Авдотья Васильевна! Батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна! Беда, злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери!

Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай,—сказал я Савельичу,—пошли кого-нибудь верхом к \* перевозу, навстречу гусарскому полку, и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

— Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе—до анбара добираются.

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курок, и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась и голова земского показалась.—Я ударил по ней саблею и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в двери из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутренней петлею.

Двор был полон вооруженных людей.—Между ими узнал я Швабрину.

— Не бойтесь,—сказал я женщинам,—есть надежда. А вы, батюшка, уж более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу, Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь.— Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться попустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар, и тогда посмотрим, что ты станешь делать. Дон-Кишот белогорский. Теперь время обедать. Покамест сиди, да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился, оставя караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей.—Я воображал себе всё, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъяснение их негодований. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек! Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился (прости господи!) умертвить ее скорее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадую на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертью.

Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал.

Подождав немного, Швабрин велел принести соломы.—Через несколько минут вспыхнул огонь, осветил темный анбар—и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

— Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что,—закричал я с сердцем.—Знаете ли вы, что вас ожидает!

— Бесчестия я не переживу,—отвечала она спокойно.— Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, (Авдотья Васильевна). Вы были для меня более, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что... что...—тут она заплакала... и закрыла лицо руками... Я был, как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ивановна,—сказал мой отец.— Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь, и молчи. Умирать, так умирать уж вместе.

— Слушай—что там еще говорят?

— Сдаетесь ли?—кричал Швабрин.—Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей!—отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых бровей.—И обратясь ко мне сказал: «Теперь пора!»

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною».—(Я взял) за руку матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрину, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним всё наше семейство.

Меня поддерживали под руки.—Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев,—и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

---

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку.

— Кстати же я подросел,—сказал он нам.—А вот и твоя невеста.

Марья Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его, с видом спокойным, хотя

и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем.

— Милости просим к нам,—сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринеv остановился.

— Это кто?—спросил он, глядя на раненого.

— Это сам предводитель, начальник шайки,—отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина,—бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отмстить ему за кровь моего сына.

— Это Швабрин,—сказал я Гриневу.

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, всё было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия.

Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и, благодаря суматохе, незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринеv, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп—и, славу богу, приискал во-время.

Гринева настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек.—Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринева пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно—а много ли таких минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну что, дураки,—сказал он им,—зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш,—отвечали они в голос.

— То-то виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел меня свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет.

— Виноваты!

— Конечно, виноваты. Бог дал ведро, пора бы сено убрать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая bestия, чтоб у меня к Иванову дню всё сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уло-

жили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показать вид, что торжествую над несчастьем и унижением недруга.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну, бледную и трепещущую.—Нас благословили...

Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет,—кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех.—Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал—и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастья для меня миновались. Сердце чу(я)ло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода—и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам.—Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно нака-

звали виноватых и безвинных.—Состояние всего края где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт—бесмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка—полушка, да и своя шейка—копейка.



# **ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ**



## Надинька

Несколько молодых людей, по большей части военных, проигрывали свое имение поляку Ясунскому, который держал маленький банк для препровождения времени и важно передергивал, подрезая карты. Тузы, тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались как град—и облака стираемого мела смешались с дымом турецкого табаку.

— Неужто два часа ночи? Боже мой, как мы засиделись,—сказал Виктор N молодым своим товарищам.— Не пора ли оставить игру?

Все бросили карты, встали изо стола. Всякой, докуривая трубку, [стал] считать свой или чужой выигрыш. Поспорили, согласились и разъехались.

— Поедем вместе,—сказал Виктору ветреный Вельверов.— Я познакомлю тебя с очень милой девочкой; ты будешь меня благодарить.

Оба сели в дрожки и полетели по мертвым улицам Петербурга.

Виктор N...

(1819 г.)

## „Гости съезжались на дачу...“

(I)

Гости съезжались на дачу г(рафини)\*\*\*. Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую италийскую оперу. Каждый гость, пробравшись до круглого стола, где разливали чай, спешил поклониться хозяйке и потом исчезнуть в толпе. Мало-по-малу порядок установился. Дамы заняли свои места по диванам. Около их составилась кружок мужчин. Висты учредились. Осталось на ногах несколько молодых людей, и смотр парижских литографий заменил общий разговор.

На балконе сидело двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец, казалось, живо наслаждался прелестью северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке. «Как хороша ваша северная ночь, — сказал он, наконец: — и как не

пожалеть об ее прелести, даже под небом моего отечества?»—«Один из наших поэтов,—отвечал ему другой,—сравнивал ее с русской белобрысой красавицей; признаюсь, что смуглая, черноглазая италианка или испанка, исполненная живости и полуденной неги, более пленяет мое воображение. Впрочем, давнишний спор между *la brune et la blonde*<sup>1</sup> еще не решен. Но кстати: знаете ли вы, как одна иностранка изъясняла мне строгость и чистоту петербургских нравов? Она уверяла, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы».—Испанец улыбнулся. «Итак, благодаря влиянию климата,—сказал он:—Петербург есть обетованная земля красоты, любезности и беспорочности».—«Красота дело вкуса,—отвечал русской,—но нечего говорить об нашей любезности. Она не в моде, никто об ней и не думает. Женщины боятся прослыть кокетками, мужчины уронить свое достоинство. Все стараются быть ничтожными со вкусом и приличием. Что же касается до чистоты нравов, то дабы не употребить во зло доверчивости иностранца, я расскажу вам...» И разговор принял самое сатирическое направление.

В сие время двери в залу отворились, и Воль-

---

<sup>1</sup> (Брюнеткой и блондинкой.)

ская взошла. Она была в первом цвете молодости. Правильные черты, большие черные глаза, живость движений, самая странность наряда, всё поневоле привлекало внимание. Мужчины встретили ее с какой-то шутовой приветливостью, дамы с заметным недоброжелательством; но Вольская ничего не замечала; отвечая кратко на общие вопросы, она рассеянно глядела во все стороны; лицо ее, изменчивое как облако, изобразило досаду; она села подле важной княгини Г. и, как говорится, *se mit à boudier*.<sup>1</sup>

Вдруг она вздрогнула и обернулась к балкону. Беспokoйство овладело ею. Она встала, пошла около кресел и столов, остановилась на минуту за стулом старого генерала Р., ничего не отвечала на его тонкий мадригал, и вдруг скользнула на балкон.

Испанец и русской оба встали. Она подошла к ним и с замешательством сказала несколько слов по-русски. Испанец, полагая себя лишним, оставил ее и возвратился в залу.

Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и вполголоса сказала своему соседу: «Это ни на что не похоже».

— Она ужасно ветрена,—отвечал он.

«Ветрена? этого мало. Она ведет себя непро-

---

<sup>1</sup> (Принялась дуться.)

ститительно. Она может не уважать себя, сколько ей угодно, но свет еще не заслуживает от нее такого пренебрежения. Минский мог бы ей это заметить».

— Il n'en fera rien, trop heureux de pouvoir la compromettre.<sup>1</sup> Между тем, я бьюсь об заклад, что разговор их самый невинный.

«Я в том уверена... Давно ли вы стали так добродушны?»

— Признаюсь: я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины. В ней много хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее погубят.

«Страсти! какое громкое слово! Что такое страсти? Не воображали ли вы, что у ней пылкое сердце, романическая голова? Просто она дурно воспитана... Что это за литография? Портрет Гуссейн-паши? покажите мне его».

Гости разъезжались; ни одной дамы не оставалось уже в гостиной; лишь хозяйка с явным неудовольствием стояла у стола, за которым два дипломата доигрывали последнюю игру в экарте.

Вольская вдруг заметила зарю и поспешно оставила балкон, где она около трех часов сряду

---

<sup>1</sup> (Он этого не сделает, так как слишком рад случаю ее компрометировать.)

находилась наедине с Минским. Хозяйка простилась с нею холодно, а Минского не удостоила взгляда.

У подъезда несколько гостей ожидали своих экипажей. Минский посадил Вольскую в ее карету.

«Кажется, твоя очередь»,—сказал ему молодой офицер.

— Вовсе нет,—отвечал он.—Она занята; я просто ее наперсник, или что вам угодно. Но я люблю ее от души—она уморительно смешна.

---

Зинаида Вольская лишилась матери на шестом году от рождения. Отец ее, человек деловой и рассеянный, отдал ее на руки француженки, нанял учителей всякого рода и после уж об ней не заботился. Четырнадцать лет она была прекрасна, и писала любовные записки своему танцмейстеру. Отец об этом узнал, отказал танцмейстеру, и вывез ее в свет, полагая, что воспитание ее кончено. Появление Зинаиды наделало шуму. Вольский, богатый молодой человек, привыкший подчинять свои чувства мнению других, влюбился в нее без памяти, потому что генерал-адъютант\*\* на одном придворном бале решительно объявил, что Zénéida первая в Петербурге красавица, и что Г(осударь),

встретив ее на Английской набережной, целый час с нею разговаривал. Он стал свататься. Отец обрадовался случаю сбыть с рук молодую невесту. Зинаида горела нетерпением быть замужем, чтоб видеть у себя весь город. К тому же Вольский ей не был противен, и таким образом участь ее была решена.

Ее искренность, неожиданные проказы, детское легкомыслие производили сначала приятное впечатление, и даже свет был благодарен той, которая поминутно прерывала важное однообразие аристократического круга. Смеялись ее шалостям, повторяли ее странные выходки. Но годы шли, а душе Зинаиды всё еще было четырнадцать лет. Стали роптать. Нашли, что Вольская не имеет никакого чувства приличия, собственного ее полу. Женщины стали от нее удаляться, а мужчины приблизились. Зинаида подумала, что она не в проигрыше, и утешилась.

Молва стала приписывать ей любовников. Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы. В светском уложении правдоподобие равняется правде, а быть предметом клеветы унижает нас в собственном мнении. Вольская, в слезах негодования, решила возмутиться противу власти несправедливого света. Случай скоро представился.

Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида отличила Минского. Повидимому, некоторое сходство в характерах и обстоятельствах жизни должно было их сблизить. В первой молодости Минский порочным своим поведением заслужил также порицание света, который наказал его клеветою. Минский оставил его, притворяясь равнодушным. Страсти на время заглушили в его сердце угрызения самолюбия; но усмиренный опытами, явился он вновь на сцену общества и принес ему уже не пылкость неосторожной своей юности, но снисходительность и благопристойность эгоизма. Он не любил света, но не презирал, ибо знал необходимость его одобрения. Со всем тем, уважая вообще, он не щадил его в особенности, и каждого члена его готов был принести в жертву своему злопамятному самолюбию. Вольская нравилась ему за то, что она осмеливалась явно презирать ему ненавистные условия. Он подстрекал ее одобрением и советами, сделался ее наперсником и вскоре стал ей необходим.

Б\*\* несколько времени занимал ее воображение. «Он слишком для вас ничтожен,—сказал ей Минский.—Весь ум его почерпнут из «Liaisons dangereuses»,—так же как весь его гений выкраден из Жюмини. Узнав его покороче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, как

военные люди презирают его пошлые рассуждения».

— Мне хотелось бы влюбиться в Р.,— сказала ему Зинаида.

«Какой вздор!— отвечал он.— Охота вам связаться с человеком, который красит волосы и каждые пять минут повторяет с упоением: *quand j'étais à Florence...*<sup>1</sup> Говорят, его несносная жена влюблена в него; оставьте их в покое, они созданы друг для друга».

— А барон W.?

«Это девочка в мундире, но знаете ли что? Влюбитесь в Л. Он займет ваше воображение: он так же необыкновенно умен, как необыкновенно дурен, *et puis c'est un homme à grands sentiments*,<sup>2</sup> он будет ревнив и страстен, он будет вас мучить и смешить—чего вам более?»

Однако ж Вольская его не послушалась. Минский угадывал ее сердце; самолюбие его было тронуту; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если б он мог вообразить бури, его

---

<sup>1</sup> (Когда я был во Флоренции.)

<sup>2</sup> (А кроме того, это человек способный к сильным чувствам.)

ожидающие, то отказался бы от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием—лени и благоприличию.

(1828 — 1829)

⟨II⟩

Минский лежал еще в постеле, когда подали ему письмо. Он распечатал его, зевая, пожал плечами, развернул два листа, вдоль и поперек исписанные самым мелким женским почерком. Письмо начиналось таким образом:

«Я намерена тебе высказать всё, что имею на сердце. В твоём присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь так сильно меня преследуют. Твои софизмы не убеждают моих подозрений, но заставляют меня молчать. Это доказывает твоё всегдашнее превосходство надо мною, но не довольно для счастья, для спокойствия моего сердца».

Вольская упрекала его в холодности, недоверчивости и проч., жаловалась, умоляла, сама не зная о чем; рассыпалась в нежных, ласковых уверениях и назначала ему вечером свидание в своей ложе. Минский отвечал ей в двух словах, извиняясь скучными необходимыми делами и обещаясь быть непременно в театре.

(1828 — 1829)

### 〈III〉

— Вы так откровенны и снисходительны,—сказал испанец,—что осмелюсь просить вас разрешить мне одну задачу: я шатался по всему свету, представлялся во всех европейских дворах, везде посещал высшее общество, но нигде не чувствовал (себя) так связанным, так неловким, как в проклятом вашем аристократическом кругу. Всякой раз, когда я вхожу в залу княгини В. и вижу эти немые неподвижные мумии, напоминающие мне египетские кладбища, какой-то холод меня пронизывает. Меж ими нет ни одной моральной власти, ни одно имя не утверждено мне славою—пред чем же я робею?

— Перед недоброжелательством,—отвечал русский.—Это черта наших нравов: в народе выражается она насмешливостию, в высшем кругу невниманием и холодностию. [Аристократическое спокойствие наших дам происходит от их нравственного бездействия.] О мужчинах нечего и говорить. Наши дамы к тому же очень поверхностно образованы, ничто европейское не занимает их мыслей. Политика и литература для них не существует. Остроумие давно в опале, как признак легкомыслия. О чем же станут они говорить? О самих себе? Нет,—они слишком хорошо воспитаны. Остается им разговор какой-то домашний,

мелочной, часто понятный только для немногих, для избранных. И человек, не принадлежащий к этому малому стаду, принят, как чужой, не только иностранец, но и свой.

— Извините мне мои вопросы,—сказал испанец,—но вряд ли мне найти в другой раз удовлетворительных ответов, и я спешу вами пользоваться. Вы упомянули о вашей аристократии: что такое русская аристократия? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у вас не существует.—Кажется, между вашим дворянством существует гражданское равенство,—и доступ к оному ничем не ограничен. На чем же основывается ваша так называемая аристократия? Разве на одной только древности родов русских замечательных (людей)?

— [Вы ошибаетесь],—отвечал он.—Древнее русское [дворянство] вследствие причин, вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего состояния. Наша дворянская чернь, к которой и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха. Но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древность рода их восходит до Петра и до Елисаветы. Денщики, певчие, хохлы,—вот их родоначальники. Говорю не в упрек: достоинство—всегда достоинство,

и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожника, денщика, певчего и беглого (солдата) спесь [герцогов] Монморанси [и] Клермон Тоннера, первого христианского барона.

— Я сам, например,—продолжал русский с видом самодовольного небрежения,—хотя дворянство мое и теряется в отдаленной древности, и имена предков моих на всех страницах истории нашей, но если бы я подумал назвать себя аристократом, то, вероятно, насмешил бы многих. Мы так положительны, что стоим на коленях пред настоящим случаем и успехом, но (у нас нет) очарования древностию, благодарности к прошедшему и уважения к нравственному достоинству. Прошедшее для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но едва ли мы вслушались. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди [дурака] или балом двоюродной сестры. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.

(1830)

## „На углу маленькой площади...“

### Глава I

Votre coeur est l'éponge imbibée de fiel et de vinaigre.

*Correspondance inédite.*

На углу маленькой площади, перед деревянным домиком, стояла карета, явление редкое в сей отдаленной части города. Кучер спал лежа на козлах, а фореитор играл в снежки с дворовыми мальчишками.

В комнате, убранной со вкусом и роскошью, на диване, обложенная подушками, одетая с большой изысканностью, лежала бледная дама, уже не молодая, но еще прекрасная. Перед камином сидел молодой человек лет двадцати шести, перебирающий листы английского романа.

Бледная дама не спускала с него своих черных и впалых глаз, окруженных болезненной синевою. Начинало смеркаться: камин гаснул; молодой человек продолжал свое чтение. Наконец она сказала:

«Что с тобою сделалось, Валериан? Ты сегодня сердит».

— Сердит,—отвечал он, не подымая глаз с своей книги.

«На кого?»

— На князя Горецкого. У него сегодня бал, а я не зван.

«А тебе очень хотелось быть на его бале?»

— Ни мало. Чорт его побери с его балом. Но если зовет он весь город, то должен звать и меня.

«Который это Горецкий? Не князь ли Яков?»

— Совсем нет. Князь Яков давно умер. Это брат его, князь Григорий, известная скотина.

«На ком он женат?»

— На дочери [какого-то целовальника, нажившего миллионы], того певчего, как бишь его?

«Я так давно не выезжала, что совсем раззнакомилась с вашим [высшим обществом]. Так ты очень дорожишь вниманием князя Григория, известного мерзавца, и благосклонностью жены его, дочери целовальника?»

— И конечно,—с жаром отвечал молодой человек, бросая книгу на стол.—Я человек светский и не хочу быть в пренебрежении [у аристократии, из какой грязи, впрочем, ни была б она вылеплена], у светских аристократов. Мне дела

нет ни до их родословной, ни до их нравственности.

«Кого ты называешь у нас аристократами?»

— Тех, которые протягивают руку графине Фуфлыгиной.

«А кто такая графиня Фуфлыгина?»

— [Взяточница, толстая], наглая дура.

[«Какие тонкие эпиграммы!»]

— Я за остроумием, слава богу, не гоняюсь].

«И пренебрежение людей, которых ты презираешь, может до такой степени тебя расстраивать!.. Признайся, тут есть и иная причина...»— сказала дама после некоторого молчания.

— Так: опять подозрения! Опять ревность! Это, ей-богу, несносно.

С этим словом он встал и взял шляпу.

«Ты уже едешь?—сказала дама с беспокойством.—Ты не хочешь здесь отобедать?»

— Нет, я дал слово.

«Обедай со мною,—продолжала она ласковым и робким голосом.—Я велела взять шампанского».

— Это зачем? Разве я московский банкومت? Разве я без шампанского обойтись не могу?

«Но в последний раз ты нашел, что вино у меня дурно, ты сердился, что женщины в этом не знают толку. На тебя не угодишь».

— Не прошу и угождать.

Она не отвечала ничего. Молодой человек тотчас раскаялся в грубости сих последних слов. Он к ней подошел, взял ее за руку и сказал с нежностью:

— Зинаида! Прости меня; я сегодня сам не свой; сержусь на всех и за всё. В эти минуты надобно мне сидеть дома... Прости меня; не сердись.

«Я не сержусь, Валериан; но мне больно видеть, что с некоторого времени ты совсем переменился. Ты приезжаешь ко мне, как по обязанности, не по сердечному внушению. Тебе скучно со мною. Ты молчишь, не знаешь, чем заняться, перевертываешь книги, придираешься ко мне, чтоб со мною побраниться и уехать... Я не упрекаю тебя: сердце наше не в нашей воле; но я...»

Валериан уже ее не слушал. Он натягивал давно надетую перчатку и нетерпеливо поглядывал на улицу. Она замолчала с видом стесненной досады. Он пожал ее руку, сказал несколько незначащих слов и выбежал из комнаты, как резвый школьник выбегает из класса. Зинаида подошла к окошку; смотрела, как подали ему карету, как он сел и уехал. Долго стояла она на том же месте, опершись горячим лбом о оледенелое стекло.—Наконец она сказала вслух: «Нет, он меня не любит». Она позвонила, велела зажечь лампу и села за письменный столик.

## Глава II

Vous écrivez vos lettres de 4 pages plus vite que je ne puis les lire.

\*\* скоро удостоверился в неверности своей жены. Это чрезвычайно его расстроило. Он не знал, на что решиться: притвориться ничего не замечающим казалось ему глупым; смеяться над несчастьем столь обыкновенным—презрительным; сердиться не на шутку—слишком шумным; жаловаться с видом глубоко оскорбленного чувства—слишком смешным. К счастью, жена его явилась ему на помощь.

Полюбив Володского, она почувствовала отвращение от своего мужа, сродное одним женщинам и понятное только им.—Однажды вошла она к нему в кабинет, заперла за собою дверь и объявила, что она любит Володского, что не хочет обманывать мужа и втайне его бесчестить и что она решилась развестись. \*\* был встревожен таким чистосердечием, стремительностью; она не дала ему времени опомниться, в тот же день переехала с Английской набережной в Коломну и в короткой записочке уведомила обо всем В\*\*, ничего тому подобного не ожидавшего.

Он был в отчаянии: никогда не думал он связать себя такими узамн. Он не любил скуки,

боялся всяких обязанностей и выше всего ценил свою себялюбивую независимость.—Но всё было кончено. Зинаида оставалась на его руках. Он притворился благодарным и приготовился на хлопоты любовной связи, как на занятие должностное или как на скучную обязанность поверять ежемесячные счета своего дворецкого.

(1829)

## ⟨Роман в письмах⟩

### 1. ⟨ПИСЬМО ЛИЗЫ В ПЕТЕРБУРГ ИЗ ДЕРЕВНИ⟩

Ты, конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объясниться во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня на равне со своею племянницею, но в ее доме я всё же была воспитанница, и ты не можешь вообразить, как много мелких горестей неразлучны с этим званием. Многого должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня. Неужто предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие?

Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, всё казалось мне неуважением. Словом, я была создание пренесчастное, и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, *demoiselles de compagnie*<sup>1</sup> и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца.

Тому ровно три недели получила я письмо от бедной моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня к себе в деревню. Я решилась воспользоваться этим случаем. Насилу могла выпросить у Авдотьи Андреевны позволение ехать и должна была обещать зимою возвратиться в Петербург. Но я не намерена сдержать свое слово.

Бабушка мне чрезвычайно обрадовалась; она никак меня не ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. Я сердечно ее полюбила. Она была некогда в большом свете и сохранила много тогдашней любезности.

Теперь я живу *дома*, я хозяйка—и ты не по-

---

<sup>1</sup> (Компаньон.)

веришь, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши.—Деревня наша очень мила. Старый дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые, всё это осенью и зимой, конечно, немного печально, но зато весной и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не виделась. Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина.

Пиши ко мне, мой ангел, письма твои будут мне большим утешением. Что ваши балы, что наши общие знакомые? Хоть я и сделалась затворницей, однако ж я не вовсе отказалась от суеты мира—вести об нем для меня занимательны.

Село Павловское.

## 2. (ПИСЬМО САШИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ДЕРЕВНЮ)

Милая Лиза!

Вообрази мое изумление, когда узнала я твой отъезд в деревню. Увидев княжну Ольгу одну, я думала, что ты нездорова, и не хотела поверить ее словам. На другой день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе понравился. Твои

жалобы о прежнем твоём положении меня тронули до слез, но показались мне слишком горькими. Как можешь ты сравнивать себя с воспитанницами и *demoiselles de compagnie*? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство. Ты казалось была довольна своей судьбою. Никогда не предполагала я в тебе столько раздражительности. Признайся: нет ли другой, тайной причины твоему поспешному отъезду? Я подозреваю... но ты со мною скромничаешь,—и я боюсь рассердить тебя заочно своими догадками.

Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на даче, но почти все уже разъехались. Балы начнутся недели через две. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На днях обедали у нас гости,—один из них спрашивал, имею ли о тебе известия? Он сказал, что твое отсутствие на балах заметно, как порванная струна в фортепиано—и я совершенно с ним согласна. Я всё надеюсь, что этот припадок мизантропии будет непродолжителен. Возвратись, мой ангел: а то нынешнею зимою мне не с кем будет разделять моих невинных наблюдений, некому будет передавать эпиграммы моего сердца.—Прости, моя милая, подумай и одумайся.

Крестовский остров.

### 3. (ВТОРОЕ ПИСЬМО ЛИЗЫ)

Письмо твое меня чрезвычайно утешило—оно так живо напомнило мне Петербург. Мне казалось, что я тебя слышу! Как смешны твои вечные предположения! Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие, тайные чувства, какую-то несчастную любовь—не правда ли? Успокойся, милая, ты ошибаешься: я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов.

Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений. А на что ж переписка? Пиши ко мне всё, что ты заметишь; повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что всё касающееся до него для меня занимательно. В доказательство того прошу тебя написать, кому отсутствие мое кажется так заметным? Не Алексею П\*, любезному нашему говоруну?—Я уверена, что угадала. Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно.

Я познакомилась с семейством\*\*\*. Отец [балагур] и хлебосол. Мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста. Дочка стройная, меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле, с книгой

в руках, окружена дворовыми собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством потчует варением. У нее нашла я целый шкаф, наполненный старинными романами. Я намерена всё это прочесть и начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочитать хваленую Клариссу. Я, благословясь, начала с предисловия переводчика и, увидя в нем уверение, что хотя первые шесть частей скучненьки, зато последние шесть в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий, — наконец, добралась до шестого, — скучно, мочи нет. Ну, думала я, — теперь буду я награждена за труд. Что же? Читаю смерть Клариссы, смерть Ловласа — и конец. Каждый том заключал в себе 2 части и я не заметила перехода от шести скучных к шести занимательным.

Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом? Между тем роль женщины не изменится. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, всё ж походит на героиню новейших романов. Потому ли, что (способы) нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения, а в женщинах они основаны на чувстве и природе, которые вечны?

Ты видишь, я с тобою болтлива по-обыкновенному. Не будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне как можно чаще и как можно более—ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание бала не может с ним равняться.

#### 4. (ОТВЕТ САШИ)

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтоб смирить твое самолюбие, объявляю, что Р\* вовсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пелам, приезжей англичанке, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием: oh! а он в восхищении.—Знай: спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный admiral,<sup>1</sup> Владимир \*\*. Довольна ли ты? Думаю, очень довольна, и по своему обыкновению осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась.

Шутки в сторону, \*\* очень занят тобою. На твоём месте я бы завела его далеко. Что ж, он прекрасный жених. Зачем не выйти за него,—ты жила бы на Английской набережной,

---

<sup>1</sup> (Поклонник.)

по субботам имела бы вечера, и всякое утро заезжала бы за мною.— Полно тебе дурачиться, мой ангел, приезжай к нам и выходи за \*\*.

Третьего дня был бал у князя \*\*. Народу было пропасть. Танцевали до пяти часов.— Княгиня В. была одета очень просто; белое креповое платье, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов: только! Z \* по своему обыкновению была одета уморительно.— Откуда берет она свои наряды?— На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни?— Владимир \*\* не танцевал: он едет в отпуск.— С. приехали (вероятно первые), просидели всю ночь не танцуя, и уехали последние.— Старшая, кажется, была нарумянена: пора!— Бал очень удался.— Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны быть чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело, хотя я и танцевала котильон с несносным дипломатом Ст., который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрита.

Благодарю тебя, душа моя, за отчет о Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятие—прочитать его не надеюсь с моим нетерпением; я и в Вальтер-Скотте нахожу лишние страницы. Кстати, кажется, роман Елены Н. и графа Л. кончается,

по крайней мере он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена.

Прости, моя прелесть!

Довольна ли ты моею сегодняшней болтовней?

## 5. (ТРЕТЬЕ ПИСЬМО ЛИЗЫ)

Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свадьбы. Откровенно признаюсь, что Владимир \*\* мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ, а я—смиренная демократка. Спешу объясниться и заметить гордо, как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородатого миллионера—ты знаешь, что значит наша аристократия.—Как бы то ни было, \*\* человек светский; я могла ему понравиться, но он для меня не пожертвует [надеждами на знатное родство и богатой невестой и выгодным родством. Если когда-нибудь и выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь сорокалетнего помещика. Он станет заниматься своим сахарным заводом, я хозяйством и буду счастлива, не танцуя на бале у гр. К. и не имея суббот у себя на Английской набережной.

У нас зима: в деревне *c'est un événement*.<sup>1</sup>—

---

<sup>1</sup> (Это целое событие.)

Это вовсе переменяет образ жизни. Уединенные гуляния прекращаются, раздаются колокольчики, охотники выезжают с собаками,—всё делается светлее, веселее от первого снега.—Я никак этого не ожидала. Зима в деревне пугала меня.—Но всё на свете имеет свою хорошую сторону.

Я короче познакомилась с Машенькой \*\*\* и полюбила ее; у ней много хорошего, много оригинального. Нечаянно узнала я, что \*\* [их] близкий родня. Маша не видала его семь лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето,—и Маша беспрестанно рассказывает все подробности тогдашней его жизни. Читая ее романы, нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашем—видно, что он был тогда ребенок.—Его поражали мысли и чувства, над которыми, конечно, стал бы он теперь смеяться; по крайней мере, видна душа свежая, чувствительная.—Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, писанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не имеют другого достоин-

ства—происшествие занимательно, положение хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво.—Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки—и вышел бы прекрасный оригинальный роман.—Скажи это от меня моему неблагодарному Р\*. Полно ему тратить ум в разговорах с англичанками! Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает.

Маша хорошо знает русскую литературу. Вообще здесь более занимаются словесностью, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что В(яземский) и П(ушкин) так любят уездных барышень—они их истинная публика. Я было заглянула в журналы и принялась за критики Вестника \*\*, но их плоскость и лакейство показали мне отвратительны.—Смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагопристойности сочинения, которые прочли мы все, мы—санкт-петербургские недоτροги!..

## 6. (ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО ЛИЗЫ)

Милая! Мне невозможно долее притворяться, мне нужны помощь и советы дружбы. Тот, от которого я убежала, кого боюсь, как несчастья, \*\*—здесь! Что мне делать? Голова моя кружится, я теряюсь, ради бога реши, что мне делать. Расскажу тебе всё.

Ты заметила прошедшую зиму, что он от меня не отходил. Напрасно вооружалась я холодностию, даже видом пренебрежения,—ничем не могла я от его избавиться. Он к нам не ездил, но мы виделись везде. На балах он вечно умел найти место возле меня, на гулянье он вечно с нами встречался, в театре лорнет его был устремлен на нашу ложу.

Сначала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему дала заметить. По крайней мере он, присвоив себе новые права, вполголоса говорил мне каждый час о своих чувствах, то ревновал, то жаловался.

С ужасом думала: к чему всё это ведет и с отчаянием признавала я власть его над моей душою. Я уехала из Петербурга—думала тем прекратить зло в его начале. Моя решимость, уверенность в том, что исполнила я свой долг, успокоили было мое сердце. Я начинала думать о нем равнодушнее, с меньшею горестию.—Вдруг я его вижу.

Я его вижу: вчера были именины \*\*\*. Я приехала к обеду, вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры. Дамы меня окружают. Я со всеми ими перецеловалась, не замечая никого, сажусь подле хозяйки,—гляжу: \*\* передо мной. Я остолбенела. Он сказал мне несколько слов с видом такой нежной, искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства своего, ни удовольствия.

Пошли за стол.—Он сел против меня. Я не смела на него взглянуть, но заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян. В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейца, беспокойство барышень, неловкость мужчин, хохот их при собственных шутках, и между тем учитывая холодность и совершенное невнимание гостя.

После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно некстати, по делам ли заехал он в нашу сторону?

«Я приехал по одному делу, от которого зависит счастье моей жизни»,—отвечал он вполголоса и отошел. Он сел играть в бостон с тремя старушками (в том числе с бабушкой), а я ушла наверх, к Маше, где пролежала до вечера, под предлогом головной боли. В самом деле, я была

хуже чем нездорова. Машенька от меня не отходила. Она в восторге от \*\*.—(Он) пробудет у них месяц, или более.—Она целый день будет с ним.—Право, она влюблена в него. Дай бог, что и он влюбится. Она стройна и странна—мужчинам только того и надобно.

Что мне делать, милая? Здесь не будет мне возможности избегнуть его преследований. Он уж успел обворожить бабушку. Он будет ездить к нам. Опять пойдут признания, жалобы, клятвы—и к чему? Он добьется моей любви, моего признания, потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, оставит меня—а я... Какая ужасная будущность! Ради бога, дай мне руку: я тону.

## 7. (ОТВЕТ САШИ)

То ли дело облегчить сердце полной исповедью! Давно бы так, мой ангел! Охота же тебе была не сознаваться в том, что я давно знала—\*\* и ты—вы влюблены друг в друга. Что за беда? На здоровье.—Ты имеешь дар смотреть на вещи бог знает с какой стороны.—Ты напрашиваешься на несчастье—берегись накликать его.—Почему тебе не выйти за \*\*: где тут неодолимые препятствия? Он богат, а ты бедна—пустое!—Он богат за двух.—Чего ж вам более? Он аристо-

крат, а ты именем, воспитанием разве не аристократка?

Недавно [спор зашел] о дамах высшего круга. Я узнала, что Р. объявил однажды себя решительно на стороне аристократок, потому что они лучше обуваются. Итак, не явно ль, что ты с головы до ног аристократка?

Извини меня, мой ангел, но твое патетическое письмо рассмешило меня. \*\* приехал в деревню для того, чтоб тебя видеть. Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего совета. Уж не сделалась ли ты уездной героиней! Мой совет—обвенчаться как можно скорее в вашей деревенской церкви, и приезжать к нам, чтоб явиться Форнариной в картинах, которые затеваются у С\*\*.

Поступок твоего рыцаря меня тронул, кроме шуток. Конечно, в старину любовник для благосклонного взгляда [уезжал на] три года сражаться в Палестину; но в наши времена уехать за пятьсот верст от Петербурга для того, чтоб увидеться с владычицею своего сердца—право много значит! \*\* достоин награды.

## 8. (ПИСЬМО ВЛАДИМИРА\*\* К ДРУГУ В ПЕТЕРБУРГ)

Сделай одолжение, распусти слух, что я при смерти болен, я намерен просрочить и хочу

соблюсти всевозможную благопристойность. Вот уж две недели, как я живу в деревне и не вижу как время летит. Отдыхаю от петербургской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да двадцатилетнему камер-юнкеру.—Петербург—прихожая, Москва—девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю, редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою Саратовскую деревню. Звание помещика есть та же служба. Заниматься тремя тысячами душ, коих всё благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши...

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы [оставляем] их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг свои будущие доходы—и разоряемся; старость нас застаёт в нужде и в хлопотах. Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по-миру. Древние фамилии приходят в ничтожество, новые поднимаются

и в третьем поколении исчезают опять. К чему ведет такой политический материализм? Не знаю, но пора положить ему преграды. Аристократия чина не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Но какие воспоминания у детей коллежского асессора [или обер-офицера]?

Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь, не дает мне на то никакого права. Но я согласен с Лабрюером: *Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme.*<sup>1</sup>

Я без прискорбья никогда не мог видеть уничтожения наших исторических родов. Никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольный князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукой, выборный человек от всего

---

<sup>1</sup> (Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению—черта смешная в выскочке и низкая в дворянине.)

государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

Всё это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек; но, признаюсь, дай бог им промотаться, как нашему брату. Какая дикость! Для них не прошли еще времена Фонвизина.—Между ими процветают Простаковы и Скотинины!

Это, впрочем, не относится к родственнику, у которого я в гостях. Он очень добрый человек, жена его очень добрая баба, дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я стал очень добр. В самом деле с тех пор, как я в деревне, я стал отменно благосклонен и снисходителен—действие моей патриархальной жизни и присутствия Лизы\*\*\*.

Мне было скучно без нее не на шутку. Я приехал уговорить ее возвратиться в Петербург.—Наше первое свидание было великолепно. Тетка моя была именинница. Всё соседство съехалось,—явилась и Лиза—и едва поверила самой себе, увидев меня.—Она не могла ж не признаться, что я приехал сюда только для нее. По крайней мере я постарался дать ей это почувствовать. Здесь мой успех превзошел мои

ожидания (что много значит). Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут,

А потому что патриотки...

Мужчины отменно недовольны моею *fatuité indolente*,<sup>1</sup> которая здесь еще новость. Они бешутся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство, хотя и чувствуют, что я нахал.

Прощай, что делают наши?

*Servitor di tuti quanti.*<sup>2</sup>

Пиши ко мне в село \*\*.

## 9. (ОТВЕТ ВЛАДИМИРУ\*\* ИЗ ПЕТЕРБУРГА)

Поручение твое мною исполнено. Вчера в театре объявил я, что ты занемог нервическою горячкою и что, вероятно, тебя уже нет на свете. Итак, пользуйся жизнью, покамест еще ты не воскрес.

Твои нравственные размышления насчет управления имений радуют меня за тебя. Назначение помещика, по-моему, самое завидное. То ли дело.

*Un homme sans peur* (?)

*Qui n'est* (нрзбр)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <Небрежным самодовольством.>

<sup>2</sup> <Покорный слуга всех вместе взятых.>

<sup>3</sup> <Человек, ничего не боящийся, который не...>

Конечно дворянин [совершенно независим. Время нам ограничиться].

Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей

.....  
Пустившись в важные рассуждения, я совсем забыл, что теперь тебе не до того. Ты занят своею Лизою. Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами! Это недостойно тебя. В этом отношении ты отстал от своего века и сбиваешься на *ci-devant*<sup>1</sup> гвардии хрипуна 1807 г. Покамест это недостаток, скоро ты будешь смешон. Не лучше ли заранее привыкнуть к строгости зрелого возраста и добровольно отказаться от увядающей молодости? Знаю, что проповедую втуне, но таково мое назначение.

Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют о преждевременной твоей кончине. Между прочим—и прежняя твоя приятельница, которая возвратилась из Рима влюбленная в папу.— Как это на нее похоже и как это должно тебя восхитить! Не приедешь ли для соперничества *cum servo servorum Dei*?<sup>2</sup> Это было бы похоже на тебя.

Я всякий день стану тебя ожидать.

---

<sup>1</sup> (Бывшего.)

<sup>2</sup> (С рабом рабов божьих.)

## 10. (ВТОРОЕ ПИСЬМО ВЛАДИМИРА\*\* К ДРУГУ)

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, но ты отстал от своего века—и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг—нам было неприлично танцевать, и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это всё переменялось.—Французская кадриль заменила Адама Смита. Всякий волочится и веселится, как умеет. Я следую духу времени, но ты неподвижен, ты *si-devant un homme* стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на оппозиционной скамеечке. Надеюсь, что Z обратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее ватиканскому кокетству.

Что касается до меня—я совершенно предался патриархальной жизни: ложусь спать в десять часов вечера, езжу на порошу с здешними помещиками, играю со старухами в бостон по копейке и сержусь, когда проигрываюсь.—С Лизою вижусь каждый день и час от часу более в нее влюбляюсь. В ней много увлекательного. Эта тихая благородная стройность в обращении—прелесть высшего петербургского общества, а ме-

жду тем, что-то живое, снисходительное, *доброродное* (как говорит ее бабушка). Ничего резкого, жестокого в ее суждениях, она не морщится перед впечатлениями, как ребенок пред принятием ревеню. Она слушает и понимает—редкое достоинство в наших женщинах. Часто удивляюсь я тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем очень любезных. Часто самое тонкое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграмму, или за неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид, ими принимаемый, так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит.

Это испытал я с Еленою \*\*\*, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность,—она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало.

Кроме Лизы есть у меня для развлечения (Машенька\*\*\*). Эта девушка, выросшая под яблонями и между скирд, воспитанная природой и старыми нянюшками, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения матерей, а после—мнения своих мужьев.

Прощай, мой милый. Что нового в свете? Объяви всем, что наконец и я пустился в поэ-

зию.—Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня): «Глупа, как *⟨нрзбр.⟩*, скучна, как *⟨нрзбр.⟩* etc.» Не лучше ли *скучна, как etc.* То и другое похоже на мысль. Попроси В. прислать первый стих и отныне считать меня поэтом.

⟨1829⟩



**„В начале 1812 года полк наш стоял...“**

В начале 1812 года полк наш стоял в небольшом уездном городе, где мы проводили время очень весело. Помещики окрестных деревень обыкновенно приезжали туда на зиму, каждый день мы бывали вместе, по воскресениям танцевали у предводителя. Все мы, то есть двадцатилетние обер-офицеры, были влюблены, многие из моих товарищей нашли себе подругу на этих вечеринках—итак, неудивительно, что каждая безделица, относящаяся к тому времени, для меня памятна и любопытна.

Всего чаще посещали мы дом городничего. Он был взяточник, балагур и хлебосол, жена его свежая веселая баба, большая охотница до виста, а дочь, стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на бланманже...

⟨1829⟩

## 〈Повесть о прапорщике Черниговского полка〉

4 мая 1825 г. произведен я в офицеры, 6-го получил повеление отправиться в полк в [Киевскую губернию] в местечко В(асильков). 9-го выехал из Петербурга.

Давно ли я был еще кадетом? Давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю, что хочу, и скачу на перекладных в местечко В., где буду спать до 8 часов и где уж никогда не молвлю ни единого немецкого слова.

В ушах моих всё еще отзывает шум и крики играющих кадетов и однообразное жужжание прилежных учеников, повторяющих вокабулы— *le bluet, le bluet*— василек, *amarante*— амарант, *amarante, amarante...* Теперь стук тележки да звон колокольчика одни нарушают окрестное безмолвие. Я всё еще не могу привыкнуть к этой тишине.

При мысли о моей свободе, об удовольствиях пути и приключениях, меня ожидающих, чувство

несказанной сладости, доходящее до восторга, наполнило мою душу. Успокоиваясь мало-помалу, наблюдал я движение передних колес и делал математические исчисления. Нечувствительным образом сие занятие меня утомило, и путешествие уже казалось мне не [столь] приятным как сначала.

Приехав на станцию, я отдал кривому смотрителю свою подорожную, и потребовал скорее лошадей. Но с неизъяснимым неудовольствием услышал я, что лошадей нет; я заглянул в почтовую книгу: от города \* до Петербурга едущий 6-го класса чиновник с будущим взял [двенадцать] лошадей, генеральша Б.—восемь, две тройки пошли с почтою, остальные две лошади взял наш брат прапорщик.

На станции стояла одна курьерская тройка, и смотритель не мог ее мне дать—если паче чаяния наскочет курьер или фельдъегерь и не найдет лошадей, то что тогда будет, беда—он может лишиться места, пойти по миру. Я попытался подкупить его совесть, но он остался непоколебим и решительно отвергнул мой двугривенник. Нечего делать! Я покорился необходимости.

— Угодно ли чаю или кофею,—спросил меня смотритель.

Я благодарил и занялся рассмотрением кар-

тин, украшающих его смиренную обитель. В них изображена история блудного сына.—В первой почтенный старец в колпаке и в шлафроке отпускает беспокойного юношу, который принимает поспешно его благословение и мешок с деньгами. В другой изображено яркими чертами дурное поведение молодого человека; он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в французском кафтане, в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу.—В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние, он вспоминает о доме отца своего, где *последний раб* etc. Наконец представлено возвращение его к отцу своему. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленях—вдали повар убивает упитанного тельца, и старший брат с досадой вопрошает о причине таковой радости. Под картинками напечатаны немецкие стихи. Я прочел их с удовольствием и списал, чтобы на досуге перевести.

Прочие картины не имеют рам и прибиты на стене гвоздиками. Они изображают погребение кота, спор красного носа с сильным морозом и тому подобное,—и в нравственном как и художественном отношении не стоят внимания образованного человека.

Я сел под окно. Виду никакого. Тесный ряд однообразных изб, прислоненных одна к другой. Кое-где две-три яблони, две-три рябины, окруженные худым забором, отпряженная телега с моим чемоданом и погребцом.

День жаркой. Ямщики разбрелись. На улице играют в бабки златовласые, замаранные ребятишки. Против меня старуха сидит перед избою подгорюнившись. Изредка поют петухи. Собаки валяются на солнце, или бродят, высунув язык и опустя хвост, да поросята с визгом выбегают из-под ворот и мечутся в сторону безо всякой видимой причины.

Какая скука! Пойду гулять. В поле—развалившийся колодец. Около—мелкая лужица. В ней резвятся желтенькие утята под надзором глупой утки, как балованные дети при французской мадаме.

Я пошел по большой дороге—справа тощий озимь, слева кустарник и болото. Кругом плоское пространство. Навстречу одни полосатые версты. В небесах медленное солнце, кое-где облако. Какая скука! Иду назад, дошед до третьей версты и удостоверюсь, что до следующей станции оставалось еще 22.

Возвратясь, я попытался было завести речь с моим ямщиком, но он как будто избегал порядочного разговора, на вопросы мои отвечал

одним: не можем знать, ваше благородие, а бог знает, а не что...

Я сел опять под окном и спросил у толстой работницы, которая бегала поминутно мимо меня то в задние сени, то в чулан, — нет ли чего-нибудь почитать.

Она принесла мне [несколько книг]. Я обрадовался и кинулся с жадностью их разбирать. Но тотчас и успокоился, увидев затасканную Азбуку и арифметику, изданную для народных училищ. Сын смотрителя, буян лет девяти, обучаясь по ним, как говорила она, всем наукам царским, выдрал затверженные листы, за что выдрали его за волосы (естественное возмездие).

⟨1829 — 1830⟩



**„Участь моя решена, я женюсь...“**

(С французского)

Участь моя решена. Я женюсь.

Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством,—боже мой,—она почти моя.

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. [Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком—всё это в сравнении с ним ничего не значит.]

Дело в том, что я боялся не одного отказа. Один из моих приятелей говаривал: не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наверное, что не будет отказа.

Жениться! Легко сказать.—Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок, другие—приданое и степенную жизнь, третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им под тридцать лет. Спросите их, что такое брак,—в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму.

Я женюсь, т. е. я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Готов я удвоить жизнь и без того неполную; [я стану думать *мы*]. Я никогда не хлопотал о счастье: я мог обойтись без него.—Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?

Пока я не женат, что значат мои обязанности?

Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему—он очень рад; нет—так он извиняет меня: «повеса мой молод, ему не до меня!»

Я ни с кем не в переписке, долги свои выплачиваю каждый месяц. Утром встаю, когда хочу, принимаю, кого хочу, вздумаю гулять—мне седлают мою умную, смирную Женни, еду переулками, смотрю в окна низеньких домиков: здесь сидит семейство за самоваром, там слуга метет комнаты, далее девочка учится за фортепьяно, подле нее ремесленник-музыкант. Она поворачивает ко мне рассеянное лицо—учитель ее бранит—я шагом еду мимо. Одеваюсь небрежно, если еду в гости,—со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман или журналы. Если же Вальтер-Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного про-

цесса, то требую бутылку шампанского во льду, смотрю как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь, что обед стоит мне семнадцать рублей и что могу позволить себе эту шалость. Еду в театр, отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза; между нами начинается сношение—я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в мужском обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и всё и где никто меня не замечает, или в любезном избранном кругу, где говорю я про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу. На другой день опять еду верхом—переулками, мимо дома, где девочка играла на фортепьяно. Она твердит на фортепьяно вчерашний урок. Она взглянула на меня, как на знакомого, и засмеялась.—Вот моя холостая жизнь...

---

Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края,—и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы.—Пироскаф тронулся: морской свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег. *My native land, adieu!*<sup>1</sup> Подле меня молодую женщину начинает

---

<sup>1</sup> (Родная земля, прощай!)

тошнить—это придает ее бледному лицу выражение томной нежности. Она просит у меня воды. Слава богу, до Кронштадта есть для меня занятие!

В эту минуту подали мне записку; ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе... Нет сомнения, предложение мое принято. Надинька, мой ангел—она моя!.. Все печальные сомнения исчезли перед этой райской мыслью. Бросаюсь в карету, скачу—вот их дом—вхожу в переднюю, уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених. Я смутился: эти люди знают мое сердце, говорят о моей любви на своем холопском языке!

Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями, вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Надиньку, она явилась бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая чудотворца и Казанской богоматери. Нас благословили. Надинька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне—и я жених.

Итак, уж это не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра—площадная.

Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи, при свете луны [печатается в сальной ти-

пографии], продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками.

Все радуются моему счастью, все поздравляют, все полюбили меня. Всякой предлагает мне свои услуги—кто свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бухарца с шалями.

Иные беспокоятся о многочисленности будущего моего семейства и предлагают мне 12 дюжин перчаток с портретом m-lle Зонтаг.

Молодые люди начинают со мною чиниться— уважают во мне уже неприятеля. Дамы в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте.—«Бедная! она так молода, так невинна, а он такой ветреный, безнравственный!»

Признаюсь, это начинает мне надоедать. Мне нравится обычай какого-то древнего народа: жених тайно похищал свою невесту—на другой день представлял уже он ее городским сплетницам, как свою супругу.—У нас приуготовляют к семейственному счастью печатными объявлениями, подарками, известными всему городу, форменными письмами, визитами, словом сказать, соблазном всякого рода.

(1830)



## Отрывок\*

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный вместо родительного падежа после частицы *не* и кой-каких еще так называемых стихотворческих вольностей, мы никаких особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем)—как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Не говорю о их обыкновенном гражданском ничтожестве и бедности, вошедшей в пословицу, о зависти и клевете братья, коих они делаются жертвами, если они в славе, о презрении и насмешках, со всех сторон падающих на них, если произведения их не нравятся—но что, кажется, может сравниться с несчастьем, для них неизбежимым: разумеем суждения глупцов? Однако же и сие горе, как оно ни велико, не

---

\* Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной или потерянной.—Мы не хотели его уничтожить...

есть крайним еще для них.—Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца—есть его звание, прозвище, коим он заклеен и которое никогда его не покидает.—Публика смотрит на него, как на свою собственность, считает себя в праве требовать от него отчета в малейшем шаге. По ее мнению, он рожден для ее удовольствия и дышит для того только, чтоб подбирать рифмы. Требуют ли обстоятельства присутствия его в деревне—при возвращении его первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь нового?—Явится ль он в армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников—публика требует непременно от него поэмы на последнюю победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляяет он себя ждать. Задумается ли он о расстроенных своих делах, о предположении семейственном, о болезни милого ему человека—тотчас уже пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: «верно, изволите сочинять?»—Влюбится ли он?—красавица его нарочно покупает себе альбом и ждет уже элегии. Приедет ли он к соседу поговорить о деле или просто для развлечения от трудов?—сосед кличет своего сына и заставляяет мальчишку читать стихи *такого-то*, и мальчишка самым жалостным голосом угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще назы-

вается торжеством! Каковы же должны быть невзгоды? Не знаю, но последние легче, кажется, переносить. По крайней мере один из моих приятелей, известный стихотворец, признавался, что сии [обязательные] приветствия, вопросы, альбомы и мальчишки до такой степени бесили его, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости и твердить себе, что эти добрые люди не имели, вероятно, намерения вывести его из терпения...

Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постеле с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтоб пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, ложился опять в постелю и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две, три—много месяц, и случалось единожды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастье. Остальное время года он гулял, читая мало и не сочиняя ничего, и слыша поминутно неизбежимый вопрос: скоро ли вы нас подарите новым произведением пера вашего? Долго дожидалась бы почтеннейшая публика подарков от моего приятеля, если б книгопродавцы не платили ему довольно дорого

за его стихи. Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и имел удовольствие потом читать о них печатные суждения, что называл он в своем энергическом просторечии—подслушивать у кабака, что говорят об нем холопья.

Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Он столько же дорожил тремя строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер тремя звездами двоюродного своего дяди. Будучи беден, как и почти всё наше старинное дворянство, он, подымая нос, уверял, что никогда не женится, или возьмет за себя княжну рюриковой крови, именно, одну из княжен Елецких, коих отцы и братья, как известно, ныне пашут сами и, встречаясь друг с другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: «Бог помочь, князь Антип, сколько твое княжое здоровье сегодня напахало?»—Спасибо, князь Ерёма Авдеевич...—Кроме сей маленькой слабости, которую, впрочем, относим мы к желанию подражать лорду Байрону, продававшему также очень хорошо свои стихотворения, приятель мой был человек совершенно круглый, *un homme tout rond*, как говорят французы, *homo quadratus*, человек четверо-

угольный, по выражению латинскому—по-нашему, очень хороший человек.

Он не любил общества своей братьи литераторов. Кроме весьма-весьма немногих, он находил в них слишком много притязаний—у одних на колкость ума, у других на пылкость воображения, у третьих на чувствительность, у четвертых на меланхолию, на разочарованность, на глубокомыслие, на филантропию, на мизантропию, иронию и проч. и проч. Иные казались ему скучными по своей глупости, другие несносными по своему тону, третьи гадкими по своей подлости, четвертые опасными по своему двойному ремеслу,—вообще слишком самолюбивыми и занятыми исключительно собою да своими сочинениями. Он предпочитал им общество женщин и светских людей, которые, видя его ежедневно, переставали с ним чиниться и избавляли его от разговоров об литературе и от известного вопроса: не написали ли чего-нибудь новенького?

Мы распространились о нашем приятеле по двум причинам: во-первых, потому что он есть единственный литератор, с которым удалось нам коротко познакомиться, — во вторых — что повесть, предлагаемая ныне читателю, слышана от него.



## ⟨Роман на Кавказских водах⟩

В одно из первых чисел апреля 181... года в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Все двери были растворены настежь; зала и передняя загромождены сундуками и чемоданами; ящики всех комодов выдвинуты, слуги поминутно бегали по лестницам, служанки суетились и спорили; сама хозяйка, сорокапятiletняя дама, сидела в спальне, пересматривая счетные книги, принесенные ей толстым управителем, который стоял перед нею с руками за спиной и выдвинув правую ногу вперед. Катерина Петровна показывала вид, будто бы хозяйственные тайны были ей коротко знакомы, но ее вопросы и замечания обнаруживали ее барское неведение и возбуждали изредка едва заметную улыбку на величавом лице управителя, который однако ж с большою снисходительностью подробно входил во все требуемые объяснения. В это время слуга доложил, что Парасковья Ивановна Поводова приехала. Катерина Петровна обрадовалась случаю прервать

свои совещания, велела просить и отпустила управителя.

— Помилуй, мать моя,—сказала вошедшая старая дама,—да ты собираешься в дорогу! куда тебя бог несет?

— На Кавказ, милая Парасковья Ивановна.

— На Кавказ! стало быть Москва впервой от роду правду сказала—а я не верила. На Кавказ! да ведь это ужесть как далеко. Охота тебе тащиться бог ведает куда, бог ведает зачем.

— Как быть? Доктора объявили, что моей Маше нужны железные воды, а для моего здоровья необходимы горячие ванны. Вот уж полтора года, как я всё страдаю—авось Кавказ поможет.

— Дай-то бог! а скоро ли едешь?

— Дня через четыре, много-много промешкаю неделю—всё уж готово. Вчера привезли мне новую дорожную карету—что за карета! игрушка, загляденье—вся в ящиках, и чего тут нет!—постеля, туалет, погребок, аптечка, кухня, сервиз—хочешь ли посмотреть?

— Изволь, мать моя,—(и) обе дамы вышли на крыльцо. Кучера выдвинули из сарая дорожную карету. Катерина Петровна велела открыть дверцы, вошла в карету, перерыла в ней все подушки, выдвинула все ящики, показала все ее тайны, все удобства, приподняла все ставни,

все зеркала, выворотила все сумки, словом, для больной женщины оказалась очень деятельной и проворной. Полюбовавшись экипажем, обе дамы возвратились в гостиную, где разговорились опять о предстоящем пути, о возвращении, о планах на будущую зиму.

— В октябре месяце,—сказала Катерина Петровна,—надеюсь непременно воротиться. У меня будут вечера два раза в неделю, и надеюсь, милая, что ты ко мне перенесешь свой бостон.

В эту минуту девушка лет осьмнадцати, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами, тихо вошла в комнату, присела Поводовой [и] подошла к руке Катерины Петровны.

— Хорошо ли ты спала, Маша?—спросила Катерина Петровна.

— Хорошо, маменька, сейчас только встала. Вы удивляетесь моей лени, Парасковья Ивановна? Что делать—больной простиительно.

— Спи, мать моя, спи себе на здоровье,—отвечала Поводова,—да смотри: воротись у меня с Кавказа румяная, здоровая, а бог даст—и замужняя.

— Как замужняя?—возразила Катерина Петровна смеясь,—да за кого выдти ей на Кавказе? разве за черкесского князя?..

— За черкеса! сохрани ее бог! да ведь они

что турки да бухарцы—нехристы. Они ее забреют да запрут.

— Пошли нам бог только здоровья,—сказала со вздохом Катерина Петровна,—а женихи не уйдут. Слава богу, Маша еще молода, приданое есть. А добрый человек полюбит, так и без приданого возьмет.

— А с приданным всё-таки лучше, мать моя,—сказала Парасковья Ивановна вставая.—Ну, простимся ж, Катерина Петровна, уж я тебя до сентября не увижу; далеко мне до тебя тащиться, с Басманной на Арбат—и тебя не прошу, знаю, что тебе теперь некогда; прощай и ты, красавица, не забудь же моего совета.

Дамы распростились, и Парасковья Ивановна уехала.

(1831)



## 〈Русский Пелам〉

### Глава I

Я начинаю помнить себя с самого нежного младенчества, и вот сцена, которая [живо сохранилась в моем воображении].

Нянька приносит меня в большую комнату, слабо освещенную. На постели, под зелеными занавесками, лежит женщина вся в белом. Отец мой берет меня на руки. Она целует меня и плачет. Отец мой рыдает громко. [Я пугаюсь— и кричу]—Няня меня выносит, говоря: «Миша хочет бай, бай».

Помню также большую суматоху, множество гостей; люди бегают из комнаты в комнату. Солнце светит во все окошки, и мне очень весело. Монах с золотым крестом на груди благословляет меня; в двери выносят длинный красный гроб. Вот всё, что похороны матери оставили у меня в сознании. Она была женщина необыкновенного ума и сердца, как узнал я после, по рассказам людей, не знавших ей цены.

Тут воспоминания мои становятся сбивчивы.

Я могу дать ясный отчет о себе не прежде, как уж с осьмилетнего моего возраста. Но прежде должен я поговорить о моем семействе.

Отец мой был пожалован сержантом, когда еще бабушка была им брюхата. Он воспитывался дома до 18 лет. Учитель его, М. Дерори, был простой и добрый старичок, очень хорошо знавший французскую орфографию. Неизвестно, были ли у отца другие наставники; но отец, кроме французской орфографии, кажется, ничего основательно не знал. Он женился, против воли своих родителей, на девушке, которая была старше его несколькими годами; в тот же год он вышел в отставку и уехал в Москву. Старый Савельич, его камердинер, сказывал мне, что первые годы супружества были счастливы. Мать моя успела примирить мужа с его семейством, в котором ее пролюбили. Но легкомысленный и непостоянный характер отца моего не позволил ей насладиться спокойствием и счастьем. Он вошел в связь с женщиной, известной в свете своей красотой и любовными похождениями. Она для него развелась с своим мужем, который уступил ее отцу моему за десять тысяч и потом обедывал у нас довольно часто. Мать моя знала всё, и молчала. Душевные страдания расстроили ее здоровье. Она слегла и уже не встала.

Отец имел пять тысяч душ. Следственно был из тех дворян, которых покойный граф Шереметев называл мелкопоместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить! Дело в том, что отец мой жил не хуже графа Шереметева, хотя был ровно в 20 раз беднее. Москвичи помнят еще его обеды, домашний театр и роговую музыку. Года два после смерти матери моей, Анна Петровна Вирлацкая, виновница этой смерти, поселилась в его доме. Она была, как говорится, видная баба, впрочем, уже не в первом цвете молодости. Мне подвели мальчика в красной курточке с манжетами и сказали, что он мне братец. Я смотрел на его во все глаза. Мишенька шаркнул направо, шаркнул налево — и хотел поиграть моим ружьем; я вырвал игрушку из его рук. — Мишенька заплакал, и отец поставил меня в угол, подарив братцу мое ружье.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. И в самом деле пребывание мое под отеческою кровлею не оставило ничего приятного в моем воображении. Отец, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек неглупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав,

что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме только тогда догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою, и что сверх того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке. Прочие французы не могли ужиться с Анной Петровной, которая не давала им вина за обедом, или лошадей по воскресеньям. Сверх того, им платили очень неисправно. Виноватым остался я; Анна Петровна решила, что ни один из моих гувернеров не мог сладить с таким несносным мальчишкою.

Впрочем, и то правда, что не было из них ни одного, которого бы в две недели по его вступлению в должность не обратил я в домашнего шута: с особенным удовольствием вспоминаю о [мосье Гроже, пятидесятилетнем пиэтисте] женевце, которого уверил я, что Анна Петровна была в него влюблена.

Надобно было видеть целомудренный ужас с некоторой примесью лукавого кокетства, когда Анна Петровна косо поглядывала на него за столом, говоря вполголоса: «Экой обжора!»

Я был резв, ленив и вспыльчив, но чувствителен и честолюбив, и ласкою от меня можно

было добиться всего; к несчастью, всякой вмешивался в мое воспитание, и никто не умел за меня взяться.

Над учителями я смеялся и проказил; с Анной Петровной бранился зуб за зуб; с Мишенькой имел беспрестанные ссоры и драки; с отцом доходило часто дело до бурных объяснений, которые с обеих сторон оканчивались слезами. Наконец, Анна Петровна уговорила его отослать меня в один из немецких университетов. Мне тогда было пятнадцать лет.

Университетская жизнь моя оставила мне приятные воспоминания, которые, если их разобрать, относятся к происшествиям ничтожным, иногда и неприятным; но молодость—великий чародей; дорого бы я дал, чтоб сидеть за кружкой пива, в облаках табачного дыма, с дубиною в руках и с засаленной бархатной фуражкой на голове. Дорого бы я дал за мою комнату, вечно полную народу, и бог знает какого народу; за наши латинские песни, студенческие поединки и ссоры с филистерами!

Вольное университетское учение принесло мне больше пользы, чем домашние уроки. Но вообще выучился я порядочно только фехтованию и деланию пунша. Из дому получал я деньги в разные, не положенные сроки. Это приучило меня к долгам и к беспечности. Прошло три года,

и я получил от отца из Петербурга приказание оставить университет и ехать в Россию служить. Несколько слов о расстроенном состоянии, о лиш-них расходах, о перемене жизни показались мне странными, но я не обратил на них большого внимания.

При отъезде моем дал я прощальный пир, на котором поклялся я быть вечно верным дружбе и человечеству, и никогда не принимать должности цензора—а на другой день, с голов-ной болью и с изжогаю, отправился в дорогу.



## „В 179\* году возвращался я...“

В 179\* году возвращался я в Лифляндию, с веселою мыслию обнять мою старушку мать после четырехлетней разлуки. Чем более приближался я к нашей мызе, тем сильнее волновало меня нетерпение. Я погонял почтаря, хладнокровного моего единоплеменника, и душевно жалел о русских ямщиках и об удалой русской езде.

К умножению досады, бричка моя сломалась. Я принужден был остановиться. К счастью, станция была недалеко.

Я пошел пешком в деревню, чтоб выслать людей к бедной моей бричке. Это было в конце лета. Солнце садилось. С одной стороны дороги простирались распаханые поля, с другой — луга, поросшие мелким кустарником. Издали слышалась печальная песнь молодой эстонки. Вдруг в общей тишине раздался явственно пушечный выстрел... и замер без отзыва. Я удивился. В соседстве не находилось ни одной крепости; каким же образом пушечный выстрел мог быть слышен в этой мирной стороне? Я решил,

что, вероятно, где-нибудь по-близости находился лагерь, и воображение перенесло меня на минуту к занятиям военной жизни, мною только что покинутой.

Подходя к деревне, увидел я в стороне господский домик. На балконе сидели две дамы. Проходя мимо их, я поклонился—и отправился на почтовый двор.

Едва успел я справиться с ленивыми кузнецами, как явился ко мне старичок, отставной русский солдат, и от имени барыни позвал меня откушать чаю. Я согласился охотно и отправился на господский двор.

Дорогой узнал я от солдата, что старую барыню зовут Каролиной Ивановной, что она вдова, что дочь ее Екатерина Ивановна—уже в невестах, что обе такие добрые, и проч...

В 179\* мне было ровно 23 года, и мысль *о молодой барыне* была достаточна, чтоб возбудить во мне живое любопытство.

Старушка приняла меня ласково и радушно. Узнав мою фамилию, Каролина Ивановна сочлась со мною свойством, и я узнал в ней вдову фон В., дальнего нам родственника, храброго генерала, убитого в 1772 году.

Между тем как я повидимому со вниманием вслушивался в генеалогические воспоминания доброй Каролины Ивановны, я украдкой по-

сматривал на ее милую дочь, которая разливала чай и мазала свежее, янтарное масло на ломтики домашнего хлеба.

18 лет, круглое румяное лицо, темные узенькие брови, свежий ротик и голубые глазки— вполне оправдывали мои ожидания. Мы скоро познакомились, и на третьей чашке чаю уже обходился я с нею, как с кузиною. Между тем, бричку мою привезли; Иван пришел мне доложить, что она не прежде готова будет, как на другой день утром. Это известие меня вовсе не огорчило, и по приглашению Каролины Ивановны я остался ночевать.

(1835)



**„Мы проводили вечер на даче  
у княгини Д. ...“**

Мы проводили вечер на даче у княгини Д.

Разговор коснулся как-то Madame de Staël. Барон\*\* на дурном французском языке очень дурно рассказал известный анекдот: вопрос ее Бонапарту—кого почитает он первую женщиною в свете—и забавный его ответ: ту, которая народила более детей—*celle qui a fait le plus d'enfants*.

— Какая славная эпиграмма!—заметил один из гостей.

— И поделом ей!—сказала одна дама,—как можно так неловко напрашиваться на комплименты?

— А мне так кажется,—сказал Сорохтин, дремавший в гамсовых креслах,—мне так кажется, что ни Madame de Staël не думала о мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна сделала свой вопрос из единого любопытства, очень понятного, а Наполеон буквально выразил настоящее свое мнение. Но вы не верите простодушию гениев.

Гости начали спорить, а Сорохтин задремал опять.

— Однако, в самом деле,—сказала хозяйка,—кого почитаете вы первую женщиною в свете?

— Берегитесь: вы напрашиваетесь на комплименты...

— Нет, шутки в сторону...

Тут пошли толки: иные называли *Madame de Staël*, другие Орлеанскую Деву, третьи Елисавету, английскую королеву, *Madame de Maintenon*, *Madame Roland* и проч...

Молодой человек, стоявший у камина (потому что в Петербурге камин никогда не лишнее), в первый раз вмешался в разговор.

— Для меня,—сказал он,—женщина самая удивительная—Клеопатра.

— Клеопатра?—сказали гости,—да, конечно... однако, почему ж?

— Есть черта в ее жизни, которая так врезалась в мое воображение, что не могу взглянуть почти ни на одну женщину, чтоб тотчас не подумать о Клеопатре.

— Что ж это за черта?—спросила хозяйка,—расскажите.

— Не могу; мудрено рассказать.

— А что? Разве неблагопристойно?

— Да, как почти всё, что живо рисует ужасные нравы древности.

— Ах! расскажите, расскажите.

— Ах! нет, не рассказывайте,—перервала Вольская, вдова по разводу, опустив чопорно огненные свои глаза.

— Полноте,—вскричала хозяйка с нетерпением.—*Qui est-ce donc que l'on trompe ici.*<sup>1</sup> Вчера мы смотрели Anthony, а вон там у меня на камине валяется *La physiologie du mariage.*<sup>2</sup> Неблагопристойно! Нашли чем нас пугать! Перестаньте нас морочить, Алексей Иваныч! Вы не журналист. Расскажите просто, что знаете про Клеопатру — однако, будьте благопристойны, если можно.

Все засмеялись.

— Ей-богу,—сказал молодой человек,—я ро-бею: я стал стыдлив, как цензура. Ну, так и быть...

Надобно знать, что в числе латинских историков есть некто Аврелий Виктор, о котором, вероятно, вы никогда не слыхивали.

— *Aurelius Victor?*—прервал Вершнев, который учился некогда у езуитов,—Аврелий Виктор, писатель IV столетия. Сочинения его приписываются Корнелию Непоту и даже Светонию; он написал книгу *De viris illustribus*—о знаменитых мужах города Рима, знаю...

---

<sup>1</sup> (Кого здесь обманывают.)

<sup>2</sup> (Физиология брака.)

— Точно так,—продолжал Алексей Иванович,— книжонка его довольно ничтожна, но в ней находится то сказание о Клеопатре, которое так меня поразило. И—что замечательно—в этом месте сухой и скучный Аврелий Виктор силою выражения равняется Тациту. *Haec tantae libidinis fuit, ut saepe prostituerit; tantae pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emeruerint...*<sup>1</sup>

— Прекрасно! — воскликнул Вершнев.— Это напоминает мне Саллюстия—помните? *Tantae...*

— Что ж это, господа?—сказала хозяйка,— уж вы изволите разговаривать по-латыни! Как это для нас весело!—Скажите, что значит ваша латинская фраза?

— Дело в том, что Клеопатра торговала своею красотою, и что многие купили ее ночи ценою своей жизни...

— Какой ужас!—сказали дамы.—Что же вы тут нашли удивительного?

— Как что? Кажется мне, Клеопатра была не пошлая кокетка и ценила себя не дешево. Я предлагал\*\* сделать из этого поэму; он было и начал ее, да бросил.

— И хорошо сделал.

---

<sup>1</sup> (Она отличалась такой похотливостью, что часто торговала собой, такой красотой, что многие покупали ее ночь ценою жизни.)

— Что ж из этого хотел он извлечь? Какая тут главная идея—не помните ли?

— Он начинает описанием пиршества в садах царицы египетской.

Темная знойная ночь объемлет африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовье спящей красавицы.

Светлы и шумны чертоги Птоломеевы: Клеопатра угощает своих друзей. Стол обставлен костяными ложами. Гости увенчаны венками. Триста юношей служат гостям, триста дев разносят им амфоры, полные греческих вин; триста черных евнухов надзирают над ними безмолвно.

Порфирная колоннада, открытая с юга и с севера, ожидает дуновения Эвра; но воздух недвижим, огненные языки светильников горят недвижно, дым курильниц возносится прямо недвижную струею, недвижимое море, как зеркало, лежит недвижно у розовых ступеней полукруглого крыльца. Сторожевые сфинксы в нем отразили свои золоченые когти и гранитные хвосты... только звуки кифары (и) флейты потрясают огни, воздух и море...

Вдруг царица задумалась и грустно поникла дивною головою; светлый пир омрачился ее грустию, как солнце омрачается облаком.

## О чем она грустит?

Какая грусть ее гнетет.  
Чего, чего не достает  
Царице гордой и прекрасной?  
В ее столице сладострастной  
Веселье, блеск и тишина.  
Судьбою властвует она.  
Покорны ей земные боги,  
Полны чудес ее чертоги.  
Все земли, волны всех морей  
Смиренно дань приносят ей.  
Всечасно пред ее глазами  
Пиры сменяются пирами —  
Постиг ли кто в душе своей  
[Все] таинства ее ночей?..  
Вотще! В ней сердце глухо страдает—  
[Она] утех безвестных жаждет—  
Утомлена, пресыщена,  
Больна бесчувствием она...

.....

— Этот предмет должно бы доставить маркизе Жорж Занд, такой же бесстыднице, как ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переделала бы на нынешние нравы...

— Невозможно. Не было бы никакого правдоподобия. Этот анекдот совершенно древний; таковой торг нынче несбыточен, как сооружение пирамид.

— Отчего ж несбыточен? Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле

справедливость того, что твердят ей поминутно— что любовь ее была бы дороже им жизни.

— Положим, это и любопытно было бы узнать, но каким образом можно сделать это ученое испытание? Клеопатра имела всевозможные способы заставить должников своих расплатиться.—А мы?

— Конечно: ведь нельзя же такие условия написать на гербовой бумаге и засвидетельствовать в Гражданской Палате.

— Можно в таком случае положиться на *честное слово*.

— Как это?

— Женщина может взять с любовника его честное слово, что на другой *(день)* он застрелится.

— Да, а он на другой день уедет в чужие края,—а она останется в дурах.

— Да,—если он согласится остаться навек бесчестным в глазах той, которую любит.—Да и самое условие неужели так тяжело? Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценою жаль и счастье купить? Посудите сами: первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю—я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, повесе, которому вздумается испы-

тать мое хладнокровие. И я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве?—Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями! И что в ней, когда наслаждения ее истощены?

— Неужели вы в состоянии заключить такое условие?

В эту минуту Вольская, которая во всё время сидела, молча опустив глаза, быстро устремила их на Алексея Иваныча.

— Я про себя не говорю—истинно влюбленный человек, конечно, не усумнится ни на одну минуту...

— Как! Даже для такой женщины, которая бы вас не любила? (А та, которая согласилась бы на ваше предложение, уж верно б вас не любила.) Одна мысль о таком зверстве должна уничтожить самую безумную страсть...

— Нет—я в ее согласии видел бы одну только пылкость воображения.—А что касается до взаимной любви... то я ее не требую—если я люблю, какое тебе дело?..

— Перестаньте—бог знает, что вы говорите.—Так вот чего вы не хотели рассказать...

Молодая графиня К., кругленькая дурнушка, постаралась придать важное выражение своему носу, похожему на луковицу, воткнутую в репу, и сказала:

— Есть и нынче женщины, которые ценят себя подороже.

...Муж ее, польский [граф], женившийся по расчету (говорят, ошибочному), потупил глаза и выпил свою чашку чаю.

— Что вы под этим понимаете, графиня?— спросил [молодой человек], с трудом удерживая улыбку.

— Я разумею,—отвечала графиня К.,—что женщина, которая уважает себя, которая уважает...

Тут она запуталась; Вершнеф подоспел ей на помощь.

— Вы думаете, что женщина, которая себя уважает, не хочет смерти грешнику—не так ли? Разговор переменялся.

Алексей Иваныч сел подле Вольской, наклонился, будто рассматривал ее работу, и сказал ей вполголоса:

— Что вы думаете об условии Клеопатры?

Вольская молчала.—Алексей Иваныч повторил свой вопрос.

— Что вам сказать? И нынче иная женщина дорого себя ценит, но мужчины 19-го столетия слишком хладнокровны, благоразумны, чтоб заключить такие условия.

— Вы думаете,—сказал Алексей Иваныч голосом, вдруг изменившимся,—вы думаете, что

в наше время, в Петербурге, здесь—найдется женщина, которая будет иметь довольно гордости, довольно силы душевной... чтоб предписать любовнику условия Клеопатры?..

— Думаю—даже уверена.

— Вы не обманываете меня? Подумайте—это было бы слишком жестоко—более жестоко, нежели самое условие...

Вольская взглянула на него огненными пронзительными глазами и произнесла твердым голосом:—*нет*.

Алексей Иваныч встал—и тотчас исчез.

(1835)



## Цезарь путешествовал...

Цезарь путешествовал, мы с Титом Петронием следовали за ним издали, не торопясь.

По захождении солнца [слуги разбивали] шатер, расставляли постели, мы ложились пировать и весело беседовали. На заре мы снова пускались в дорогу, и сладко засыпали каждый в лектике своей, утомленные жаром и ночными наслаждениями.

Мы достигли Кум и уже думали пуститься далее, как явился к нам посланный от Нерона. Он принес Петронию повеление Цезаря возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи—вследствие ненавистного обвинения.

Мы были поражены ужасом. Один Петроний равнодушно выслушал свой приговор, отпустил гонца с подарками и объявил нам свое намерение остановиться в Кумах. Он послал своего любимого раба выбрать и нанять ему дом и стал ожидать его возвращения в кипарисной роще, посвященной Эвменидам.

Мы окружили его с беспокойством. Флавий Аврелий спросил, долго ли думает он оставаться

в Кумах, и не страшитесь ли раздражить Нерона слушанием?

— Я не только не думаю послушаться его,— отвечал Петроний с улыбкою,—но даже намерен предупредить его желания. Но вам, друзья мои, советую возвратиться. Путник в ясный день отдыхает под тенью дуба, но во время грозы от него благоразумно удаляется, страшась удара молнии.

Мы все изъявили желание с ним остаться—и Петроний ласково нас поблагодарил. Слуга возвратился—и повел нас в дом им уже выбранный.—Он находился в предместье города.—Им управлял в отсутствие хозяина, уже давно покинувшего Италию, старый отпущенник. Несколько рабов под его надзором заботились о чистоте комнат и садов. В широких сенях нашли мы кумиры девяти муз. У дверей стояли два кентавра.

Петроний остановился у мраморного порога и прочел начертанное на нем приветствие: *здравствуй!* Печальная улыбка изобразилась на лице его. Старый управитель повел его в вивлиофику, где осмотрели мы несколько свитков—и вошли потом в спальню хозяина. Она убрана была просто. В ней находились только две семейные статуи. Одна изображала матрону, сидящую в креслах, другая девочку, играющую мячом.

На столике подле постели стояла маленькая лампада. Здесь Петроний остался (на) отдых и нас отпустил, пригласив вечером к нему собраться.

Я не мог уснуть; печаль наполняла мою душу. Я видел в Петронии не только щедрого благодетеля, но и друга, искренно ко мне привязанного. Я уважал его обширный ум и любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знание света и людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия. Искренность в отношении к самому себе делала его пронизательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового; он изведal все наслаждения; чувства его дремали, притупленные привычкою. Но ум его хранил удивительную свежесть.—Он любил игру мыслей, как и гармонию слов.—Охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла.

Я сошел в сад и долго ходил по извилистым его тропинкам, осененным старыми деревьями. Я сел на скамейку, под тень широкого тополя, у которого стояла статуя молодого сатира, прорезающего тростник. Желая развлечь как-нибудь печальные мысли, я вынул записные до-

щечки и перевел одну из од Анакреона, которую и сберег в память этого печального дня:

Поредели, побелели  
Кудри, честь главы моей,  
Зубы в деснах ослабели  
И потух огонь очей.  
Сладкой жизни мне немного  
Проводить осталось дней,  
Парка счет ведет им строго,  
Тартар тени ждет моей.—  
Страшен хлад подземна свода,  
Вход в него для всех открыт,  
Из него же нет исхода...  
Всяк сойдет и там забыт.

Солнце клонилось к западу; я пошел к Петронию [и нашел его] в библиотеке. Он расхаживал—с ним был его домашний лекарь Септимий.— Петроний, увидя меня, остановился и произнес шутиливо:

Узнают коней ретивых  
По их выжженным таврам,  
Узнают парфян кичливых  
По высоким клубукам.  
И любовников счастливых  
Узнают по их глазам.

— Ты угадал,—отвечал я Петронию и подал ему свои дощечки. Он прочитал мои стихи. Облако задумчивости прошло по его лицу и тотчас рассеялось.

— Когда читаю подобные стихотворения,—сказал он,—мне всегда любопытно знать, как

умерли те, которые так сильно были поражены мыслью о смерти.—Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает, но не верю ему—так же как не верю трусости Горация. Вы знаете оду его?

Кто из богов мне возвратил  
Того, с кем первые походы  
И браней ужас я делил,  
Когда за призраком свободы  
Нас Брут отчаянный водил?  
С кем я тревоги боевые  
В шатре за чашей забывал,  
И кудри, плющем увитые,  
Сирийским миром умащал?  
Ты помнишь час ужасной битвы,  
Когда я, трепетный квирит,  
Бежал, нечестно брося щит,  
Творя обеты и молитвы?  
Как я боялся! Как бежал!  
Но Эрмий сам внезапной тучей  
Меня покрыл и вдаль умчал  
И спас от смерти неминучей.

. . . . .

Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своею трусостию, чтобы не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута. [Воля ваша, нахожу более искренности в его восклицании:

Красно и сладостно паденье за отчизну!]

(1833—1835)



## 〈Мария Шонинг〉

АННА ГАРЛИН К МАРЬЕ ШОНИНГ

Милая Мария!

Что с тобою делается? Уж более четырех месяцев не получала я от тебя ни строчки. Здоровы ли ты? Кабы не всегдашние хлопоты, я бы уж побывала у тебя в гостях; но ты знаешь: 12 миль не шутка. Без меня хозяйство станет; Фриц в нем ничего не смыслит—настоящий ребенок. Уж не вышла ли ты замуж? Нет, верно ты обо мне вспомнила и порадовала свою подругу вестью о своем счастье. В последнем письме ты писала, что твой бедный отец всё еще хворает; надеюсь, что весна ему помогла и что теперь ему легче.—О себе скажу, что я, слава богу, здорова и счастлива. Работа идет помаленьку, но я всё еще не умею ни запрашивать, ни торговаться. А надобно будет выучиться. Фриц также довольно здоров, но с некоторых пор деревянная нога начинает его беспокоить; он мало ходит, а в ненастное время кряхтит да охает.

Впрочем, он попрежнему весел, попрежнему любит выпить стакан вина и всё еще не досказал мне историю о своих походах. Дети растут и хорошеют. Франк становится молодцом. Вообрази, милая Марья, что уж он бегаёт за девочками,—каков?—а ему нет еще и трех лет. А какой забияка! Фриц не может им налюбоваться и ужасно его балует; вместо того, чтоб ребенка унимать, он еще его подстрекает и радуется всем его проказам. Мина гораздо степеннее; правда, она годом старше.—Я начала уж учить ее азбуке. Она очень понятлива и, кажется, будет хороша собою. Но что в красоте? Была бы добра и разумна, тогда верно будет и счастлива.

P. S. Посылаю тебе в гостинец косынку; обнови ее, милая Марья, в будущее воскресенье, когда пойдешь в церковь. Это подарок Фрица, но красный цвет идет более к твоим черным волосам, нежели к моим светлорусым. Мужчины этого не понимают. Им всё равно, что голубое, что красное. Прости, милая Марья, я с тобою заболталась. Отвечай же мне поскорее. Батюшке засвидетельствуй мое искреннее почтение. Напиши мне, каково его здоровье. Мать нашего пастора советует ему употреблять, вместо чаю, красный *бедринец*, цветок очень обыкновенный; я отыскала и латинское его название; всякий аптекарь тебе укажет его. Век не забуду, что

я провела три года под его кровлею и что он обходился со мною, бедной сироткою, не как с наемной служанкою, а как с дочерью.

## МАРИЯ ШОНИНГ К АННЕ ГАРЛИН

Я получила твое письмо в прошлую пятницу, [но] прочла [его] только сегодня. Бедный отец мой скончался в тот самый день, в шесть часов поутру—вчера были похороны.

Я никак не воображала, чтоб смерть была так близка. Во всё последнее время ему было гораздо легче, и г. Кельц имел надежду на совершенное его выздоровление. В понедельник он даже гулял по нашему садику и дошел до колодезя не задыхнувшись. Возвратясь в комнату, он почувствовал легкий озноб, я уложила его и побежала к г. Кельцу—его не было дома. Возвратясь к отцу, я нашла его в усыплении—я подумала, что сон успокоит его совершенно.—Г. Кельц пришел вечером; он осмотрел больного, и был недоволен его состоянием. Он прописал ему новое лекарство. Ночью отец проснулся и просил есть—я дала ему супу; он хлебнул одну ложку и более не захотел. Он опять впал в усыпление.—На другой день с ним сделались спазмы. Г. Кельц от него не отходил. К вечеру боль унялась—но им овладело такое беспокойство,

что он пяти минут сряду не мог лежать в одном положении—я должна была поворачивать его с боку на бок... Перед утром он утих и часа два лежал в усыплении. Г. Кельц вышел, сказав мне, что воротится часа через два. Вдруг отец мой приподнялся и позвал меня. Я к нему подошла и спросила: что ему надобно. Он сказал мне: «Марья, что так темно? Открой ставни». Я испугалась и сказала ему: «Батюшка! разве вы не видите... ставни открыты». Он стал искать около себя, схватив меня за руку, и сказал: «Марья, Марья, мне очень дурно—я умираю... Дай, благословлю тебя поскорее». Я бросилась на колени и положила его руку себе на голову—рука вдруг отяжелела. Он сказал: «Господь, награди ее; господь! тебе ее поручаю».—Он замолк. Я подумала, что он опять заснул, и несколько минут не смела шевельнуться. Вдруг вошел г. Кельц, снял с моей головы руку его и сказал мне: «Теперь оставьте его, подите в свою комнату». Я взглянула: отец лежал бледный и недвижимый. Всё было кончено.

Добрый г. Кельц целые два дня не выходил из нашего дома и всё распорядил, потому что я была не в силах.—В последние дни я ходила за больным, некому было меня сменить. Часто я вспоминала о тебе и горько сожалела, что тебя с нами не было.

Вчера я встала с постели и пошла было за гробом, но мне стало дурно. Я стала на колени, чтоб издали с ним проститься. Фрау Ротберх сказала: какая комедиантка! Вообрази, милая Анна, что слова эти возвратили мне силу. Я пошла за гробом удивительно легко. В церкви, мне казалось, было чрезвычайно светло, и всё кругом меня шаталось. Я не плакала. Мне было душно, и мне всё хотелось смеяться.

Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, и при мне опустили в могилу. Мне вдруг захотелось тогда ее разрыть, потому что я с ним не совсем простилась. Но многие еще гуляли по кладбищу, и я боялась, чтоб фрау Ротберх не сказала опять: какая комедиантка!

Какая жестокость не позволять дочери проститься с мертвым отцом, как ей вздумается...

Возвратясь домой, я нашла чужих людей, которые сказали мне, что надобно запечатать всё имение и бумаги покойного отца. Они оставили мне мою комнату, только вынесли из нее всё, кроме кровати и одного стула. Завтра воскресенье. Я не обновлю твою косынку, но очень тебя за нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу, Франку и Мини целую. Прощай.

Р. S. Пишу стоя у окошка, а чернильницу заняла у соседей.

## МАРИЯ ШОНИНГ К АННЕ ГАРЛИН

Милая Анна!

Вчера пришел ко мне чиновник и объявил, что всё имение покойного отца моего должно продаваться с публичного торгу, в пользу городской казны, за то, что он был обложен не по состоянию, и что по описи имения оказался он гораздо богаче, нежели думали. Я тут ничего не понимаю. В последнее время мы очень много тратили на лекарство. У меня всего на расход осталось 23 талера,—я показала их чиновникам, которые однако ж сказали, чтоб я деньги эти взяла себе, потому что закон их не требует.

Дом наш будет продаваться на будущей неделе, и я не знаю куда мне деться. Я ходила к г. бургмейстеру,—он принял меня хорошо, но на мои просьбы отвечал, что он ничего не может для меня сделать. Не знаю, куда мне определиться. Если нужна тебе служанка, то напиши мне; ты знаешь, что я могу тебе помогать в хозяйстве и в рукоделии, а сверх того буду смотреть за детьми и за Францем, если он занеможет. За больными ходить я научилась. Пожалуйста, напиши, нужна ли я тебе. И не совестись. Я уверена, что отношения наши от того ни мало не переменятся и что ты будешь для меня всё та же добрая и снисходительная подруга.

\* \* \*

Домик старого Шонинга полон был народу. Толпа теснилась около стола, за которым председательствовал оценщик. Он кричал: «Байковый камзол с медными пуговицами— (столько-то). Раз, два... Никто более—Байковый камзол— три». Камзол перешел в руки нового своего владельца.

Покупщики осматривали с хулой и любопытством вещи, выставленные на торг. Фрау Ротберх рассматривала черное белье, не вымытое после смерти Шонинга; она теребила его, отряхивала и повторяла: «Дрянъ, ветошь, лохмотья»,—и надбавляла по грошам. Трактирщик Гирц купил две серебряных ложки, полдюжину салфеток и две фарфоровые чашки. Кровать, на которой умер Шонинг, куплена была Каролиной Шмидт, девушкой сильно нарумяненной, вида скромного и смиренного.

Марья, бледная как тень, стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение бедного своего имущества. Она держала в руке \*\* талеров, готовясь купить что-нибудь, и не имела духа перебивать добычу у покупателей.

Народ уходил, унося приобретенное. Оставались непроданными два портретика в рамах, некогда вызолоченных, замаранных мухами. На одном изображен был Шонинг молодым челове-

ком в красном кафтане. На другом Христина, жена его, с собачкою на руках. Оба портрета были нарисованы резко и ярко. Гирц хотел купить их, чтобы повесить в угольной комнате своего трактира, потому что стены были слишком голы. Портреты оценены были в\*\* (талеров). Гирц вынул кошелек.

В это время Марья превозмогла свою робость и дрожащим голосом надбавила цену. Гирц бросил на нее презрительный взгляд и начал торговаться. Мало-по-малу цена возросла до\*\*\*. Марья дала наконец \*\*\*, Гирц отступился, и портреты остались за нею. Она отдала деньги, остальные спрятала в карман, взяла портреты и вышла из дому, не дождавшись конца аукциону.

Когда Марья вышла на улицу с портретом в каждой руке, она остановилась в недоумении: куда ей было идти?..

Молодой человек в золотых очках, [одетый с некоторой] странностию, подошел к ней и очень вежливо вызвался отнести портреты, куда ей будет угодно.

— Я очень вам благодарна... я, право, не знаю... И Марья думала, куда бы ей отнести портреты, покамест она сама без места.

Молодой человек подождал несколько секунд и пошел своею дорогою, а Марья решилась нести портреты к лекарю Кельцу.

## 〈Материалы〉

### MARIE SCHONING ET ANNE HARLIN JUGÉES EN 1787 À NURENBERG

Marie Schoning, fille d'un ouvrier de Nuremberg, perdit son père à 17 ans. Elle le soignait seule, la pauvreté l'ayant forcée de renvoyer leur unique servante Anne Harlin.

En revenant de l'enterrement de son père, elle trouva deux officiers du revenu public, qui lui demandèrent à visiter les papiers du défunt, pour s'assurer s'il avait payé les taxes en proportion de sa propriété. Ils trouvèrent après l'examen que le vieux Schoning n'avait pas imposé en proportion de ses moyens: ils mirent les scelles. La jeune fille se retira dans une chambre sans meubles jusqu'à ce que les directeurs du trésor public eussent décidé sur cette affaire.

Les officiers du fisc revinrent apporter la décision de leur chef, muni d'un ordre qui enjoignait Marie Eléonora Schoning de quitter la maison, confisquée au profit du trésor.

Mr. Schoning était pauvre, mais économe. Une maladie de trois ans épuisa tout ce qu'il avait amassé. Marie alla chez les commissaires. Elle pleura, et le bureau fut inflexible.

La nuit elle alla au cimetière de St. Jacques.

Elle en sortit le matin, mourant de faim, elle se retrouva au cimetière.

La police de Nurenberg assigne un demi-couronne aux gardes de nuit pour chaque femme arrêtée la nuit après 10 heures. Marie Schoning fut conduite au corps de garde. Le lendemain elle fut emmenée devant le magistrat qui la renvoya, en la menaçant de l'envoyer dans la maison de correction en cas de récidive.

Marie voulait se jeter dans la Pegnitz... On l'appelle: elle vit Anne Harlin, ancienne servante de son père, qui avait épousé un invalide. Anne la consola: «la vie est courte, — lui dit-elle, — et le ciel c'est pour toujours, mon enfant».

Marie fut recueillie chez les Harlins pendant une année. Elle y mena une vie assez misérable. Au bout de ce temps A. tomba malade. L'hiver vint, l'ouvrage manqua; le prix des denrées s'accrut. Les meubles furent vendus pièce à pièce, excepté le grabat de l'invalide qui mourut au printemps.

Un pauvre médecin traitait gratis le mari et la femme. Il apportait quelquefois une bouteille de vin, mais il n'avait pas d'argent. Anne se rétablit; mais elle devint apathique: le travail manqua tout à fait.

Au commencement de Mars, un soir, Marie sortit tout à coup...

Elle fut arrêtée par la patrouille de nuit. Le caporal la plaça au milieu des soldats et lui dit que le lendemain elle sera fouettée. Marie s'écria qu'elle était coupable d'un infanticide...

Amenée devant le juge, elle déclara avoir été accouchée par la femme Harlin et que celle-ci avait enterré son enfant dans un bois elle ne sait plus où. Anne Harlin fut tout de suite arrêtée, et sur sa dénégation confrontée avec Marie; elle nia tout.

On apporta les instruments de torture. Marie s'épouvanta—elle saisit les mains liées de sa prétendue complice et lui dit: «Anne, fais l'aveu qu'on te demande! Ma bonne Anne, tout sera fini pour nous, et Frank et Nany seront mis dans la maison des orphelins».

Anne la comprit, l'embrassa, et dit que l'enfant a fut jeté dans la Pegnitz.

Le procès fut rapidement instruit. Elles furent condamnées à mort.—Le matin du jour fixé, elles furent amenées à l'église, ou elles se préparèrent à la mort par la prière. Sur la charrette Anne fut ferme, Marie fut agitée. Harlin monta sur l'échafaud et lui dit: «encore un instant, et nous serons là (au ciel)! Courage, une minute, et nous serons devant Dieu!»

Marie s'écria: «elle est innocente, je suis un faux témoin...» elle se jeta aux pieds du bour-

reau et du prêtre... elle dit tout. L'exécuteur, étonné, s'arrête. Le peuple pousse des cris... Anne Harlin interrogée par le prêtre et le bourreau dit avec répugnance (simplicité): «assurément elle a dit la vérité. Je suis coupable pour avoir menti et manqué de foi en la Providence».

Un rapport est envoyé en magistrat. Le messenger revient dans une heure avec l'ordre de procéder à l'exécution.

L'exécuteur s'évanouit après avoir décapité Anne Harlin.—Marie était déjà morte.



## Планы

### I. „Карты; продан...“

... Карты; продан; женат—дядька.  
... Солдатство—(делается офицером).

⟨1820?⟩

### II. ⟨Влюбленный бее⟩

Москва в 1811 году.—Старуха, две дочери одна невинная, другая романическая.—Два приятеля к ним ходят.—Один развратный, другой В⟨любленный⟩ б⟨ес⟩.

В⟨любленный⟩ б⟨ес⟩ любит меньшую и хочет погубить молодого человека.—Он достает ему деньги, водит его повсюду — [Бордель] Наст⟨асью?⟩ — Вдова ч⟨ертовка?⟩.

Ночь. Извозчик. Молод. чел. ссорится с ним.—Старшая дочь сходит с ума от любви к В⟨любленному⟩ б⟨есу⟩.

⟨1826—1828⟩

### III. ⟨L'homme du monde⟩

L'homme du monde—[marié en province à une aristocrate] fait la cour à une femme à la mode

(Nom). Il la séduit et il épouse une autre [по расчету]. Sa femme lui fait des scènes. L'autre avoue tout à son mari—la console—la visite. L'homme du monde malheureux—ambitieux.

---

L'entrée d'une jeune personne dans le monde.—

---

Zélie aime un égoïste vaniteux; entourée de la froide malveillance du monde; un mari raisonnable. Un amant qui se moque d'elle. Une amie qui s'en éloigne devient légère, fait un esclandre. Aime un homme qu'elle n'aime pas.—Son mari la réfugie.—Elle est tout à fait malheureuse.—Son amant, son ami.—

---

1) Une scène du grand monde на даче у гр. L. Комната полна, около чая приезд Зелии.—Она отыскала глазами l'homme du monde и с ним проводит целый вечер.

2) Исторический рассказ de la séduction. La liaison. Son amant l'affiche.

3) L'entrée dans le monde d'une jeune provinciale.—Scène de jalousie.—Ressentiments du grand monde.

4) Bruit du mariage.—Zélie avoue<sup>1</sup> tout à son

---

<sup>1</sup> (Между словами «Zélie» и «avoue» вписано позднее: *désespérer de*, но остальные части фразы остались невыправленными.)

mari.—Un mari raisonnable.—Visite de nôce.—  
Zélie tombe malade—reparaît dans le monde;  
on lui fait la cour etc.

⟨1828⟩

#### IV. „Н. избирает себе в наперсники...“

Н. избирает себе в наперсники Н(евский)  
Прспект—он доверяет ему все свои домашние  
беспокойства, все семейственные огорчения.—  
Об нем жалеют.—Он доволен.

⟨Нач. 1830-х гг.⟩

#### V. ⟨Планы и наброски повести о стрельце и боярской дочери⟩

⟨1⟩

Стрелец, влюбленный в боярскую дочь—От-  
каз—Приходит к другу-заговорщику—Вступает  
в заговор.

⟨2⟩

Софья во дворце—Нищие, скоморох. Скомо-  
рох и старый раскольник.—Молодой стрелец.  
Заговор.

---

Стрелец влюбляется в Ржевскую; сватается,  
получает отказ.—Он становится уныл.—Товарищ

открывает ему заговор. Он объявляет обо всем правительнице; Софья принимает его как заговорщика, объяснение.—Софья сваха. Комедия у боярина.

Бунт стрелецкий, боярин спасен им, обещает выдать за него дочь.<sup>1</sup> [Мать торопится и выдает ее за боярина]. Ржевская замужем.

⟨3⟩

1) Стрелец, сын старого раскольника, видит Ржевскую в окошко, переодетую горничной девушкой.—Сватает через мамушку-раскольницу—получает отказ.

---

Полковник стрелецкий имеет большое влияние на своих; Софья хочет его к себе перемануть.—Он рассказывает ей, каким образом узнал он о заговоре.

Софья. О чем же ты был печален?—Об отказе.— Я сваха—Но будь же etc.

(1830—1834?)

## VI. „Криспин приезжает в губернию...“

Криспин приезжает в губернию на ярмонку.—Его принимают за Ambas(sadeur). Губернатор

---

<sup>1</sup> ⟨Зачеркнуто: Обед у тестя, бедная родственница. Комедия у боярина.⟩

честный дурак. Губ(ернаторша) с ним кокетнич(ает). Криспин сватается за дочь.

(1833—1835)

### VII. „Les deux danseuses...“

Les deux danseuses—Un ballet de Didlot en 1819—Zavadovsky.—Un amant au paradis.—Scène aux coulisses—duel—Istomine est à la mode—elle est entretenue, elle se marie.—Sa sœur est dans la détresse.—Elle épouse le souffleur.—Istomine dans le monde—On ne la reçoit pas.—Elle reçoit chez elle.—Dégouts.—Elle reçoit sa compagne.

(1834—1835)

### VIII. „Сын казненного стрельца...“

Сын казненного стрельца воспитан вдовою вместе с ее сыном и дочерью; он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему Петр поручает свое письмо.

Приказчик вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имения своего, и отдан в солдаты.

Стрел(ецкий сын) посещает его семейство—и у Петра выпрашивает прощение молод(ому).

(1834—1835)





**ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ  
ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА**

*Подготовка текста и комментарии*  
*Ю. Н. Тынянова*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием: *Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Français*.<sup>1</sup> Автор, по-своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poète distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été témoin, non le sujet d'un poème, mais celui d'une satire.<sup>2</sup>

Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход.

---

<sup>1</sup> (Путешествия на Восток, предпринятые по поручению французского правительства.)

<sup>2</sup> (Один поэт, одаренный богатым воображением, нашел во всех славных деяниях, которые ему пришлось наблюдать, сюжет не для поэмы, а для сатиры.)

Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той самой книге не нашел я своего имени между именами генералов отдельного Кавказского корпуса. Parmi les chefs qui la commandaient (l'armée du *Prince Paskevitch*) on distinguait le Général Mouravief... le Prince Géorgien Tsitsevaze... le *Prince Arménien Beboutof*... le *Prince Potemkine*, le Général Raiewsky, et enfin—M. Pouchkine... qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes.<sup>1</sup>

Признаюсь: эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов. *Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудой: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый пе-

---

<sup>1</sup> (Среди начальников, ею командовавших (армией князя Паскевича), выделялись генерал Муравьев... грузинский князь Чичевадзе... армянский князь Бебутов... князь Потемкин, генерал Раевский и наконец г. Пушкин... покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников.)

реход через Саган-лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман-Паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму, всё это, увенчанное полным успехом, может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье, автор путешествия на Восток); но я устыдился бы написать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки, как *всё*, что мною было написано о походе 1829 года.

А. П у ш к и н.

## Глава первая

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дариальское ущелие. Переезд чрез снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский городничий.

...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом двести верст лишних; зато увидел Ермолова.

Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на

Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, повидимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно. Говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. Пускай нападет он, говорил Ермолов, на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например, на пашу, начальствовавшего в Шумле,—и Паскевич пропал. Я передал Ермолову слова гр. Толстова, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. Можно было бы сбечь людей и издержки, сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа от ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курб-

ского говорил он *con amore*.<sup>1</sup> Немцам досталось. Лет через 50, сказал он, подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами.—Я пробыл у него часа 2. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинился комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.

...Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил на прямую Тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в Курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации. До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец, увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.

Переход от Европы к Азии делается час от

---

<sup>1</sup> (С увлечением.)

часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет бóльшую силу растительности; показываются птицы неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих бóльшую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественника. Калмыки располагаются около стационарных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила куря табак. Я сел подле нее. Как тебя зовут?—\*\*\*.—Сколько тебе лет?—Десять и восемь.—Что ты шьешь?—Портка.—Кому?—Себя.—Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараниим жиром и солью. Она предложила мне и свой ковшик. Я не хотел отказаться, и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскорее выбрался из кибитки—и поехал от степной Цирцеи.

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры тому ровно десять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красные следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красавость...

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего, дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал

со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...

На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом.

С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется *оказией*. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в 9 часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из 500 человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Вперед поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за нами заскрыпел обоз двуколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Всё это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом,

фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только 15 верст), неносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец непрерывный скрип нагайских ароб выводили меня из терпения. Татары тщеславятся этим скрипом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы встарину не разбегаясь, с заржавевшими пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.

Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине, между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась кре-

пость; кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося *Татартубом* и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два, три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.

Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба *мирных* черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим едино-

племенникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство—простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые, за одно слово, в праве их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таким народом? Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их

укрошению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана*, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смиренно. Мертвеца вынесли на бурке.

...like a warrior taking his rest  
With his martial cloak around him;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> (Он лежал, завернувшись в свой боевой плащ, как отдыхающий воин.)

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я двух, жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными *чадрами*. В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие, и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.

Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям.

Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестью природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек, вспоминали Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремящей*. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища.

Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: *не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!* Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины

какого-то замка; они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами ласточек.

В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Куби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего *бурдюка*, вспоминая пирования Илиады:

И в козиих мехах вино, отраду нашу!

Здесь нашел я измаранный список *Кавказского Пленника*, и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разрабатывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напоминало мне слова моего приятеля Ш., по возвращении его из Парижа: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!»

В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента,

синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены камни. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь, как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен etc. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы.

Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели *Троицкие ворота* (арка, образованная в скале взрывом пороха),—под ними шла не-

когда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло.

Недалеко от *селения* Казбек переехали мы через *Бешеную Балку*, овраг, во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. В это время он был совершенно сух и громок одним своим именем.

Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями.

Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груды, по выражению поэта, *подпирающую небосклон*.

Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта, и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощью переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! «Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и проч.» Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей *папахе*\* и по крашеным ногтям.

Пост Куби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякий случай, я написал от имени

---

\* Так называются персидские шапки.

всего нашего каравана официальную просьбу к г. Чиляеву, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод.

На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики, и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О\*\*\*. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно в Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Огаревым, осматривающим здешние дороги.

Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде как через два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади

наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

В это время услышал я глухой рокот. «Это обвал», сказал мне г. Огарев. Я оглянулся и увидел в стороне груды снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь нередки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал оборвался; страшная глыба свалилась на его повозку; поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатила в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул; он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога, и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух Юга вдруг начинает поведать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извинаящейся, как сере-

бряная лента,—и всё это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спустились в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Чилиева. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я увидел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.

В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей; и в полуверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Несколько часов после нашей встречи, на принца напали горцы. Услыша свист пуль,

Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище.

Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь всё выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город не далеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни, и около полуночи очутился я у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и требовал за то с меня *абаз*.

Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог

раздеться, во-вторых, стакан вина, в-третьих, абаз для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения *de la liberté grande*.<sup>1</sup> К счастью, нашел я в кармане подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику, с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне мой человек и объявил, что граф Пушкин благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночью в Тифлисе.

Дорога была так же приятна и живописна,

---

<sup>1</sup> (За такую большую вольность.)

хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискала мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.

## Глава вторая

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлиские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый

персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату, и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился.—Пойдем, пойдем, сказал мне хозяин, сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда.—Конечно не беда, отвечал я ему, напротив.—Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею *чадрою*; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,  
With all the bloom, the freshened glow  
Of her own country maiden's looks,  
When warm they rise from Teflis brooks.

*Lalla Rookh.*<sup>1</sup>

Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани; горячий железосерный источник лился в глубокую ванну, иссе-

---

<sup>1</sup> (Прелестная грузинская дева с красками и прохладным жаром на ланитах, какой бывает у дев ее страны, когда они выходят, разгоряченные из тифлисских источников. «Лалла Рук».)

ченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлиских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине в присядку, *e sempre bene*.<sup>1</sup>) После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей, и сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря, Гассан отпустил меня в ванну, тем и кончилась церемония.

В Тифлисе я надеялся найти Раевского, но

---

<sup>1</sup> (и прелюбопытно.)

узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель Тифлиских Ведомостей, рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Агемохамеду взять и разорить Тифлис и 20.000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802. Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчишки поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен; мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастья! От тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, Весна · цветущая, от тебя, Луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром: хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росой! Избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище! От тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в *маранах*, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры, в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят неподвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, цар-

ствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под 41 градусом широты. Самое его название (Тбилис-калар) значит Жаркий город.

Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образовываться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в расуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В., прославившие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассессорским, толико вождеделенным. Те и другие смотрят на Грузию, как на изгнание.

Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Сипягин, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оно больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

Жители пьют Курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы не заметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Всё прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня также дорого и дурно. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по

несчастью, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Чорт побери Тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил я записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но подъезжая к ним видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух всё ещё был душен:

Ночи знойные!  
Звезды чуждые! .

Луна сияла; всё было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды, сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! В тридцати верстах от Тифлиса, и на дороге в Персию и

Турцию, он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ними было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелие, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные, зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склону горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был уже другой.

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли,

и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. Откуда вы, спросил я их.— Из Тегерана.— Что вы везете?— *Грибоеда*.— Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: *Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux.*<sup>1</sup> Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова

---

<sup>1</sup> (Вы не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей.)

Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной pistolетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества,— всё в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку,—когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном. Люди верят только Славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском Телеграфе. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда с своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздною рассеянностью; уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переверотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия: *Горе от Ума* произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще: он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...

В Гергерах встретил я Бутурлина, который,

как и я, ехал в армию. Бутурлин путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один, даже без проводника. Дорога всё была одна и совершенно безопасна.

Переехав невысокую гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани.—Что нового в Эривани?—спросил я его.—В Эривани чума,—отвечал он;—а что слышать об Ахалцыке?—В Ахалцыке чума,—отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в поговорку. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров.

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит.

Но дождь стал накрапывать и шел всё крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, налитанного дождем. Наконец, холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промолил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы. Между тем дождь перестал, и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казакки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце

всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. Что за гора? спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: это Арарат. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни—и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения...

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасно. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росой и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться.—Вот и Арпачай,—сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде

не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый *чюрек*, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимали я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иноземца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия выступила уже из-под Карса. Не могу описать моего отчаяния: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменял иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие

нагайкою. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: *вербана ат* (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена и мне дали проводника.

Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющийся на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: *Карс, Карс!* и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошел опять; но я об нем уже не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали

по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливня лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговора с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и жилали в нем по несколько месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне, и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся против угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича.

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенный на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне, как умел, военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он с охотою согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу: это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце, с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и о сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались. Дорога была прекрасна,

и в топких местах вымощена—через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась—передовые холмы хребта Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около двух часов; я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Раевского.

### Глава третья

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражение с сераскиром арзрумским. Взорванная сакля.

Я приехал во время. В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении им предписанном. Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как всё прочее войско должно было идти правою стороною в обход неприятелю.

В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где всё войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома, перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненого в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменялись! как быстро уходит время!

Neul fugaces, Posthume, Posthume,  
Labuntur anni...<sup>1</sup>

Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Раевский послал узнать причину тревоги: несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю, и мусульмане (так зовутся татары, служащие в нашем войске) их ловили.

На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали

---

<sup>1</sup> (Увы, о Постум, Постум, мчатся быстротечные годы.)

в ущелие. Драгуны говорили между собою: Смотри, брат, держись: как раз картечью хватит. В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам; но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелие и стали на высотах Саган-лу, в 10 верстах от неприятельского лагеря.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

*Usque nec Armeniis in oris,  
Amice Valgi, stat glacies iners  
Menses per omnes...<sup>1</sup>*

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь, на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. «Много ли турков?»—спросил Семичев. «Свиньем валит, ваше благородие»,—отвечал один из них. Проехав

---

<sup>1</sup> (И берега Армении, мой друг Вальгий, не круглый год закованы в неподвижный лед.)

ущелие, вдруг увидели мы на склонении противоположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостью, прицеливались шагах в 20, и выстрелив скакали назад. Их высокие чалмы, красивые долиمانы и блестящая сбруя коней составляли резкую противоположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялись над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которою скрылись турки. Они были подкреплены 4000 конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел

наших раненых, из коих человек 5 умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена, раненого в тот же день в другом сражении.

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывающих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий уродливый мужчина, в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язидов правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого бога, что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несча-

стлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

Человек мой явился в лагерь три дня после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, который в виду неприятеля благополучно соединился с армией. В: во всё время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен.

17 июня утром услышали вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами; полковник Фридерикс имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись.

18-го июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, всё в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала

Бурцова, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг? подумал я, и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставившего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татары наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем.

Сражение утихло: турки у нас в глазах начали копать землю и таскать камни, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около 6-го часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами, и вскоре зачали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повод, от них не отставала; я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему,

казалось, было лет 18; бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали; настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обгоняли конные наши отряды. Я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли, перед огнем. К нему приводили пленных. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была

конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили несколько казаков.

Вот всё, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-паше с 30.000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.

## Глава четвертая

Сражение с Гаки-пашею. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гассан-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш.

На другой день в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. *Etes-vous fatigué de la journée d'hier?—Mais un peu, Mr. le comte.—J'en suis fâché pour vous, car nous allons faire*

encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes.<sup>1</sup>

Мы тронулись—и к осьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Всё было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой—конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся уланский полк. Потом Вольховский проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к ло-

---

<sup>1</sup> (Вы не устали после вчерашнего дня?—Немножко, г. граф.—Весьма огорчен за вас, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать пашу, а после этого придется еще верст тридцать преследовать неприятеля.)

щине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненый смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умиравший бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно, принимая меня за лекаря, и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленной тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть, из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило; я заступился за бедного турку и насилу привел его изнеможенного и истекающего кровию к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в 15 нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю,

проскакав в эти два дня более восьмидесяти верст.

На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился гермафродит. Раевский, по просьбе моей, велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика, с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. *Erat vir, mammosus, ut femina, habebat testiculos non evolutos, penem que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exectus?— Deus, respondit, castravit me.* Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. *Хосс* есть турецкое название сим мнимым гермафродитам.

Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет сорока. Важность и глубокое спокойствие изображались на лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов.

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы

Саган-лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая уже нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынноком на высоте холма, где донныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется *Чабан-Кэпри* (мост пастуха). Дорога в Тебриз лежит через него.

В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме большого осла, вероятно, брошенного здесь бегущими поселянами.

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бекovichем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп, хорошо не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд

находился в горах, и с одним эскадроном уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что 3000 турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку, и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав верст 20, въехали мы в деревню, и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями преследовали нескольких кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о 3000 волах, три дня назад отогнанных турками, и которых весьма легко будет догнать дни через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным.

Гассан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостию. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находится горячий железо-серный источник.

Круглый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг почувствовал головокружение и тошноту и едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на Востоке, но, не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и, вероятно, без большого успеха.

Под стенами Гассан-Кале течет речка Муруг, берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский Нарзан, и отзываются медью.

25 июня, в день именин государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило.

26 июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются *Ак-даг* (белые горы); они меловые. Белая язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз по-

грозил им нагайкою, не преставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали.

Между тем, в Арзруме происходило большое смятение. Сераскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним, отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию.

В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира. День прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи.

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали и Топ-даг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в долине открывался взору Арзрум со своею

цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верьхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-дагу. Несколько их пронеслись над головою графа Паскевича; *Voyez les Turcs*,—сказал он мне,—*on ne peut jamais se fier à eux*.<sup>1</sup> В сию минуту прискакал на Топ-даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сераскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов, под предводительством Топчи-паши, овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец дал повеление, сказав: Полно им дурачиться.—Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-по-малу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину Полтавского сражения, в 6 часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию.

<sup>1</sup> (Вот они турки. Никогда нельзя на них полагаться.)

Раевский поехал в город—я отправился с ним; мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: Християн! Християн!.. Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним удивлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество—лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются.

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outré) за плечами. Он кричал во всё горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.

### Глава пятая

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбища. Сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человеческих.

Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100.000 жителей, но кажется число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится чрез Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностию достать ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе.

Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство, etc., но роскошь есть конечно принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 фу-

тов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодородна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-лу.

В арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих вероятно еще со времен Годфреда.

Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются бóльшей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкуса, никакой мысли... Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов, в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный, восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят,  
А завтра кованной пятой,  
Как змия спящего, раздавят,  
И прочь пойдут — и так оставят.  
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;  
В нем правду древнего Востока  
Лукавый Запад омрачил.  
Стамбул для сладостей порока  
Мольбе и сабле изменил.  
Стамбул отвык от поту битвы  
И пьет вино в часы молитвы.

В нем веры чистый жар потух.  
В нем жены по кладбищам ходят.  
На перекрестки шлют старух.  
А те мужчин в харемы вводят  
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,  
Многодорожный наш Арзрум;  
Не спим мы в роскоши позорной,  
Не черплем чашей непокорной  
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой  
Святые воды нас поят;  
Толпой бестрепетной и резвой  
Джигиты наши в бой летят.  
Харемы наши недоступны,  
Евнухи строги, неподкупны,  
И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах,  
где находился харем. Целый день бродил я по  
бесчисленным переходам, из комнаты в комнату,

с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностью и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов, и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный Бей-

булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмущившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-булат—мужчина лет 35, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит, или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10.000 войска, и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши и приказал г. Абрамовичу съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. Абрамовича. Мы отправились. Г. Абрамович взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его скопили и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным

простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли в дом Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом,—на цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: *тебе подобает связывать и развязывать*. Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, но Абрамович сказал наотрез, что он послан к женам Османа-паши, и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел всё это перевести, как старик, в знак негодования, защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование, и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему старику и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика, но г. Абрамович был непоколебим.—Вы боитесь своего паши, сказал он им, а я—своего сераскира, и не смею послушаться его приказаний.—Делать было нечего. Нас повели через

сад, где били два тощие фонтана. Мы приблизились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамканье семидесятилетней старухи; г. Абрамович прервал ее: «Это мать паши,—сказал он,—а я прислан к женам, приведите одну из них»; все изумились догадке гяуров; старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она,—из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Г. Абрамович имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко, и в этом круглом окошке 5 или 6 круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. Абрамовичу, но головки закивали, замигали, несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у дверей с г. Абрамовичем, была, вероятно, розою-повелительницею

харема, сокровищницею сердец—Розою любви— по крайней мере, я так воображал.

Наконец г. Абрамович прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом, и возвратились, очень довольные своим посольством.

Таким образом видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа.

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню, и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими!

Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас открылись ужасы карантина, и я в тот же день решил оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула

в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого, и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однако ж, превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного, и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия, и поскорее возвратился в город.

19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть губительно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий.

Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис, по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15.000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах, при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная Балка также явилась мне во всем своем величии: овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут

же грозно ревели. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. Множество осетинцев разрабатывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолье широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды, лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья мне попавшаяся была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве.

⟨1835⟩



## Notice sur la secte des Yézidis

Entre les sectes nombreuses qui se sont élevées dans la Mésopotamie, parmi les Musulmans, après la mort de leur prophète, il n'en est aucune qui soit odieuse à toutes les autres autant que celle des Yézidis. Les Yézidis ont pris leur nom du scheikh Yézid, auteur de leur secte, et ennemi déclaré de la famille d'Ali. La doctrine dont ils font profession est un mélange du manichéisme, du mahométisme et de la croyance des anciens perses. Elle se conserve parmi eux par tradition et est transmise de père en fils sans le secours d'aucun livre; car il leur est défendu d'apprendre à lire et à écrire. Ce défaut de livres est sans doute la cause, pour laquelle les historiens mahométans ne parlent de cette secte qu'en passant, et pour désigner sous ce nom des gens abandonnés au blasphème, cruels, barbares, maudits de dieu, et infidèles à la religion de leur prophète. Par une suite de cela on ne peut se procurer, relativement à la croyance des Yézidis, aucune notion certaine, si ce n'est ce qu'on observe aujourd'hui même parmi eux.

Les Yésidis ont pour premier principe de s'assurer l'amitié du Diable, et de mettre l'épée à la main pour sa défense. Aussi s'abstiennent-ils non seulement de le nom-

mer, mais même de se servir de quelque expression dont la consonnance approche de celle de son nom. Par exemple un fleuve se nomme dans le langage ordinaire *schatt*, et comme ce mot a quelque léger rapport avec le mot *scheïtan*, nom du Diable, les Yézidis appellent un fleuve *ave mazen*, c'est-à-dire, *grande eau*. De même encore les Turcs maudissent fréquemment le Diable, en se servant pour cela du mot *nal*, qui veut dire *malédiction*. Les Yézidis évitent avec grand soin tous les mots qui ont quelque analogie avec celui-là. Ainsi au lieu du mot *nal* qui signifie aussi *fer de cheval* ils disent *sol*, c'est-à-dire, *semelle des souliers d'un cheval*, et ils substituent le mot *solker*, qui veut dire *savetier*, au terme du langage ordinaire *nal-benda*, qui signifie *maréchal*. Quiconque fréquente les lieux qu'ils habitent, doit être très attentif à ne point prononcer les mots *diable* et *maudit*, et surtout ceux-ci *maudit soit le diable*; autrement, il courroit grand risque d'être maltraité, ou même tué. Quand leurs affaires les attirent dans les villes Turques, on ne peut pas leur faire de plus grand affront que de maudire le diable devant eux, et si la personne qui a eu cette imprudence vient à être rencontrée en voyage par des Yézidis et reconnue, elle est en grand danger d'éprouver leur vengeance. Il est arrivé plus d'une fois que des hommes de cette secte ayant été arrêtés pour quelque crime par la justice Turque, et condamnés à mort, ont mieux aimé subir leur condamnation que d'user de la faculté qui leur étoit accordée, de s'y soustraire en maudissant le diable.

Le diable n'a point de nom dans le langage des Yézidis. Ils se servent tout au plus pour le désigner de cette périphrase, *scheikh mazen*, le grand chef. Ils admettent tous les prophètes et tous les saints révéérés par les Chrétiens, et dont les monastères situés dans leurs environs portent les noms. Ils croient que tous ces saints personnages, lorsqu'ils vivoient sur la terre, ont été distingués des autres hommes plus ou moins, selon que le diable a résidé plus ou moins en eux; c'est surtout, suivant eux, dans Moïse, Jésus<sup>1</sup> Christ<sup>1</sup> et Mahomet qu'il s'est le plus manifesté. En un mot, ils pensent que c'est dieu qui ordonne, mais qu'il confie au pouvoir du Diable l'exécution de ses ordres.

Le matin, à peine le soleil commence-t-il à paraître, qu'ils se jettent à genoux les pieds nus, et que tournés vers cet astre, ils se mettent en adoration, le front contre terre. Pour faire cet acte de dévotion, ils se retirent à part, loin de la présence des hommes; il font leur possible pour n'être point vus quand ils s'acquittent de ce devoir, dont ils se dispensent même suivant les circonstances.

Ils n'ont ni jeûnes, ni prières, et disent pour justifier l'omission de ces œuvres de religion, que le scheikh Yézid a satisfait pour tous ceux qui feront profession de sa doctrine jusqu'à la fin du monde, et qu'il en a reçu l'assurance positive dans ses révélations; c'est en conséquence de cela qu'il leur est défendu d'apprendre à lire et à écrire.

---

<sup>1</sup> (Вычеркнуто карандашом.)

Cependant tous les chefs des tribus et des gros villages soudoient un docteur mahometan pour lire et interpréter les lettres qui leur sont adressées par les seigneurs et les pachas Turcs, et pour y repondre. Relativement aux affaires qu'ils ont entre eux, ils ne se fient jamais à aucune personne d'une autre religion; ils envoient leurs ordre et font faire toutes leurs commissions de vive voix par des hommes de leur secte.

N'ayant ni prières, ni jeûnes, ni sacrifices, ils n'ont aussi aucune fête. Ils tiennent cependant le 10 de la lune d'août une assemblée dans le voisinage du tombeau du scheikh Adi. Cette assemblée, à laquelle beaucoup des Yézidis se rendent de contrées éloignées, dure toute cette journée et la nuit suivante. Cinq ou six jours avant ou après celui où elle a lieu, les petites caravanes courent risque d'être attaquées dans les plaines de Moussol et du Kurdistan, par ces pèlerins qui voyagent toujours plusieurs ensemble et il est rare qu'une année se passe sans que ce pèlerinage donne lieu à quelque fâcheux événement. On dit qu'un grand nombre de femmes des Yézidis, à l'exception cependant des filles qui ne sont point encore mariées, se rendent des villages voisins à cette réunion, et que cette nuit là, après avoir bien bu et mangé, l'on éteint toutes les lumières, et l'on ne parle plus jusqu'aux approches de l'aurore, instant auquel tout le monde se retire. On peut se faire une idée de ce qui se passe dans ce silence et à la faveur des ténèbres.

Aucune espèce de nourriture n'est défendue aux Yézi-

dis, excepté la laitue et la citrouille. Ils ne font jamais dans leurs maisons de pain de froment, mais seulement du pain d'orge; je ne sais point quelle en est la raison.

Ils emploient pour leurs sermens les mêmes formules qui sont en usage parmi les Turcs, les Chrétiens et les Juifs; mais le serment le plus fort qu'ils fassent entre eux, est de jurer par *l'étendard de Yézid*, c'est-à-dire par leur religion.

Ces sectaires ont un très grand respect pour les monastères Chrétiens qui sont dans leurs environs. Quand ils vont les visiter, ils ôtent leurs chaussures avant d'entrer dans l'enceinte, et marchant pieds nus, ils baisent la porte et les murs; ils croient par là s'assurer la protection du saint dont le couvent porte le nom. S'il leur arrive, pendant une maladie, de voir en rêve quelque monastère, ils ne sont pas plutôt guéris qu'ils vont le visiter, et y porter des offrandes d'encens, de cire, de miel ou de quelque autre chose. Ils y demeurent environ un quart d'heure, et en baisent de nouveau les murailles avant de se retirer. Ils ne font aucune difficulté de baiser les mains du patriarche ou de l'évêque, qui est supérieur du monastère. Quand aux mosquées des Turcs, ils s'abstiennent d'y entrer.

Les Yézidis reconnaissent pour chef de leur religion le scheikh qui gouverne la tribu à laquelle est confiée la garde du tombeau du scheikh Adi, restaurateur de leur secte. Ce tombeau se trouve dans la juridiction du prince d'Amadia. Le chef de cette tribu doit toujours être pris

parmi les descendans du scheikh Yézid: il est confirmé dans sa place, sur la demande des Yézidis et moyennant un présent de quelques bourses, par le prince d'Amadia. Le respect, que ces sectaires portent au chef de leur religion, est si grand, qu'ils s'estiment très heureux quand ils peuvent obtenir une de ses vieilles chemises pour leur servir de linceul; ils croient que cela leur assure une place plus avantageuse dans l'autre monde. Quelques-uns donnent jusqu'à quarante piastres pour une semblable relique, et s'ils ne peuvent l'obtenir toute entière, ils se contentent d'en avoir une portion. Quelquefois le scheikh lui-même envoie une de ses chemises en présent. Les Yézidis font passer secrètement à ce chef suprême une portion de tous leurs brigandages pour l'indemniser de dépenses que lui occasionne l'hospitalité qu'il exerce envers ceux de sa secte.

Le chef des Yézidis a toujours près de lui un autre personnage qu'ils appellent *kotchek*, et sans le conseil duquel il n'entreprend rien. Celui-ci est regardé comme l'oracle du chef, parce qu'il a le privilège de recevoir immédiatement des révélations du Diable. Aussi quand un Yézidi hésite s'il doit entreprendre quelque affaire importante il va trouver le *kotchek*, et lui demander un avis qu'il n'obtient point néanmoins sans qu'il lui en coûte quelque argent. Avant de satisfaire à la consultation, le *kotchek* pour donner plus de poids à sa réponse, s'étend tout de son long par terre, et se couvrant il dort, ou fait semblant de dormir, après quoi il dit qu'il lui a été révélé pendant son sommeil telle ou telle décision: quelquefois il prend

un délai de deux ou trois nuits, pour donner sa réponse. L'exemple suivant fera voir combien est grande la confiance que l'on a en ses révélations. Jusqu'à il y a environ quarante ans, les femmes des Yézidis portaient comme les femmes Arabes, afin d'épargner le savon, des chemises bleues teintes avec l'indigo. Un matin, lorsque l'on s'y attendoit le moins, le kotchek alla trouver le chef de la secte, et lui déclara que pendant la nuit précédente il lui avait été révélé, que le bleu étoit une couleur de mauvais augure et qui déplaisoit au diable. Il n'en fallut pas davantage pour que l'on envoyât sur le champ à toutes les tribus par des exprès l'ordre de proscrire la couleur bleue, de se défaire de tous les vêtements qui étoient de cette couleur, et d'y substituer des habits blancs. Cet ordre fut exécuté avec une telle exactitude, que si aujourd'hui un Yézidi se trouvant logé chez un Turc ou chez un Chrétien, on lui donnoit une couverture de lit bleue, il dormiroit plutôt avec ses seuls vêtements, que de faire usage de cette couverture, fût ce même dans la saison la plus froide.

Il est défendu aux Yézidis d'ajuster leurs moustaches avec des ciseaux, ils doivent les laisser croître naturellement; aussi y en a-t-il parmi eux dont on aperçoit à peine la bouche.

Cette secte a aussi ses satrapes, qui sont connus du côté d'Alep sous le nom de *fakiran*, et que le vulgaire appelle *karabasche*, parce qu'il portent sur la tête un *bonnet noir* avec des bandelettes de même couleur. Leur man-

teau ou *aba* est pareillement noir, mais leurs habits de dessus sont blancs. Ces gens-là sont en très petit nombre; partout où ils vont, on leur baise les mains, et on les reçoit comme des ministres de bénédiction, et de présages de bonne fortune.

Quand on les appelle auprès d'un malade, ils lui imposent les mains sur le cou et sur les épaules, et sont bien récompensés de leurs peines. Si ils sont mandés pour assurer à un mort le bonheur dans l'autre monde avant de vêtir le cadavre, ils le dressent sur ses pieds, et lui touchent légèrement le cou et les épaules; ensuite ils le frappent de la paume de la main droite, lui adressant en même temps ces mots en langue kurde, *ara bêhescht*, c'est-à-dire, *vas en paradis*. Ils sont chèrement payés pour cette cérémonie, et ne se contentent point d'une modique rétribution.

Les Yézidis croient que les âmes des morts vont dans un lieu de repos où elles jouissent d'un degré de félicité plus ou moins grand, en proportion de leurs mérites; et qu'elles apparoissent quelquefois en songe à leurs parents et à leurs amis, pour leur donner avis de ce qu'elles désirent. Cette croyance leur est commune, avec les Turcs. Ils sont persuadés aussi qu'au jour du jugement universel, ils s'introduiront dans le paradis, les armes à la main.

Les Yézidis sont partagés en plusieurs peuplades ou tribus, indépendantes les unes des autres. Le chef suprême de leur secte n'a d'autorité, pour le temporel, que sur sa seule tribu: néanmoins, lorsque plusieurs tribus sont en différent les unes avec les autres, il est de son devoir

d'employer sa médiation pour les consilier, et il est rare qui les efforts qu'il fait pour cela ne soient pas couronnés d'un heureux succès. Quelques-unes de leurs tribus demeurent dans les domaines du prince de Gioulemerk, d'autres dans le territoire du prince le Gézirèk; il y en a que font leur résidence dans les montagnes dépendantes du gouvernement de Diarbékir, d'autres sont dans le ressort du prince d'Amadia. Du nombre de ces dernières est la plus noble de toutes les tribus, qui est connue sous le nom de *scheikhan*, et dont le scheikh, qu'ils appellent *mir*, c'est-à-dire *prince*, est le chef suprême de la religion, et le gardien du tombeau du scheikh Adi. Les chefs des villages occupés par cette tribu descendent tous d'une même famille, et pourroient se disputer la primatie si il survenoit entre eux quelque division. Cependant entre toutes leurs peuplades, la plus puissante et la plus redoutable est celle qui habite la montagne de Singiar entre Moussol et le fleuve Khabour, et qui est divisée entre deux scheikhs, dont l'un commande à la partie du Levant, et l'autre à celle du Midi. La montagne du Singiar fertile en diverses sortes de fruits, est d'un accès très difficile, et la peuplade qui l'occupe met sur pied plus de six mille fusiliers, sans compter la cavalerie armée de lances. Il ne se passe guère d'année, que quelque grosse caravane ne soit dépouillée par cette tribu. Les Yézidis de cette montagne ont soutenu plusieurs guerres contre les pachas de Moussol et de Bagdad; dans ces occasions, après qu'il y a eu beaucoup de sang répandu de part et d'autre, le tout

finit par s'arranger moyennant de l'argent. Ces Yézidis sont redoutés en tout lieu, à cause de leur cruauté; lorsqu'ils exercent leurs brigandages armés ils ne se bornent pas à dépouiller les personnes qui tombent entre leurs mains, ils les tuent toutes sans exception; si dans le nombre ils se trouvent des *scherifs*, descendants de Mahomet ou des docteurs musulmans, ils les font périr d'une manière plus barbare, et avec plus de plaisir, croyant acquérir par-là un peus grand mérite.

Le Grand-Seigneur tolère les Yézidis dans ses états, parce que, suivant l'opinion des docteurs mahométans, l'on doit considérer comme fidèle et vrai croyant, tout homme qui fait profession des dogmes fondamentaux, *il n'y a point d'autre dieu que dieu, et Mahomet est l'apôtre de dieu*, quoique d'ailleurs il manque à tous les autres préceptes de la loi musulmane.

D'un autre côté, les princes kurdes souffrent les Yézidis pour leur intérêt particulier: ils tâchent même d'attirer un plus grand nombre de tribus de cette nation dans leurs domaines; car les Yézidis étant d'un courage à toute épreuve bons soldats tant de pied que de cheval, et très propres à faire un coup de main et à piller de nuit les campagnes et les villages, ces princes s'en servent avec beaucoup d'avantages, soit pour reduire celles des tribus mahométanes de leur ressort qui leur refusent l'obéissance, soit pour combattre les autres princes, quand ils sont en guerre avec eux. D'ailleurs les Mahométans sont dans la ferme persuasion que tout homme qui périt de la main

de ces sectaires, meurt martyr; aussi le prince d'Amadia a-t-il soin de tenir toujours auprès de lui un bourreau de cette nation, pour exécuter les sentences de mort contre les Turcs. Les Yézidis ont la même opinion relativement aux Turcs, et la chose est réciproque; si un Turc tue un Yézidi, il fait une action très agréable à dieu, et si un Yézidi tue un Turc, il fait une œuvre très méritoire aux yeux du *grand scheikh*, c'est-à-dire du diable. Lorsque le bourreau d'Amadia est demeuré quelques années au service du prince, il quitte son emploi, afin qu'un autre puisse, en lui succédant acquérir le même mérite; et en quelque lieu que le bourreau, après avoir résigné cette charge, se présente chez les Yézidis, on le reçoit avec vénération, et on baise ses mains, sanctifiées par le sang des Turcs.

Les Persans au contraire, et tous les Mahométans attachés à la secte d'Alí, ne souffrent point de Yézidis, dans leurs états; bien plus; il est défendu parmi eux de laisser la vie à ces sectaires.

Il est permis aux Turcs, lorsqu'ils sont en guerre avec les Yézidis, de faire esclaves leurs femmes et leurs enfants, et de les garder pour leur propre usage, ou de les vendre; les Yézidis n'ayant pas la même permission à l'égard des Turcs font tout périr. Si un Yézidi veut se faire Turc, il suffit, pour toute profession de foi, qu'il maudisse le Diable, et ensuite qu'il apprenne à son aise à faire les prières à la manière des Turcs: car les Yézidis reçoivent la circoncision huit jours après leur naissance.

Tous les Yézidis parlent la langue kurde; il en a parmi eux qui savent le turc ou l'arabe, parce qu'ils ont souvent occasion de fréquenter des personnes qui parlent l'une ou l'autre de ces langues, et à cause de l'avantage qu'ils trouvent à traiter leur propres affaires avec plus de sûreté, en ne se servant point d'interprètes.

Sans doute les Yézidis ont bien d'autres erreurs ou superstitions, mais comme ils n'ont aucun livre, celles que j'ai exposées sont les seules dont j'aie pu me procurer la connaissance. D'ailleurs beaucoup de choses, chez eux, sont sujettes à changer, en consequence des prétendues révélations de leur *kotchek*, ce qui augmente la difficulté de connoître à fond leur doctrine.



## Маршрут от Тифлиса до Арзрума

Телеты	— 14	верст	
Қоды	— 11	»	
Больш. Шулаверы	— 27	»	
Пост Самисы	— 20	»	
Пост Акзибеук	— 19 $\frac{1}{2}$	»	
Укрепл. Джелал-Оглу	— 19 $\frac{1}{2}$	»	
Гергерский пост	— 13	»	} переезд чер(ез) Безобдал
Қишлякский	— 16	»	
Амамлы	— 13	»	
Бекант	— 15	»	
Укрепл. Гумры	— 27	»	
Сел. Джамумлы	— 28	»	
Сел. Халив-Оглы	— 18 $\frac{1}{2}$	»	
Қарс	— 21	»	Другая дорога от Қарса чрез Мил- ли-дюз до Кебри- кёва
Сел. Қотанлы	— 24	»	Сел. Қотанлы — 24 версты
Разв(алины) Чирихли	— 22	»	Ур(очище) Дели-Му- са-Пуруп—30 верст

Речка Инжа-су (где был лагерь наш с 14-го по 18-е июня на вершине Саганлуга) речка Гункер-су	— 12	»	Разв(алины) Караван-Сарая на вершине Саганлугских гор—12верст Ур(очище) Милли-Дюз, где был лагерь Гакки-Паши—7
Загин-су	— 13	»	Замок Минджегерт—9
	— 16	»	Р(ека) Чермик, при которой теплые железные воды—10½
Замок Зивин	— 12	»	Дер. Хоросан—12
Сел. Ардос	— 24	»	Дер. Кеприкёв—25
Сел. Кеприкёв (мост на Араксе)	— 26	»	
Дер. Гассан-Кала	— 14½	»	
Арзрум	— 35	»	



# КОММЕНТАРИИ

## Повести

〈Арап Петра Великого〉

Печатается по автографу (беловому, с поправками) *ЛБ* (тетрадь № 2378, на 45 листах) и *ПД* (листы, вырезанные из тетради № 2378 самим Пушкиным и переданные для публикации в «Северные Цветы на 1829 г.»). Часть главы IV, не сохранившаяся в автографе, печатается по «Северным Цветам», а несколько последних строк главы седьмой, отсутствующие в беловом автографе (от слов «В это время защелка двери его приподнялась...»), печатаются по черновику этой главы (*ПД*, собрание А. Ф. Онегина). Черновые наброски первых шести глав частично сохранились в *ЛБ* (тетради № 2367, лл. 60 об.—61 и № 2368, лл. 21 об.—29 об.). Самим Пушкиным опубликовано только две главы (обе не полностью): одна—под названием «IV глава из исторического романа»—в «Северных Цветах на 1829 г.», стр. 111—124 (без подписи, но имя Пушкина указано в оглавлении), другая—под названием «Ассамблея при Петре I» (глава III, от слов «В большой комнате, освещенной сальными свечами...»)—в «Литературной Газете» от 1 марта 1830 года, № 13, стр. 99—100, без имени автора. Под названием «Две главы из исторического романа. 1. Ассамблея при Петре Первом, 2. Обед русского боярина» перепечатано в «Повестях, изданных Александром Пушкиным», СПб. 1834. Сокращения и изменения первопечатных текстов,

обусловленные превращением в самостоятельные историко-бытовые картины эпизодов большого романа, в основном тексте нами не учитываются. Впервые опубликовано по рукописи в «Современнике» 1837, т. VI, стр. 97—145, с заголовком «Арап Петра Великого», утвердившимся во всех последующих изданиях. (Самим Пушкиным роман никак не был озаглавлен.) Важнейшие из пропусков и ошибок этой публикации отмечены были П. И. Бартеневым («Русский Архив» 1881, № 3, стр. 466—469) и В. Е. Якушкиным («Русская Старина» 1884, № 11, стр. 335—337); черновой автограф VII главы опубликован впервые в сборнике «Неизданный Пушкин», П. 1922, стр. 148—151.

Перебеляя написанную часть романа в особую тетрадь (ЛБ, № 2378), Пушкин выписал на первом листе ряд цитат, предназначавшихся для эпитафий к первым главам:

(1)

Я тебе жену добуду  
Иль я мельником не буду.  
*Аблесимов, в опере Мельник.*

(2)

Уж стол покрыт, уж он рядами  
Несчетных блюд отягощен.  
*(Баратынский.)*

(3)

Железной волею Петра  
Преображенная Россия.  
*(Языков.)*

(4)

Как облака на небе,  
Так мысли в нас меняют легкий образ.  
Что любим днесь, то завтра ненавидим.  
*(Кюхельбекер.)*

Не сильно нежит красота,  
 Не столько восхищает радость,  
 Не столько легкомыслен ум,  
 Не столько я благополучен...  
 Желанием честей размучен,  
 Зовет, я слышу, славы шум!

*Державин.*

Время работы Пушкина над первым его романом определяется на основании следующих данных: 31 июля 1827 года, вскоре после возвращения своего в Михайловское после шумной жизни в Петербурге и Москве, он писал А. А. Дельвигу: «Я в деревне и надеюсь много писать... Вдохновения еще нет, покамест принялся я за прозу». О том, что «прозой» этой был «Арап Петра Великого», свидетельствуют, во-первых, отметки в черновиках последнего («31 июля» в главе I и «10 августа» в главе III) и, во-вторых, запись в дневнике А. Н. Вульфа, которому Пушкин 15 сентября 1827 года показал в Михайловском «только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет—как Пушкин говорит—неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь» (Л. Майков, «Пушкин», СПб. 1899, стр. 177).

Историко-политические установки романа определялись образом императора Петра, царя-реформатора, человека мощной воли и кипучей энергии, просвещенного борца с отсталостью, косностью и предрассудками, «гражданина на престоле».

Материалы об Абраме Петровиче Ганнибале впервые использованы были Пушкиным в печати еще в конце

1824 года, в примечании к строфе L первой главы «Евгения Онегина». Краткая биографическая справка о нем завершалась здесь строками: «В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям. Мы со временем надеемся издать полную его биографию». Михайловские предания (а может быть, и песни дворни) получают отражение и в стихотворной записи Пушкина, датированной осенью 1824 года:

Как жениться задумал царской арап,  
Меж боярынь арап похаживает,  
На боярышен арап поглядывает.  
Что выбрал арап себе сударушку,  
Черный ворон белую лебедушку.  
А как он арап чернешенек,  
А она-то душа—белешенька...

Пушкина одинаково занимала в эту пору и популяризация исторического Абрама Ганнибала, и возможность художественного воплощения этого образа. В первой половине февраля 1825 года, услышав о работе Рылеева над «Мазепой», Пушкин писал брату Льву: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы».

В письме к П. А. Осиповой от 11 августа 1825 года Пушкин упоминает о своих надеждах на получение от П. А. Ганнибала каких-то записок, относящихся к его предку («des mémoires concernant mon aïeul»). Речь шла, вероятно, о старинном немецком рукописном жизнеописании А. П. Ганнибала, хранящемся ныне в архиве Пушкина, вместе с набросками собственноручного его перевода ее на русский язык (ЛБ, тетрадь № 2387 А; см. «Рукою Пушкина» 1935, стр. 34—49). Именно эти материалы об А. П. Ганнибале положены были Пуш-

киным в основание художественной биографии его в «Арапе Петра Великого» (1827) и в краткой исторической справке о нем же в «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» (1834—1835).

В последней статье Пушкин выдвинул и эпизод, положенный в 1827 году в основу фабулы «Арапа», но в немецкой биографии генерала Ганнибала, по понятным соображениям, замолчанный: «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин.<sup>1</sup> Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре».

Эта же трагическая эпопея запечатлена и в исчерпанном наброске, который предназначался Пушкиным, вероятно, для предисловия к «Арапу Петра Великого» (автограф ПД; впервые опубликован в сборнике «Неизданный Пушкин», СПб. 1922, стр. 152): «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: воображал беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное доверчивое ожидание мужа. Наконец, час родов наступает. Муж присутствует при муках милой изменницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу—и остается неподвижен...»

Приурочивая «семейственную» трагедию Ганнибала к петровской эпохе, Пушкин несколько изменял документальную биографию «арапа». Последний возвратился из Парижа в Петербург в 1722 году, а женился только в 1731, т. е. через шесть лет после смерти Петра, причем

---

<sup>1</sup> «Прадед мой Александр Петрович,—отмечал Пушкин выше,—умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах». В «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» о нем же Пушкин писал несколько подробнее, отмечая, что «он умер... в заточении, в припадке ревности или сумасшествия зарезав свою жену» (1830).

женой его была вовсе не русская боярышня (как в романе), а дочь капитана галерного флота, гречанка Евдокия Диопер. Характерно, однако, что и смещая хронологию и изменяя социальный облик героини романа, Пушкин всё же не выходил в нем за пределы своих семейных преданий и только контаминировал материалы о Ганнибале с данными о других своих предках—Пушкиных. Так, А. П. Пушкин, убивший свою жену (из боярского рода Головиных) в год смерти Петра, был женат на ней с 1722 г., а на родовой Ржевской (фамилию эту носит в романе будущая жена арапа) женат был не Ганнибал, а другой прадед поэта—А. Ф. Пушкин.<sup>1</sup> Вся история сватовства Ганнибала и участия в его женитьбе императора Петра построена была Пушкиным в романе на основании материала двух исторических анекдотов, рассказанных Голиковым в «Деяниях Петра Великого». Мы имеем в виду анекдоты XXXI и XCIX («Щедрость монарха в награждении заслуг» и «Монарх издевается над старинною спесью боярскою»). Первый из них посвящен был истории женитьбы царского денщика Румянцева на дочери графа Матвеева. Как и в романе Пушкина, Петру принадлежала в этом анекдоте самая инициатива сватовства, а роли Ржевских и Ибрагима размещены были между Матвеевыми и Румянцевым. (Ср., напр., описание визита Петра к Ржевским и сле-

---

<sup>1</sup> Исторической является в романе не только фамилия Ржевских, но и все попутно упоминаемые в главах IV и V фамилии их родных и знакомых. Князя *Бориса Алексеевича* Лыкова не существовало, но зато известны были в XVII в. боярин князь *Борис* Михайлович Лыков и стольник *Алексей* Алексеевич Лыков; пресекая этот род в 1701 г. При дворе и в армии Петра были и Шеины, и Львовы, и Рагузинские, и Троекуровы; старинный род Милославских угас только в 1791 г.; из князей Елецких один был в 1718 г. в числе узников Петропавловской крепости.

дующие строки анекдота: «Монарх приехал к графу Матвееву и сказал хозяину: «У тебя есть невеста, а я привез ей жениха». Толикая нечаянность смутила крайне отца, потому паче, что казался ему жених недостойным дочери его, яко не из рдословных бояр. Монарх, тотчас проникши в мысль его, сказал: «Ты знаешь, что я его люблю, и что в моей власти соравнять его с самыми знатнейшими». Нечего было делать, как согласиться на желание такого свата».) Из второго анекдота заимствована была Пушкиным концовка главы пятой: «В одно время великий государь любимому денщику своему Павлу Ивановичу Ягушинскому сказал: «Хочешь ли, Ягушинский, нынешний день получить знатный подарок? Так слушай же: старик Репнин ныне недомогает; поезжай к нему и спроси от меня о здоровьи, но умей угодить старинной его боярской суетности: оставь лошадь у ворот и взойди на двор пеший и без шляпы...» и пр. Господин Ягушинский точно поступил по предписанию сему. Старик хвалил его за всё, и что он умеет почитать людей старых и заслуженных, а его величество крайне смеялся суетности стариков, боярством и родом своим толико зараженных». (Ср. в «Арапе Петра Великого»: «Всё, брат, кончено,—сказал Петр, взяв его под руку:—я тебя со сватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь: оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах и знатности—и он будет от тебя без памяти».—Глава V.)

К историческим анекдотам в «Деяниях Петра Великого» восходили в романе Пушкина не только детали характеристики Петра и Ганнибала, но и данные о парижском приятеле последнего, Корсакове. Воин Яковлевич Римский-Корсаков (1702—1757), посланный Петром в 1716 году во Францию для усовершенствования в науках, учился и служил в Тулоне, а летом 1724 года возвратился в Петербург. С его слов записан был Голиковым анекдот СІХ («Монарх не терпит расточения и никаких излишеств в подданных своих»). Приводим этот

анекдот, использованный Пушкиным в главе III романа: «Воин Яковлевич Корсаков, в молодых годах посланный от него во Францию курьером, по возвращении своем явился к монарху, имея на себе нижнее платье бархатное. Великий государь, расспрося его о всем, что было нужно в отношении посылки его, сказал: «Корсаков! штаны-то на тебе такие, каких не носит и государь твой. Смотри, чтоб я с тобою не побранился; это пахнет мотовством; я ведь знаю, что ты не богат». Но если не терпел он мотов, то еще несноснее казались ему так называемые петиметры, которых почитал он за людей ни к чему не способных и не годных». (Ср. в «Арапе»: «Послушай, Корсаков,—сказал ему Петр,—штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство: смотри, чтоб я с тобой не побранился».—Глава III.)

Печатаая в «Литературной Газете» 1830 года отрывок из своего романа («Ассамблея при Петре I»), Пушкин в беглом примечании сам счел необходимым назвать литературные источники, к которым восходили историко-бытовые детали его повествования: «См. Голикова и Русскую Старину». Материал, заимствованный из «Деяний Петра Великого», нами отмечен был выше. Глухая же ссылка на «Русскую Старину» имела в виду исторические очерки, помещенные в этом альманахе декабристом А. О. Корниловичем, имя которого в 1830 году нельзя было прямо назвать в печати. Вся первая часть «Русской Старины, карманной книжки для любителей отечественного, на 1825 год», изданной А. Корниловичем, посвящена была «Нравам русских при Петре I» (стр. 1—168) и состояла из четырех очерков: 1) «О частной жизни императора Петра I»; 2) «Об увеселениях русского двора при Петре I»; 3) «О первых балах в России»; 4) «О частной жизни русских при Петре I».

Особенно широко использовал Пушкин в своем романе фактические данные очерков первого и третьего, в которых А. О. Корниловичем объединен был огром-

ный историко-бытовой материал о Петре Великом, восходящий частью к архивным источникам, частью к западноевропейской мемуарной и анекдотической литературе.

Как и статья «О первых балах в России», явившаяся основным сводом материалов для Пушкинских сцен «Ассамблеи при Петре I», очерк А. О. Корниловича «О частной жизни императора Петра I» должен был привлечь внимание Пушкина не только богатством и свежестью своих фактических данных, но и литературно-политическими установками автора. Тенденция А. О. Корниловича показать «не повелителя многочисленного народа, а гражданина, в домашнем быту, посреди его семейства» («Русская Старина» 1825, стр. 2) необычайно была близка и Пушкину. Работая над «Арапом Петра Великого», он свое понимание задач исторического романиста проверял на материале и методах Вальтер Скотта: «Главная прелесть романов В. Скотта,—писал Пушкин в 1829—1830 году,—состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с *enflure* (напыщенностью) французских трагедий, не с чопорностью чувствительных романов, не с *dignité* (достоинством) истории, но современно, но домашним образом. Шекспир, Гете, Вальтер Скотт не имеют холопского пристрастия к королям и героям. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих *la dignité et la noblesse* (достоинство и благородство). *Ils sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecté, de théâtral même dans les circonstances solennelles—car les grandes circonstances leur sont familières*».<sup>1</sup>

Весною 1828 года Пушкин читал первые главы ро-

---

<sup>1</sup> Они просты в повседневных случаях жизни, в их речах нет ничего приподнятого, театрального, даже в торжественных обстоятельствах, так как великие события для них привычны.

мана своим петербургским друзьям. 24 марта 1828 года П. А. Вяземский писал из С.-Петербурга И. И. Дмитриеву: «Пушкин читал нам несколько глав романа своего в прозе: герой—дед его Аннибал; между действующими лицами рисуется богатырское лицо Петра Великого, кажется, верно и живо схваченное, судя, по крайней мере, по первым очеркам. Описание петербургского бала и обеда в царствование Петра ярко и натурально» («Русский Архив» 1866, стб. 1716). Об одном из следующих чтений П. А. Вяземский писал 18 апреля 1828 года А. И. Тургеневу: «Пушкин читал нам на-днях у Жуковского несколько глав романа в прозе, à la Walter Scott, о деду своем Аннибале. Тут является и Петр. Много верности и живописи и живости в нравах и в рассказе. Должно желать, чтобы он продолжал его» («Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским», т. I, 1921, стр. 65).

К началу мая 1828 года относится запись в дневнике Б. М. Федорова о беседе его с Пушкиным о Петре и материалах А. О. Корниловича («А. С. Пушкин», изд. журнала «Русский Библиофил», 1911, стр. 35), после чего ни прямых, ни косвенных свидетельств о работе над «Арапом Петра Великого» до нас уже не дошло. Однако, если мы обратимся к творческому календарю Пушкина, то причины, обусловившие задержку «Арапа», определяются довольно точно: апрелем 1828 года датируются первые наброски «Полтавы», замысел которой как героической поэмы о Петре родился и оформился в процессе собирания и изучения материалов для романа о Петре и Ганнибале. Работа над «Полтавой» и седьмой главою «Евгения Онегина» в 1828 году, «Путешествие в Арзрум» и целый ряд задуманных в 1829 году повестей из современного быта надолго задержали окончание «Арапа». Между тем, русский исторический роман вальтер-скоттовского типа, проблема создания которого была столь актуальна в 1827—1828 годах, когда Пушкин приступал к своему «Арапу», к концу 1829 года был представлен

уже двумя законченными образцами: «Юрием Милославским» Загоскина и «Димитрием Самозванцем» Булгарина. Несмотря на всё несовершенство этих романов, успех их был исключителен. Пушкин приветствовал «Юрия Милославского» большой рецензией, в которой формулировал свое понимание исторического романа и дал едкую характеристику русских и французских эпитонов Вальтер Скотта. На некоторое время «Арап Петра Великого» был вновь отложен, но от окончания романа Пушкин, видимо, не отказывался. Об этом свидетельствуют его попытки переработки рукописи даже после того, как самая фабула его недописанного романа неожиданно была скомпрометирована Булгариным. Мы имеем в виду известный фельетон последнего в «Северной Пчеле» от 7 августа 1830 года, № 94 («Второе письмо из Карлова на Каменный Остров»), в котором против Пушкина направлены были следующие строки: «Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц. В ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра... и что шкипер доказывал, что он купил негра за бутылку рома...» и пр.

Пушкин очень болезненно реагировал на Булгаринский анекдот, ответом на который в том же 1830 году явились и заключительные строфы «Моей родословной» («Решил Фиглярин, сидя дома, / Что черный дед мой Ганнибал / Был куплен за бутылку рома / И в руки шкиперу попал...» и пр.) и страницы «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений»: «В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его и проч.,—был куплен за бутылку рому.—Прадед мой, если был куплен, то вероятно дешево, но достался он шкиперу, коего имя

всякой русской произносит с уважением и не все...» и пр. Об окончании «Арапа Петра Великого» после выступления Булгарина не могло быть и речи (характерно для Пушкина изъятие после статьи в «Северной Пчеле» даже примечания о Ганнибале из новых изданий «Евгения Онегина»). Для спасения материала написанных глав приходилось перестроить роман так, чтобы в интриге его история «арапа» не играла уже никакой роли. План такой перестройки романа, переносящий время его действия к годам правления царевны Софии и первого стрельцкого бунта, сохранился в той же тетради, в которой переписаны были начальные главы «Арапа Петра Великого» (см. о нем далее). Не использованные же в этом плане детали первой главы брошенного романа частично утилизируются в набросках комедии начала 30-х годов—«Через неделю буду в Париже» (диалог «графини», забеременевшей в отсутствие своего мужа, и Дорвиля (Мервиля), ее любовника), а строки главы второй о «новорожденной столице, которая подымалась из болота по манию самодержавия...» и пр. ожили в 1833 году во вступлении к «Медному всаднику».

## Г л а в а I

10. *Герцог Орлеанский*—герцог Филипп Орлеанский, регент Франции с 1715 по 1723 г.; *Laws*—Ло, Джон (1671—1729), финансовый делец и прожектор, организатор «Генерального банка» в Париже.

11. *Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин...*—*Ришелье*, Арман-Дюплесси (1698—1788)—маршал Франции, веселый прожигатель жизни, один из наиболее ярких представителей двора Людовика XV.

— *«Tempt fortuné, marqué par la licence...»*—цитата из «Орлеанской девственницы» Вольтера, песнь XIII.

12. *...он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтеские и Фонтенеля...*—*Жан-Мари Аруэ*—Вольтер;

*Шолье*, Гильом (1639—1720)—поэт, автор фривольных песенок и посланий; *Монтескье*, Шарль-Луи (1689—1755)—политический публицист и сатирик, автор «Персидских писем» и «Духа законов»; *Фонтенель*, Бернарле-Бувье (1657—1757)—ученый и публицист, автор известных «Разговоров о множественности миров».

12. *Ибрагима представил ей молодой Мервиль, считаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.*—Далее в рукописи зачеркнуто: «Графиню почитают, сказал он Ибрагиму, женщиной умной и холодной, имеющей любовников от нечего делать. Это мнение несправедливо. Она проста, имеет пылкие чувства, и любовь главное дело ее жизни. В обществе она рассеяна и ленива; это придает какую-то заманчивость ее словам. Ее странные вопросы, загадочные ответы вольно принимать за эпиграмматические выходки или за глупости. Мы, т. е. близкие ее приятели, из дружбы прославили ее оригинальность и остроту. Впрочем, она женщина самая добрая, самая милая. Познакомьтесь с нею короче: вы ее полюбите и удостоверитесь, что ограниченность ее ума почти незаметна от избытка простодушия и чувствительности».

## Г л а в а II

22. *Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.*—Далее зачеркнуто: «Целый день он думал о графине Д., следовал сердцем за нею, казалось, был свидетелем каждого ее движения, каждой ее мысли. В часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней, входил в ее комнату, садился подле нее, разговаривал с нею,—и мечтание постепенно становилось так сильно, так ощутительно, что он совершенно забывался».

24. *Петр... вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и*

*веселостью...*—Пушкин имел, вероятно, в виду анекдот, внесенный им впоследствии в «Table-talk»: «Однажды маленький арап, сопровождавший Петра I в его прогулке, остановился за некоторой нуждой...» и пр. (см. т. IX).

25. *...ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом...*—Брюс, Яков Вилимович (1670—1735)—генерал-фельдцейхмейстер, сын шотландца русской службы, математик, астроном и натуралист, составитель первых русских печатных календарей, пользовавшийся репутацией чернокнижника и колдуна.

### Г л а в а III

26. *На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном.*—В Пушкинском переводе немецкой биографии Ганнибала этим строкам соответствовало: «Государь... сделал его (28 лет) бомбардирской роты л.-г. Преображенского полка, коего полка сам Петр был капитаном,—капитан-лейтенантом, в коем чине мог он государя всегда видеть без доклада». Это же место почти без перемен вошло в «Родословную Пушкиных и Ганнибалов». Судя по документальным данным, Абрам Ганнибал был назначен, на основании собственноручного указа Петра I от 4 февраля 1724 года, не капитаном, а поручиком бомбардирской роты Преображенского полка («Пушкин и его современники», вып. XVII—XVIII, 1913, стр. 217).

— *Надменный князь Меншиков дружески позжал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать.*—Князь Меншиков, Александр Данилович (1670—1729)—генерал-фельдмаршал, фаворит Петра I (см. упоминание о нем в «Полтаве»: «Счастья баловень безродный / Полудержавный властелин»); граф Шереметев, Борис Петрович (1652—1719)—

генерал-фельдмаршал; *Головин*, Иван Михайлович (16..—1737)—генерал кригс-комиссар.

27. *Ибрагим видел Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким...*—*Бутурлин*, Иван Иванович (1661—1738)—генерал-аншеф, член военной коллегии, принимавший руководящее участие в крупнейших военно-судных процессах; князь *Долгорукий*, Яков Федорович (1639—1720)—сенатор, председатель ревизион-коллегии, известный своей независимостью и прямою. (См. о нем в «Table-talk» «Славный анекдот об указе, разорванном князем Яковом Долгоруким, рассказан у Голикова ошибочно...» и пр.). О спорах Бутурлина и Долгорукого с Петром см. в «Русской Старине» очерк А. Корниловича, СПб. 1825, стр. 21—23.

— *...видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем...*—*Феофан Прокопович* (1681—1736)—архиепископ Новгородский, ближайший сотрудник Петра по делам церковного управления, известный своим свободомыслием и борьбой с схоластикой и догматизмом; *Гавриил Бужинский* (1680—1731)—овер-иеромонах флота, директор всех московских и петербургских типографий, переводчик многих исторических работ и публицистических трактатов; *Копиевич*, Илья Федорович (умер около 1707 года)—лютеранский пастор, родом белорусс, организатор русской типографии в Амстердаме, переводчик и составитель учебников. В 1834 году Пушкин упомянул этих сподвижников Петра в «Путешествии из Москвы в Петербург»: «Петр Великий бросил на словесность взор рассеянный, но пронизательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича...»

29. *...государь престранный человек, вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб сделать приличный реверанс...*—Эпизод этот основан на рассказе А. О. Корниловича о приеме Петром бренденбургского посла фон-Принца:

«Аудиенция сия была верно единственная в своем роде. Посланник, не полагая, чтоб государь вставал так рано, думал, что не опоздает, явившись во дворец в пять; но уже не застал Петра. Он был на верфи и работал на марсе какого-то военного корабля. Фон-Принц... принужден был отправиться вслед за ним в адмиралтейство. «Пусть побеспокоится взойти сюда, если не умел найти меня в назначенный час в аудиенц-зале», сказал Петр, когда ему доложили о приезде. Посланник принужден был по веревочной лестнице взбираться на грот-мачту, и государь, сев на бревно, принял от него верующую грамату и обыкновенные при подобных случаях приветствия под открытым небом, на корабельном марсе» («Русская Старина» 1825, изд. 2-е, стр. 24—26).

#### Г л а в а IV

39. ...в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранный цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие. «Здравствуй, Екимовна»,—сказал князь Лыков...—Строки эти восходят к материалам А. О. Корниловича «Об увеселениях русского двора при Петре I»: «В праздничные дни, или когда случались гости, дура, разряженная как 18-летняя девушка, забавляла собрание прыжками, кривляньем и пеньем. Преимущественно старались выбирать для сего старых женщин, полагая, что чем дура старше, тем она охотнее к рассказам и тем забавнее в пляске...» («Русская Старина» 1825, изд. 2-е, стр. 97—98).

41—42. Ох, уж эти мне ассамблеи!.. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами?—Строки эти восходят к очерку А. О. Корниловича «О первых балах в России»: «Матушки, воспитанные по старине, неохотно повиновались воле государевой и жаловались на развращенное время, в ко-

торое девушкам позволялось, не краснея, разговаривать и даже (чего боже сохрани) прыгать с молодыми мужчинами» («Русская Старина», стр. 102).

45. ...о походе 1701 года.— Занятие шведской армией Курляндии и Польши после разгрома русских под Нарвою в 1700 году.

## Г л а в а V

53. *От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностию и снисхождением.*—Строки эти очень близки позднему письму Пушкина от 5 апреля 1830 года к матери его невесты: «Привычка и долгая близость одни могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться привязать ее к себе с течением долгого времени,—но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку,—я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца». (Подлинник по-французски.)

54. Зачеркнутое окончание главы пятой: «На другой день, следуя во всем советам государя, приехал он к Гав(риилу) Аф(анасьевичу) и был принят как жених, хоть и не мог видеть свою невесту. Ему сказали, что она ушиблась, прыгая неосторожно с своими подружками. С тех пор Ибрагим всякой день ездил к своему будущему тестю и своим почтительным и ласковым обхождением, кротким и образованным умом во время болезни Н(атальи) Г(авриловны) снискал не только дружество отца, но и уважение князя Лыкова и благосклонность доброй Татьяны Афанасьевны, которая не раз со вздохом говорила своему брату: лучшего жениха грех нам и желать; а жаль, что он арап».

## Г л а в а VI

57. ...но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...—Строки эти записаны Пушкиным на особом

листе в ряду других занимавших его старинных пословиц и поговорок (см. т. IX). В печатных сборниках пословиц она известна, однако, в другой редакции: «Не твоя печаль кому детей качать».

## Повести покойного Ивана Петровича Белкина

Печатается по изданию «Повести, изданные Александром Пушкиным», СПб. 1834, стр. 3—158, с исправлениями по автографу (ЛБ, папка № 2379). Впервые опубликовано в 1831 году, без имени автора («Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.», СПб. 1831). Все повести писаны во время пребывания Пушкина осенью 1830 года в Болдине. Самая ранняя из них («Станционный смотритель») снабжена в рукописи датой 14 сентября, а последняя («Метель») окончена 20 октября 1830 года. Предисловие же («От издателя»), объединившее повести и связавшее их с именем Белкина, написано было не раньше июля—августа 1831 года (автограф его см. в ЛБ, тетрадь № 2387, лл. 14—19), причем Пушкин широко использовал для него вводную часть брошенной «Истории села Горюхина» (см. далее, стр. 830). О переключении в «Повести Белкина» материала неоконченных повестей 1829 года см. далее. В самом еще начале работы над будущим циклом на листе, занятом планом «Станционного смотрителя», Пушкин набросал перечень задуманных им повестей и пословицу, намеченную, вероятно, эпиграфом ко всему циклу:

[Гробовщик]  
Барышня-крестьянка  
Ст. Смотритель  
Самоубийца  
Зимнее (?) приключ. (?)

А вот то будет, что  
и нас не будет.

П о с л о в и ц а Св(ятогорского)  
и г у(м е н а)

Заголовки двух последних повестей (расшифровка второй весьма условна) соответствовали, вероятно, начальному замыслу «Выстрела» и «Метели».

9 сентября 1830 года, закончив первую из своих повестей, Пушкин писал П. А. Плетневу из Болдина: «Что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь, соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов». 20 октября дописана была последняя повесть цикла («Метель»), но только 9 декабря Пушкин «весьма секретно» осведомил Плетнева о том, что написано им «прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется», но что напечатать повести эти «придется Анопуге: под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает». Перспективы анонимного издания, очевидно, не очень вдохновляли Пушкина, ибо только в феврале 1831 года, извещая Плетнева о своих денежных затруднениях, он предупредил последнего о необходимости приступить к изданию: «Делать нечего: придется печатать мои повести. Перешлю тебе на второй неделе, а к святой и тиснем». В первых числах апреля 1831 года Пушкин читал в Москве свои повести М. П. Погодину («Пушкин и его современники», вып. XXIII—XXIV, 1916, стр. 112), а 3 июля 1831 года, уже из Царского Села, писал Плетневу: «Я переписал мои 5 повестей и предисловие, т. е. сочинения покойника Белкина, славного малого. Что прикажешь с ними делать? Печатать ли нам самим или сторговаться со Смирдиным?»

В этом письме Пушкин впервые фиксировал свое предположение об объединении болдинских повестей образом и именем Белкина. Переключая для этого в

предисловие к «Повестям» художественную биографию Белкина из рукописной «Истории села Горюхина», Пушкин построил всю систему маскировки подлинного автора повестей по методам подобных же мистификаций в вводных очерках и примечаниях «от издателя» в романах Вальтер Скотта,<sup>1</sup> с тою, однако, разницей, что предисловие Пушкина являлось случайной позднейшей надстройкой, композиционной фикцией, а не органической частью повествования.

К июлю—августу 1831 года относится и проект титульного листа повестей (тетрадь № 2387 В, л. 20), в котором намечено было несколько затем измененное название цикла—«Краткие повести покойного И. П. Белкина»—и выписан эпитафия из «Недоросля», сохраненный и в печатной редакции повестей. В это же время (судя по цвету чернил) на обороте обложки «Барышни крестьянки» составлено было Пушкиным оглавление будущей книги и заготовлены эпитафии к повестям:

Предисловие.

Г р о б о в щ и к.

Не зрим ли каждый день гробов,  
Седин дряхлеющей вселенной?

Д е р ж а в и н.

С м о т р и т е л ь.

Коллежский регистратор,  
Почтовой станции диктатор.

К н я з ь В я з е м с к и й.

---

<sup>1</sup> Об этом см. материалы Д. П. Якубовича «Предисловие к повестям Белкина и повествовательные приемы Вальтер Скотта» («Пушкин в мировой литературе», Л. 1928, стр. 160—187).

Барышня крестьянка.

Во всех ты, душенька, нарядах хороша.

Богданович.

Выстрел.

Теперь сходитесь...

«Евг. Онегин».

Метель.

Вдруг метелица кругом,  
Снег валит клоками,  
Черный вран, свистя крылом,  
Вьется над санями.  
Вещий стон гласит печаль...  
Кони торопливы  
Чутко смотрят в темну даль,  
Воздымая гривы...

Жуковский.

В этом плане порядок размещения повестей точно соответствовал датам работы Пушкина над ними, но перед самой сдачей в печать «Выстрел» и «Метель» передвинуты были в начало сборника—с тем, очевидно, расчетом, чтобы последовательность повестей точно соответствовала их внутренней хронологии.

Около 15 августа 1831 года Пушкин отправил рукопись повестей через Гоголя в Петербург Плетневу с просьбой отдать их в цензуру и приступить к изданию. Предисловие в это время еще готово не было, ибо Пушкин обещал его «прислать после». В этом же письме Пушкин предупреждал о необходимости «Смирдину шепнуть мое имя, с тем, чтобы он перешепнул покупателям». 5 сентября 1831 года Плетнев писал Пушкину: «Повести Ив. Петр. Белкина из цензуры получены. Ни перемен, ни откидок не воследовало... Не удержишь ли ты издания присылкой Предисловия и уморительно смешного эпиграфа?» Опасения Плетнева не оправдались, и в конце октября повести вышли в свет.

Очень характерен рассказ П. И. Миллера о его встрече с Пушкиным вскоре после выхода в свет «Повестей Белкина»: «Я и не подозревал, что автор их—он сам».— «Какие это повести? И кто этот Белкин?»—спросил я, заглядывая в книгу. «Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно» («Русский Архив» 1902, кн. III, стр. 234).

Критика встретила «Повести Белкина» очень сдержанно. Псевдоним Пушкина был разгадан немедленно, что не помешало рецензенту «Московского Телеграфа» отметить: «Лучшею из всех повестей Белкина нам показалась—«Станционный смотритель». В ней есть несколько мест, показывающих знание человеческого сердца. Забавна и шутка, названная «Гробовщик». Зато в повестях: «Выстрел», «Метель» и «Барышня-крестьянка» нет даже никакой вероятности, ни поэтической, ни романической. Это фарсы, затянутые в корсет простоты» («Московский Телеграф» 1831, № 21, ноябрь, стр. 254—256). Более положителен был отзыв рецензента «Северной Пчелы» (вероятно, бар. Е. Ф. Розена). Отметая жалобы на то, что «содержание сих повестей слишком просто, что, прочитав некоторые из них, спрашивают: только-то?»—критик признавал, что все повести «рассказаны мастерски: быстро, живо, пламенно, пленительно», и заключал свою заметку интересной информацией: «У поэта, которому довелось издавать сии рассказы, есть, говорят, еще препорядочный запасец сочинений покойного его приятеля» («Северная Пчела» 1831, № 255).

Подготавливая весной 1834 года к печати сборник своих «Повестей», Пушкин включил в него и «Повести Белкина», ограничившись беглой стилистической правкой лишь нескольких строк старого текста. Разрешенный цензурой 19 июля, сборник вышел в свет в конце августа 1834 года.

Отклики печати на переиздание «Повестей» были еще более неблагоприятны, чем рецензия 1831 года.

## Варианты предисловия

Рукописная редакция предисловия хранится в ЛБ, тетрадь № 2387 В, лл. 14—19.

Важнейшие черновые варианты, впервые опубликованные В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 12, стр. 571—572:

63. [Рукописное собрание повестей, предлагаемых ныне публике], доставлено нам М. И. Б. [дальней] ближайшей родственницей и наследницей покойного автора. Взявшись хлопотать об издании...

65. *Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.* [Описание приезда его почерпнуто мною из его рукописи, мне им подаренной; полагая, что вам оное любопытно будет\*—(\*Здесь выпущен довольно длинный отрывок из одной пространной рукописи, нами приобретенной и которую надеемся издать, если сии повести благосклонно приняты будут публикою)].

67. Ни образом мыслей, ни нравом мы большею частью друг с другом не сходствовали. В доказательство сего приведу пример. Перед обедом, какая бы ни была погода, обыкновенно езджу я верхом или осматривая поля и работы, или занимаясь охотою, или просто прогуливаясь, что моему здоровью отменно полезно и даже необходимо. П. И. [служивший в пехотном полку], не имев привычки к верховой езде, долго опасался следовать моему примеру, наконец, решился потребовать лошадь. Я приказал для него оседлать самую смирную изо всей моей конюшни—и поехал шагом, ибо рысь могла показаться ему с непривычки ездой слишком опасною и беспокойною—к тому и лошадь его давно от нее отвыкла. П. И. сидел довольно бодро и начинал уже приноравливаться к движению коня,—как я подъехал к риге, на которой молотили, остановился поговорить [с молотившими бабами] со старостою. Сле-

дую моему примеру и лошадь П. И. стала. Но он от незапного сотрясения, потеряв равновесие, упал и расшиб себе руку.—Сие несчастье и смех, от коего не мог я воздержаться, не помешали ему и впредь сопровождать меня в моих прогулках, и впоследствии приобрел он некоторый навык к верховой езде—сему столь же полезному, как и благородному упражнению.

Включенное в предисловие письмо ненарадовского помещика, «почтенного мужа, бывшего другом Ивану Петровичу», сохранилось в бумагах Пушкина и в начальной своей редакции (ПД, автограф из собрания А. Ф. Онегина; впервые опубликован в сборнике «Неизданный Пушкин», П. 1922):

«Сердечно радуюсь, что рукопись, которую имел я честь вам препроводить, показалась вам достойной некоторого внимания. Спешу исполнить волю вашу, доставив вам все сведения, кои мог я получить касательно покойного моего друга.

Петр Иванович Д.—родился в Москве в 1801 году от честных и благородных родителей. П. И. воспитывался во 2 кадетском корпусе, где несмотря на чрезвычайную нежность здоровья и слабость памяти оказал он довольно значительные успехи в науках.—Его прилежание, хорошее поведение, скромность и доброта заслужили ему любовь наставников и уважение товарищей.

В 1818 году был он выпущен офицером в Селенгинский пехотный полк, в коем он и служил до 1822. В сие (время) лишился он матери и расстроенное здоровье принудило его взять отставку. Он поселился в N-ском у., в сельце Горюхине, где и провел остальные дни краткой своей жизни.—

Быв его опекуном, желал я сдать ему его имение на законном основании, но П. И. по природной беспечности никогда не мог решиться пересмотреть счетные книги, планы, бумаги мною ему представленные. Насилу уговорил его поверить по крайней мере расход и приход

последних двух лет — но он довольствовался пересмотром одних итогов, по коим заметил, что кур, гусей и телят и прочей дичи умножилось почти вдвое, благодаря хорошему надзору, хотя, к сожалению, число мужиков значительно уменьшилось по причине повальной болезни, свирепствовавшей в нашем краю.—Предвидя, что беспечность его характера не допустит его заниматься хозяйством, я предлагал ему продолжение своего управления, на что он не согласился, совестью налагать на меня лишние хлопоты.

Я советовал ему по крайней мере пустить крестьян на оброк и тем избавить самого себя от всякой хозяйственной заботы; предположение мое было им одобрено, однако, не привел его в исполнение за *недосугом*. Между тем хозяйство остановилось, крестьяне не платили оброка и перестали ходить на барщину, так что не было во всем околотке помещика [более любимого] и менее получающего дохода».

### Выстрел

Повесть, как свидетельствует рукопись, первоначально обрывалась после первой главы авторской ремаркой: *Окончание потеряно*. Датирована была эта редакция «Выстрела»: 14 октября 1830. Болдино («14» переправлено на «12»). Тем же числом датирована и глава вторая, написанная дополнительно. Повесть не имеет в рукописи ни заголовка, ни эпиграфов. Первый эпиграф впоследствии взят был из «Бала» Баратынского, второй—из «Вечера на бивуаке» Бестужева-Марлинского. В начале главы второй, после слов «Уединение было сноснее», в рукописи и в первопечатном тексте следовали строки, изъятые из издания 1834 года: «Наконец решился я ложиться спать как можно ранее, а обедать как можно позже; таким образом укоротил я вечер и прибавил долготы дней и обретох, яко се добро есть».

Прототипом героя повести, Сильвио, явился один из кишиневских приятелей Пушкина и автор известных

мемуаров о нем, майор И. П. Липранди. Образ Сильвио не свободен, впрочем, и от чисто литературных воздействий. Не вызывает сомнений и известная родственность образов героев «Выстрела» и почти одновременно писавшихся сцен «Моцарта и Сальери».<sup>1</sup>

78. Я перепил славного Б\*\*\*(урцова), воспетого Д(енисом) Д(авыдовы)м.—Бурцов, Александр Петрович (178.—1813), офицер Белорусского гусарского полка, по свидетельству мемуаристов, «величайший гуляка и забулдыга», увековеченный Д. В. Давыдовым в «Гусарском пире» и в двух посланиях («Бурцов, ера, забияка» и «В дымном поле, на биваке»).

80. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Нынче мой час настал...—Строки эти почти дословно повторены в «Русалке»: «Прошло семь долгих лет... /Я каждый день о мщении помышляю,/ И ныне, кажется, мой час настал».

89. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.—Об Александре Ипсиланти и сражении 29 июня 1821 года под Скулянами см. повесть «Кирджали» (1834) и примечания к ней, стр. 867 настоящего тома.

### Метель

План повести находится среди черновиков «Моей родословной» (автограф ПД):

Помещик и помещица, дочь их, бедный помещик сватается, отказ. Увозит ее.—Метель.—Едет мимо, останавливается, барышня больна. Он едет с отч(аяния)

---

<sup>1</sup> Об источниках «Выстрела» см. ценную сводку данных в очерке Л. П. Гроссмана «Исторический фон «Выстрела» в сборнике его статей «Цех пера», М. 1930, а также заметки Н. О. Лернера «К генезису «Выстрела» («Звенья», кн. V, М.—Л. 1935, стр. 125—133).

в армию. Убит. Мать и отец умирают. Она помещица. За нею сватаются. (Нрзбр)—Полковник приезж. Объяснение.

Дата окончания повести 20 октября 1830 года. Заголовки и эпиграф (взятый из «Светланы» Жуковского) в рукописи отсутствуют. Черновой вариант начала «Метели» дошел до нас в следующей редакции:

«В конце 1811 года, в эпоху, столь живо описанную Ф. Н. Глинкою, жил в Нижегородском поместьи своем добрый Гаврила Гаврилович Р\*\*, с женою, [румяной] белой, веселой и еще свежою бабою, большой охотницей до виста, и с 17-летней дочерью, меланхолической девицей, бледной и стройной.

Гаврила Гаврилович славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поестъ, попить, поиграть с Парасковьей Петровной по 5 коп. в бостон, а некоторые и для того, чтобы поглядеть на Марью Гавриловну. Она считалась богатой невестою—и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на [чистом воздухе] французских романах, и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был старший сын одного бедного соседа, обремененного долгами и многочисленным семейством».

Этот вариант начала «Метели» обнажает совершенно непосредственную связь ее с прозаическими набросками Пушкина, относящимися к 1829 году. Мы имеем в виду «Роман в письмах» (см. далее, стр. 913) и отрывок «В начале 1812 года полк наш стоял в небольшом уездном городе». (Ср., например, в последнем строки: «Всего чаще посещали мы дом городничего. Он был взяточник, балагур и хлебосол, жена его свежая веселая баба, большая охотница до виста, а дочь—стройная меланхолическая девушка лет 17, воспитанная на романах и на бланманже».) Из вариантов рукописной редакции «Метели» заслужи-

вают внимания еще два, в которых Пушкин предполагал вернуться к образу одного из приятелей первого жениха Марьи Гавриловны — «мальчика лет шестнадцати, недавно поступившего в уланы». После строк «Марья Гавриловна всё попрежнему окружена была искателями» (стр. 103) в рукописи было:

«В числе новых двое казалось оспаривали между собою первенство, удалив всех прочих соперников. Один из них был сын уездного предводителя, тот самый маленький улан, который некогда клялся в вечной дружбе бедному нашему Владимиру, но ныне хохотун, обросший усами и бакенбардами [и смотрящий] настоящим Геркулесом. Другой был раненый гусарский полковник, лет около 26, с Георгием в петлице и с интересной бледностью (как говорили тамошние барышни)».

Перед абзацем же: «Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек», — в рукописи было:

«Правда и то, что уланский Геркулес, казалось, имел над нею особенную власть. — Они были между собою короче и откровеннее. — Но всё это (по крайней мере с ее стороны) походило более на дружество, чем на любовь. Заметно было даже, что волокитство молодого улана иногда ей досаждало — и редко его шутки приняты были ею благосклонно. Раненый гусар менее шумел и смеялся, но кажется успевал гораздо более».

Некоторые тематические детали интриги «Метели» очень близки завязке романа Вальтер Скотта «Сен-Ронанские воды» (тайный брак, подмена жениха девушки другим лицом, следствия этой ошибки, определяющие дальнейший ход и финал повествования). Самое же описание метели повторяет соответствующие строки «Бесов» («Мчатся тучи, вьются тучи»), написанные в Болдине 7 сентября 1830 года, т. е. за полтора месяца до повести.

102. *Артемиза* — вдова галикарнасского царя Мавзола; памятник, воздвигнутый ею на могиле мужа (IV в. до н. э.), считался одним из «семи чудес света».

102. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri Quatre*, тирольские вальсы и арии из *Жоконда*.—«*Vive Henri Quatre...*» — куплеты из комедии Шарля Колле «Генрих IV на охоте» (1774), пользовавшиеся исключительной популярностью в первые годы Реставрации; «*Жоконд* или искатель приключений» — комическая опера Николая Изуара, шедшая с большим успехом в 1814 году в Париже.

103. «*И в воздух чепчики бросали*» — цитата из «Горе от ума».

104. «*Se amor non è, che dunque...*» — усеченный стих из XXXVIII сонета Петрарки: «*s'Amor non è; che dunque è quel chi sento?*»

106. ...*первое письмо St. Preux*.—*Сен-Пре* — герой романа Жан-Жака Руссо «Юлия или Новая Элоиза» (1761).

### Гробовщик

Повесть датирована: 9 сентября 1830, Болдино. Заголовки и эпиграф (взятый из оды Державина «Водопад») в автографе отсутствуют. О прототипе героя повести, гробовщике Адриане, мастерская которого находилась напротив дома Гончаровых в Москве, на Б. Никитской (этот же адрес гробовщика дан и в повести), сохранилось любопытное упоминание Пушкина в письме к невесте от 4 ноября 1830 года из Болдина: «Как вам не стыдно оставаться на Никитской во время чумы? Это очень хорошо для вашего соседа, Адриана, который от этого большие барыши получает, но Наталья Ивановна, но вы? ей же ей, я вас не понимаю».

На стр. 117, после слов «Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно» в рукописи было:

«К вечеру всё сладил и приехал домой уже поздно. В светлице не было огня; дочери его давно спали. Он долго стучался у калитки, пока сонный дворник его не услышал. Адриан разбранил его по своему обыкновению и отправил его *дрыгнуть*, но в сенях гробовщик оста-

новился—ему показалось, что люди ходят по комнатам. Воры! была первая мысль гробовщика; он был не трусливого десятка, первым его движением было войти как можно скорее.—Но тут ноги его подкосились, и он от ужаса [чуть не упал] остолбенел».

111. *Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми...*—Пушкин имеет в виду «Гамлета» (действие V) и «Ламмермурскую невесту» (глава XXIV).

114. *...как почталион Погорельского...*—один из персонажей повести Антония Погорельского (псевдоним А. А. Перовского) «Лафертовская маковница» (1825).

— *...«с секирой и в броне сермяжной»...*—цитата из стихотворения А. Е. Измайлова «Дура Пахомовна».

#### Станционный смотритель

План повести, сохранившийся в бумагах Пушкина, не соответствует в некоторых своих частях окончательной ее редакции:

«Рассуждение о см(отрителях)—вообще люди несчастные и добрые. Приятель мой смотритель вдов(ец). Дочь. Тракт сей уничтожен. Недавно поехал я по нем. Дочери не нашел. История дочери. Любовь к ней писаря. Писарь за нею в П. б., видит ее на гуляньи. Возвр(атясь), находит отца мертвым. [Дочь приезжает]. Могила за околицей. Еду прочь. Писарь умер. Ямщик мне рассказывает о дочери».

Дата окончания повести, как свидетельствует ее черновая рукопись: 14 сентября 1830 года, Болдино («14» переделано из «10»). Заголовок и эпиграф (взятый из «Станции» кн. П. А. Вяземского) в рукописи отсутствуют. Эпизод с растоптанными деньгами (стр. 135, от слов «Долго стоял он неподвижно...» и кончая «Смотритель за ним не погнался...»), отсутствующий в черновой редакции повести (где его заменяли строки: «Думал он, думал и наконец сознался в душе, что молодой человек прав. Старик решил отправиться домой»), набросан допол-

нительно в тетради ЛБ, № 2387 В, л. 19 (на обороте предисловия к «Повестям», т. е. не раньше лета 1831 года). Отсутствует в рукописи повести и известное описание картинок, изображавших историю блудного сына. Вся эта страница почти дословно перенесена была в 1831 году в печатную редакцию «Станционного смотрителя» из начатой Пушкиным в 1829 году повести о прапорщике Черниговского полка («4 мая 1825 г. произведен я в офицеры...», см. далее стр. 921). В несколько переработанном виде включен в повесть и набросок, первоначально предназначенный, возможно, для эпиграфа к ней:

«В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. Приехав на станцию, первая забота моя была поскорее переодеться, вторая поскорее поехать.

«Нет лошадей»,—сказал мне смотритель и подал мне книгу в оправдание слов своих.—«Как нет лошадей!»—закричал (я) с гневом, отчасти притворным.

*Из записок мол(одого) чел(овека)».*

125. Долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдам на губернаторском обеде...—Об автобиографической значимости этих строк свидетельствует «Путешествие в Арзрум», глава вторая (обед у тифлисского губернатора, стр. 737—738).

— ...вся в покойницу мать.—В рукописи далее зачеркнуто:

«А давно ли ты хозяйку схоронил?»—Да вот уже четвертый год пошел.—Тут вошел мой старый ямщик (т. е. 20-летний ямщик, привезший меня; на большой дороге и стареются-то на почтовых) с требованием на водку; в то время народ не прашивал на чай. Но просвещение, исполински шагнув в последнее десятилетие...»

127. Много могу насчитать я поцелуев... и пр.—Рукописный вариант этих строк:

«Много могу насчитать я поцелуев  
С тех пор, как этим занимаюсь,

но почему же не один не оставил во мне столь живое, столь сладостное воспоминание. И теперь при мысли о нем [кажется вижу ее томные глаза и вдруг исчезнувшую улыбку.—Кажется, чувствую теплоту ее дыхания и свежее напечатление губок].

Читатель ведает, что есть несколько родов любовей. [Любовь чувственная, платоническая, любовь из тщеславия, любовь 18-летнего сердца, и проч.] Но изо всех любовь дорожная самая приятная. Влюбившись на одной станции, нечувствительно доезжаешь до другой [а иногда и до третьей]. Ничто так не сокращает дороги.—Воображение, ничем не развлеченное вполне, наслаждается своими мечтаниями. Любовь безгорестная, любовь беспечная! Она [только] живо занимает нас, не утомляя нашего сердца, и угасает в первом городском трактире».

133. *Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург.*—В рукописи фамилия гусара обозначена была «Л\*\*\*» и изменена, согласно специальному распоряжению Пушкина в письме к Плетневу в августе 1831 года: «В сказке *Смотритель* назвать гусара *Минским* и сим именем заменить везде\*\*\*». Эту же фамилию, использованную в повести Погодина «Русая коса», которую читал Пушкин в 1827 году, носит и герой неоконченной повести «Гости съезжались на дачу» (1829) (см. далее, стр. 906).

136. *Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле.*—Строки эти восходят к «Физиологии брака» Бальзака: «*J'aperçus une jolie dame assise sur le bras d'un fauteuil, comme si elle eût monté un cheval anglais*» (1829).

#### Барышня крестьянка

Повесть датирована: 20 сент. (1830 г.) Болдино. 9 ч(асов) в(ечера). Заголовок и эпиграф (взятый впоследствии из «Душеньки» Богдановича) в рукописи отсутствуют. В процессе работы над «Барышней-крестьянкой»

янской» Пушкиным был широко использован материал неоконченного «Романа в письмах» (1829), откуда в новую повесть перешли рассуждения об «уездных барышнях, воспитанных в тени своих садовых яблонь» (см. стр. 144), замечания писем 7 и 8 о линии поведения Владимира \*\* в кругу провинциальных помещиков и некоторые другие детали повествования (см. стр. 640—641). Самая интрига повести (переодевание героини крестьянкой или служанкой, в которую влюбляется герой, готовый вот-вот переступить социальные преграды, оказывающиеся, однако, мнимыми) напомнила ее первым читателям комедию Мариво «Le jeu de l'amour et du hasard» (1730), широко известную в многочисленных переводах и подражаниях. В охотничьих же сценах «Барышни-крестьянки» (примирение старых врагов на стр. 158—159 и проч.) получили отражение соответствующие детали фабулы «Ламмермурской невесты» Вальтер Скотта.

141. ...вышел в отставку в начале 1797 года... — Дата отставки Берестова не случайна, ибо массовый уход со службы гвардейских офицеров после смерти Екатерины II был определенной формой протеста против реорганизации армии, начатой Павлом.

142. «Но на чужой манер хлеб русской не родится» — стих из «Сатиры» кн. А. А. Шаховского в «Драматическом Вестнике» 1808, № 18 (апрель), стр. 149.

144. ...особенность характера, самобытность (*individualité*), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. — Вольный перевод французского текста сентенции Жан-Поля: «Respectez l'individu» lité dans l'homme; elle est la racine de tout ce qu'il a de bien». Цитата эта заимствована из издания «Pensées de Jean-Paul, extraites de tous ses ouvrages», Paris 1829, подаренного Пушкину в Москве 31 августа 1830 г.

145. ...два раза в год перечитывала Памелу... — «Памела, или вознагражденная добродетель» — роман Ричардсона (1740).

150. *Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизинкой ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке.*—В рукописи далее следовало: [«Изволь, отвечал старик, да зачем тебе, матушка, понадобились детские лапти»].—Не твое дело, отвечала Настя, скоро ли лапти поспеют.—«Завтра утром принесу»]. Пастух обещал принести их к завтрашнему утру, и Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню: [Вечерней, румяной зарею].

Капитанская дочь,  
Не ходи гулять в полночь».

163. *...рукава à l'imbécille торчали как фижмы у madame de Pompadour...*—Рукава, пышные у плеча и узкие у кисти; *фижмы*—широкий круглый каркас, на который надевались юбки у модниц XVIII в.; *Мадам де-Помпадур* (1721—1764)—любовница короля Людовика XV.

166. *Ланкастерская система*—методика взаимного обучения, разработанная английским педагогом Ланкастером (1771—1838) и широко применявшаяся (главным образом в школах для взрослых) в России конца 10-х и начала 20-х годов.

— «*Наталья, боярская дочь*»—историческая повесть Карамзина.

### История села Горюхина

Печатается по черновому автографу ЛБ, тетрадь № 2387 А, лл. 2, 83, 3, 82, 4, 81, 5, 80, 6, 79, 9, 76, 10, 75, 7, 78, 8, 77, а также № 2387 В, лл. 13—14. Впервые опубликовано после смерти Пушкина в «Современнике» 1837, т. VII, стр. 197—220, под произвольным названием «Летопись села Горохина», с многочисленными искажениями и усечениями (частью цензурного порядка) в композиции и в тексте. Пропуски и неточности первопечатных текстов «Истории» впервые были частично указаны В. Е. Якушкиным в его описании рукописей Пушкина («Русская Старина» 1884, № 12, стр. 544—546

и 570—571). Пушкинское написание «Горюхино» (вм. «Горохино») восстановлено было С. А. Венгеровым в редактированном им изд. «Пушкин», т. IV, СПб. 1910, стр. 226—236, а правильная композиция всех фрагментов и новое чтение некоторых черновых деталей текста «Истории» даны Б. В. Томашевским в Сочинениях Пушкина, Л. 1924, стр. 451—457. В настоящее издание внесены незначительные уточнения этого текста.

«История села Горюхина» писана осенью 1830 года в Болдине, сразу же после окончания 20 октября последней из «Повестей Белкина». В рукописи «Истории» сохранились и две точные даты—31 октября и 1 ноября, проставленные Пушкиным после перечня «источников, послуживших к составлению «Истории села Горюхина» (см. стр. 185—186) и после слов «Приступим теперь к самому повествованию» (стр. 192).

Впечатления от болдинского крепостного быта, материалы о его прошлом и настоящем получили непосредственное отражение в хозяйственно-бытовых зарисовках «Истории»,<sup>1</sup> а чтение «Истории Русского Народа» (выписки из последней сохранились на том же листе, где набросана программа «Истории села Горюхина») дало материал для пародирования в некоторых местах «Истории села Горюхина» приемов исторического повествования Н. А. Полевого, а может быть, и его предшественников («История Государства Российского» Карамзина). Работа Пушкина над «Историей села Горюхина» не была доведена до конца и осталась в его бумагах, ибо критическое отношение к крепостной действительности, не говоря уже об элементах острой социально-политической сатиры, которые обнажались в последних страницах «Истории», исключало возможность появления ее в печати.

---

<sup>1</sup> Об этом см. материалы П. Е. Щеголева, «Пушкин и мужики», М. 1928, стр. 61—93.

Летом 1831 года Пушкин воспользовался началом брошенной рукописи «Истории села Горюхина» для предисловия к изданию своих болдинских повестей, куда перенесен был им и самый образ Белкина, и детали его биографии, и даже фамилия (см. об этом выше, стр. 812).

В бумагах Пушкина сохранилась детальная программа «Истории села Горюхина» (автограф из собрания И. А. Шляпкина в ПД) и два наброска плана начальных страниц (ЛБ, тетрадь № 2387 А, лл. 1, 76, 75 об.).

(1.)

Уважение мое к званию писателя, поэтов в особенности.

Встреча с Булгариным и Милоновым.

Любовь.

Попытки мои в разных родах.

В повестях.

В истории: всеобщей, России, губернского города. Уездный город не имеет истории.

Приезд мой в деревню.

Родословная моя, мысль писать историю.

Календари. Изустные предания. Летопись попа. Ревизские сказки с описанием мужиков.

Географическое описание деревни.

Баснословные времена.

Правление старосты.

Приказчик.

Приезд моего прадеда тирана.

Дед мой управляет. Пожар.

Соседи. Повальная болезнь. Церковная история.

Отец мой. Стар. приказчик. *Бунт.*

Была богатая вольная деревня.

Обеднела от тиранства.

Поправилась от строгости.

Пришла в упадок от нерадения.

(2.)

Вступление.

Глава I.

[Географическое описание]. Статистическое обозрение Горюхина. [Описание]. Правл[ение] и обитатели. Число жителей. Архитектура. Церковь дерев. под.(?)

(3.)

Торговля. Браки. Похороны. Одежда. Язык. Поэзия.

На том же листе, где набросан план «вступления» и «главы I», сохранились выписки и расчеты, явно относящиеся к работе над «Историей села Горюхина»:<sup>1</sup>

5400 десят. пашни  
(покоосу и кустарника 664)  
лесу строевого и дровяного 2000 д(уш)  
под тростн. ([I] 176  
под реками etc. (48)  
под бол(отом) (17) деся.  
2400 десят. (пашни)  
Куст(арнику) 66 десят.  
лесу 100 деся(тин)  
под —8 десят. 5400—2000 душ  
под реками 5 деся. 200 душ—540  
100—240

<sup>1</sup> Впервые частично опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 12, стр. 544; полностью— в сборнике «Рукою Пушкина» 1935, стр. 510. Связь этих выписок с «Историей» подтверждается тем, что первоначальной редакцией последней обозначалось, что «страна, по имени столицы своей Горюхиным называемая, занимает на земном шаре более 2400 десятин». Последний нуль в этой цифре был зачеркнут Пушкиным лишь в процессе дальнейшей работы.

С материалами этими, возможно, связана и запись, сделанная Пушкиным на особом листе.<sup>1</sup>

В сельце\*\* с деревнями в коих рев(изских) душ 227—

Земли в единственном [имении] владении состоит Пахотной 1230 дес. 577 саж.

Сенокосу 46 дес.

Лесу дровяного и между оным покосу 826 дес.

По болоту лесу дровяного 8 десят.

Под дорогами и реками 21 десятина

---

На 1200 саж.

Под селениями, огородами и под скотными дворами 34 дес.

Всего земли 2170 дес. 1750 саж.

В сем имении тягл на хлебопашество 120.

Ежегодного посева ржи. . . . . 100 четв.

Овса . . . . . 160 четв.

Жита . . . . . 24 четв.

Пшеницы . . . . . 4 четв.

Семя льняного . . . . . 2 ч.

Гороху . . . . . 1

Гречи . . . . . 10

Промышленности особой крестьяне не имеют.

---

Создавая образ Белкина, литературные вкусы и интересы которого сложились под влиянием «Письмовника» Курганова и уроков приходского дьячка, Пушкин частично трансформировал для своей «Истории» памфлетно-полемический этюд, написанный им еще в 1827 году. Именно к герою этого памфлета, «одержимому благородною страстию к изящному вообще и к российской словес-

---

<sup>1</sup> Автограф, хранящийся ныне в ПД, впервые опубликован П. Е. Щеголевым в книге «Пушкин и мужики», М. 1928, стр 65—66.

ности в особенности» (образ этот оживал и в недописанном памфлете 1829 года на редакционный коллектив «Вестника Европы», изображенный в виде деятелей «Общества для распространения правил здоровой критики Курганова и Тредьяковского»), восходили некоторые черты Ивана Петровича Белкина, с его «охотою к чтению и вообще к занятиям литературным», пробужденною «Новейшим письмовником».

⟨Памфлетный набросок 1827 г.⟩<sup>1</sup>

Если звание любителя отечественной литературы само по себе достойно уважения и что-нибудь да значит, то и я в мнении публики, не взирая на убожество дарований, имею право на некоторое ее внимание. Произошед в 1751 г. от честных, но недостаточных родителей, я не мог пользоваться источниками просвещения, открытыми в последствии времени в столь великом изобилии, и должен был довольствоваться уроками приходского дьячка, человека, впрочем, [довольно просвещенного] весьма образованного в смиренном своем звании. Сему-то почтенному мужу обязан я благородною страстию к изящному вообще и к российской словесности в особенности. Вверенный мне им Письмовник г. Курганова не выходил из моих рук, и восьми лет знал я его наизусть. С того времени смело могу сказать, что не вышло из печати ни одного русского творения, ни одного перевода, ни одного русского журнала (включая тут хозяйственные и поваренные сочинения, также и месяцесловы), коих бы я не прочитал или о коих, по крайности, не получил достаточного понятия. Старых людей обвиняют вообще

---

<sup>1</sup> Автограф ЛБ, тетрадь № 2367, лл. 43—44. Впервые опубликовано (как якобы «начало Истории села Горюхина») В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 5, стр. 349; точнее и полнее дано в «Полном собр. соч. А. С. Пушкина», изд. 3-е, том IV, стр. 576—577. На

в слепой привязанности к прошедшему и отвращении от настоящего. Но я не заслуживаю такого упрека.— Успехи нашей словесности всегда радовали [патриотическое] мое сердце, и я не мог без негодования слышать в нынешних журналах нападки, столь же безумные, как и несправедливые, на произведения писателей, делающих честь не только России, но и всему человечеству, и вообще на состояние просвещения в любезнейшем нашем отечестве. Сии журналы не суть ли сами красноречивые доказательства исполинских успехов нашего просвещения. Какой из иностранных [журналов] превзойдет в глубокомыслии «Вестник Европы», в учености—«Северный Архив», в приятном разнообразии [«Московский Телеграф»], и в прочих достоинствах [«Сын Отечества», «Московский Вестник»], «Сев. Пчелу» и другие. В чем конечно согласятся почтенные издатели «Вестника Европы», «Северного Архива», «Московского Телеграфа» и проч. Сии-то несправедливые и без(умные) нападения принудили меня в первый раз выступить на поприще писателей, надеясь быть полезным любезным моим соотечественникам, пока неумолимые Парки прядут еще нить жизни, как говорит г. Ф(илимонов) в одном трогательном газетном объявлении о поступившей в продажу книжке своего сочинения.

#### *Важнейшие черновые варианты*

172. Я родился от честных и благородных родителей, в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа, и первоначальное образование получил от нашего дьячка [мужа просвещенного и весьма сведущего]. Сему-то почтен-

---

объявление В. С. Филимонова о его книге «Искусство жить», помещенное в «Русском Инвалиде» 1825, № 17, Пушкин откликнулся еще в письме к Вяземскому от 28 января 1825 г.: «Каков Филимонов в своем Инвалидном объявлении! Милый, теперь одни глупости могут еще развлечь и рассмешить меня.—Слава Филимонову!»

ному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотою к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую, по причине столь же слабого здоровья, покойные родители [не приказывали] мне излишне отягощать.

Десяти лет привезен я был в Москву и отдан в партикулярный пансион [Франца Егоровича Ф.], где и пробыл три месяца, т. е. до самого нашествия Наполеона, во время коего нашествия пансион был распущен, и я возвратился в село Горюхино приобретши в пансионе только большой навык к игре, называемой лаптой, [коей обучил я вскоре и всех дворовых мальчиков]. По изгнании двухнадесяти языков.....

(1830)

180. Не долго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика—и принялся за работу [Старинное вступление *пою* или *О муза* справедливо казалось мне рабским подражанием, недостойным свободного оригинального гения. Что касается до размера, то, не учившись никогда версификации, но получив некоторый навык, переписывая стишки, я избрал тот, которому более всего]

189. Однако ж россиянину [легче] понять горюхинца, [нежели горюхинцу русского, особенно воспитанного в \*\* университете].

191. Сии песни заимствованы большею частию из народных русских, сочиняемых солдатами, писарями и барскими слугами, но приноровлены весьма искусно ко нравам Горюхинским и к различным обстоятельствам.

173. «*Новейший письменник*»—учебник русской грамматики и общеобразовательная хрестоматия, первое издание которой выпущено было в свет ее составителем, преподавателем морского корпуса Н. Г. Кургановым (1725—1796), в 1769 году, под названием «Российская универсальная грамматика или всеобщее письменословие,

предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку с семью присовокуплениями разных учебных и полезно-забавных вещей». Второе и третье издания (1777 и 1788 гг.) печатались под названием «Книга письмовник, а в ней наука российского языка с семью присовокуплениями». В эти «присовокупления» входили «краткие замысловатые повести», «сбор разных пословиц и поговорок», «сбор разных стиходейств», нравоучительные рассуждения, исторические анекдоты, мифологические рассказы и т. п. В первой четверти XIX века «Письмовник» продолжал многократно перепечатываться, уже не столько как учебное пособие, сколько как книга для чтения малограмотного люда. В эпиграмме «Литературное Известие» Пушкин, характеризуя в 1829 году журнал, издаваемый «в Элизии» Тредьяковским, подчеркивал литературную архаичность и беспомощность этого органа стихами:

Курганов сам над критикой хлопочет,  
Блеснуть умом «Письмовник» снова хочет.

173. *После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом...*—Генерал-аншеф П. Г. Племянников (умер в 1775 г.). Зачеркнутый вариант фамилии генерала — Вейсман, т. е. Отто-Адольф-Вейсман фон-Вейсенштейн, убитый у дер. Кучук-Кайнарджи в 1773 году.

178. *«Ненависть к людям и раскаяние»*—мелодрама Августа Коцебу.

180. *..г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастье читать в Соревнователе Просвещения...*—Фаддей Булгарин. См. план «Истории села Горюхина», стр. 830.

— *К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: Опасного соседа, Критику на Московский бульвар, на Пресненские пруды и т. п.*—«Опасный сосед»—поэма В. Л. Пушкина, «Бульвар» («Жаль расстаться мне с бульваром»), «На Пресненские пруды» («Я

приду к прудам широким») и «Разлука с Преснею» («Пресня, милое гулянье») — рукописные куплеты неизвестного автора, посвященные сатирической характеристике представителей московской дворянской общности начала XIX века.

182. ...бессмертный труд аббата Милота? — «Всеобщая история» в 14 частях, изданная в 1773 году и переведенная на русский язык в 1819—1820 гг.

187. ...после Нибура непростительно было бы тому верить. — Нибур, Георг (1776—1831) — автор «Римской истории», основоположник критического источниковедения, популяризированный в России Н. А. Полевым, который посвятил ему свою «Историю Русского Народа». Иронические замечания Пушкина о претенциозности и бестактности этого посвящения см. в его рецензии на первый том «Истории» Полевого (1830).

193. Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек — и требовали прежнего полного дохода от имени, в десять крат уже уменьшившегося. — Сходные автобиографические суждения Пушкина см. в «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» («Ныне огромные имения Пушкиных раздробились и пришли в упадок, последние их родовые поместья скоро исчезнут, имя их останется честным единственным достоянием темных потомков некогда знатного рода») и в «Романе в письмах» («Мы проживаем в долг наши будущие доходы — и разоряемся; старость нас застаёт в нужде и хлопотах. Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по миру»).

Рославлев

(Отрывок из неизданных записок дамы)

Печатается по беловому автографу ЛБ, тетрадь № 2387 Б, лл. 10, 12, 82, 13, 83, 14, 84, 15, 85 (первые три раз-

дела) и по черновому автографу ЛБ, тетрадь № 2382, лл. 52 об.—47 об. (остальные три раздела; черновая редакция первых разделов «Рославлева» занимает в этой же тетради лл. 63 об.—52). Впервые опубликовано (только первый раздел) самим Пушкиным в «Современнике» 1836, т. III, стр. 197—203, под названием «Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)», без имени автора, подпись которого заменена в конце публикации отметкой: «С французского». Второй и третий разделы (не полностью) опубликованы в «Современнике» 1837 г., т. III, стр. 197—203, остальные (также с большими сокращениями) в «Материалах для биографии Пушкина» П. В. Анненкова, 1855, стр. 474—477. Цензурные искажения устранены были В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 12, стр. 555, и С. А. Венгеровым в изд. «Пушкин», т. IV, 1910, стр. 247—252. В настоящем издании на основании рукописи уточнено чтение отдельных слов и строк.

Первый раздел «Рославлева» в черновой рукописи датирован 2 июня 1831 года, остальные три дописаны, вероятно, не позже конца июня—первой половины июля 1831 года.

Роман Загоскина «Рославлев» вышел в свет в самом начале июня 1831 года. Пушкин ожидал появления этого романа с большим нетерпением, судя по письму его к Е. М. Хитрово от 8 мая 1831 года из Москвы: «Роман Загоскина еще не вышел. Он был вынужден переделать несколько глав, где говорилось о поляках 1812 года. Поляки 1831 года причиняют гораздо более хлопот и их роман еще не кончен». 3 июля 1831 года он же писал П. А. Вяземскому: «Рославлева прочел и очень желаю знать, каким образом ты бранишь его». На замечание же П. А. Вяземского, что в «Рославлеве» Загоскина «нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении», Пушкин отвечал 3 сентября 1831 года: «То, что ты пишешь о Рославлеве, сущая правда; мне смешно читать рецензии наших журналов,—кто начинает

с Гомера, кто с Моисея, кто с Вальтер Скотта; пишут книги о романе, который ты оценил в трех строчках совершенно полно, но к которым можно прибавить еще три строчки: *что положения, хотя и натянутые, занимательны; что разговоры, хотя и ложные, живы, и что всё можно прочесть с удовольствием*».

По существу Пушкин не возражал против исторической концепции Загоскина, противопоставившего в своем романе политическое разложение и пораженческие настроения интернационализированной верхушки старого барства и придворной аристократии в 1812 году патриотическому подъему и гражданским доблестям среднего дворянства и широких народных масс. Однако он не был удовлетворен ни наивным дидактизмом «Рославлева», ни схематизмом и трафаретностью его социально-бытовых и персонажных характеристик. Между тем круг исторических и художественных проблем, связанных с темой «Русские в 1811—1812 г.», издавна занимал Пушкина. Политическая ситуация лета 1831 года (восстание в Польше, неудачи русских войск и определившаяся угроза иностранного вмешательства в русско-польские отношения) давала материал для необычайно острых сближений с эпохой, предшествовавшей вторжению Наполеона в Россию (см. письма Пушкина). Вместе с тем, своеобразная форма художественной полемики с Загоскиным легко маскировала и облегчала проведение в печать суждений Пушкина по таким актуальным общественно-политическим вопросам этой поры, как угроза прорыва в едином фронте дворянской общественности в момент французской интервенции, как оценка социального поведения разных групп правящего класса перед лицом внешнего врага. Корректируя в своем «Отрывке» роман Загоскина Пушкин в основу саркастической характеристики верхов дворянской общественности в 1812 году положил свои московские впечатления 1831 года: «Москва—это город ничтожества...—писал он 26 марта 1831 года Е. М. Хитрово.—Поли-

тические новости доходят до нас поздно или искаженными. Около двух недель мы не знаем ничего определенного о Польше, и ни у кого нет никакого беспокойства и нетерпения...—Мы жалки, мы печальны и тупо подсчитываем, насколько сократились наши доходы». В черновых набросках «Путешествия из Москвы в Петербург» эти же наблюдения впоследствии были обобщены в строках: «Ныне нет в Москве мнения народного: ныне бедствие или слава отечества не отзывается в ее сердце. Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах». Ср. в стихотворном наброске «Ты просвещением свой разум просветил» гневные строки об одном из этих «бездушных» пораженцев 1831 года: «Ты руки потирал от наших неудач. / С лукавым смехом слушал вести. / Когда бежали вскачь/— — —И гибло зная нашей чести».

В предисловии Загоскина к «Рославлеву» отмечалось: «Интрига моего романа основана на истинном происшествии—теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров, и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе». Эта ссылка на якобы «истинное происшествие», подсказав Пушкину форму его художественно-poleмического этюда (показаниям Загоскина противопоставлялись свидетельства подруги Полины), едва ли обуславливала его отказ не только от типологии «Рославлева», но и от всех фабульных его линий. Между тем, перенеся из многочисленных действующих лиц «Рославлева» в свой «Отрывок из записок дамы» только Полину и Сеникура, Пушкин в своей переработке этих персонажей совершенно пренебрег материалом о них в романе Загоскина. В «Отрывке» Пушкина прежде всего не нашлось места самому Рославлеву, выразителю нравственных и политических идеалов

Загоскина, жениху Полины и подлинному «герою» всего романа; Полина в «Рославлеве» Загоскина являлась дочерью провинциальной вдовы-помещицы Лидиной, меланхолической девушкой, без всяких общественно-политических запросов и интересов; с пленным французским полковником Сеникуром она встречалась еще в Париже, ее брак с ним—естественный результат их прежних отношений. Полина Пушкина—дочь московского знатного барина, ее жених не Рославлев, а «московский фронт», пустоватый прожигатель жизни, типический представитель великосветской золотой молодежи 10-х годов; его гибель в Бородинском сражении не позволяет говорить и об измене Полины, ибо смерть жениха предшествует в «Отрывке» Пушкина роману с Сеникуром, и т. д. Судьба Полины Загоскина в последней части «Рославлева» выяснялась из ее предсмертной исповеди: «Скоро французы заняли нашу деревню. Муж мой сделался свободным, и мы отправились в Москву. Сеникур любил меня. Ужасные бедствия моих сограждан, пожар Москвы, беспрестанные слухи о покорении всей России,— всё это казалось мне каким-то смутным, невнятным сношением. Я жила только для него, видела одного его». При отступлении Полина следует за своим мужем («Адольф!—вскричала я,—мое отечество там, где ты; я забыла его для тебя»), который вскоре гибнет, она же добирается кое-как до Данцига, рождает сына, который умирает от голода в осажденном городе, и погибает сама, смертельно раненная осколками русского снаряда.

Разумеется, эта мелодраматическая развязка была так же чужда Пушкину, как и вся сюжетная схема «Рославлева». Нет никаких оснований (ни тематических, ни биографических, ни текстологических) считать «Отрывок из записок дамы» произведением незаконченным. Особенности художественной структуры, общественно-политических и литературно-политических заданий «Отрывка» была исключена возможность его дальнейшего развертывания, ибо последнее не могло бы уже не обнажить всей

случайности и искусственности приурочения набросков Пушкина к «Рославлеву» Загоскина. К тому же совершенно исчерпанным оказывался в «Отрывке» и известный нам по рукописям Пушкина фонд заметок его о дворянской общественности 1811—1812 гг., о допозжарной Москве, о пребывании г-жи де-Сталь в России и т. п. Еще в 1825 году, в полемике своей с А. А. Мухановым о г-же де-Сталь, Пушкин сослался в «Московском Телеграфе» на «одну рукопись», из которой процитировал строки о «благородной чужеземке, которая первая отдала полную справедливость русскому народу» и пр. Автором этой «рукописи» был, вероятно, сам Пушкин, а намеченная им здесь точка зрения на г-жу де-Сталь полностью оказалась усвоенной Полиной в «Отрывке из записок дамы». В суждениях Полины развернута была и сентенция письма Пушкина к Вяземскому от 27 мая 1826 года: «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда—при англичанах дурачим Василия Львовича; перед mad. de Staël заставляем Милорадовича отличаться в мазурке...» Основной же фактический материал о пребывании г-жи де-Сталь в Москве Пушкин широко заимствовал из ее рассказов и рассуждений в книге «Dix ans d'exil» (Paris 1820), которую весьма высоко ценил.

«Отрывки из неизданных записок дамы» предназначались, вероятно, для «Литературной Газеты». Однако прекращение в июле 1831 года этого издания и затянувшиеся хлопоты о газете, могущей ее заменить, обусловили задержку переписки и окончательной отделки «Отрывков». Возвратился Пушкин к этой рукописи лишь в пору издания «Современника», в 1836 году. Переписав набедро три начальных раздела рукописи (до слов «Мы приехали в \*\*», огромное село») и озаглавив ее «Рославлев», Пушкин, опасаясь цензурных осложнений, должен был, однако, ограничиться публикацией лишь первой главы (с характерной заменой слов «о нашей светской черни» строкой «об этой светской мелочи»).

## Набросок плана первых глав.

Москва [в 1811 году] тому 20 лет.—Полина г. Заго-скина.—Ее семейство, ее характер.—M-me de Сталь в Москве.—Обед, данный ей [отцом Полины] князем \*\*—Ее записка.—Война с Н(аполеоном).—Молодой граф Мамонов.—Мы едем из Москвы.

201. *Вот уже, слава богу, лет тридцать как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем, и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке... Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша кажется не старше Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена... Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных... и пр.—Суждения эти частично формулированы были Пушкиным еще в статье 1825 года—«О предисловии г. Лемонте к переводу басен Крылова» («Просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись...» и пр.), в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» 1827 года («Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии, полагая тому причину незнание отечественного языка...» и пр.), в черновых строфах третьей главы «Евгения Онегина» (1824), перенесенных в рукописную редакцию главы седьмой (1828):*

Сокровища родного слова,  
Заметят важные умы,  
Для лепетания чужого  
Безумно пренебрегли мы.  
Мы любим муз чужих игрушки,  
Чужих наречий погремушки,  
А не читаем книг своих—  
Да где ж они? давайте их.  
А где мы первые познанья

И мысли первые нашли,  
Где поверяем испытанья,  
Где узнаем судьбу земли?  
Не в переводах одичалых,  
Не в сочиненьях запоздалых,  
Где русский ум и русский дух  
Зады твердит и лжет за двух.

202. *Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговков, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток.*—Далее в рукописи Пушкина зачеркнуто: «[К тому же русские писатели обходятся с нами, как с детьми, издают особенные книжки для дам, полагают, что мы не в состоянии понимать ничего дельного, а должны довольствоваться пошлым и приторным враньем]». Эти зачеркнутые строки восходят к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям» 1827 года.

214. *Он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Такое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.*—В этих строках использована Пушкиным его же заметка, сделанная в 1830 году в той же тетради, в которой сохранилась и черновая редакция «Рославлева».

#### О дамах. <sup>1</sup>

Умная дама сказывала однажды, что если мужчина начинает с нею говорить о предметах ничтожных, как бы

---

<sup>1</sup> Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2382, лл. 71 и 70 об. Впервые заметка эта указана В. Е. Якуш-

приноравливаясь к слабости женского понятия, то в ее глазах он тотчас обнаруживает свое незнание женщин. В самом деле не странно ли почитать женщин, которые так часто нас удивляют быстротою понятия, тонкостью чувств и разума, существами низшими в сравнении с нами?

«Даже люди (сказано в «Северных Цветах») [выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто бы для детей]».

Это особенно странно в России, которая гордится [славою] женщин, царствовавших со славою, между прочим Екатериною II—и где вообще женщины более просвещены, более читают, более следуют общему в Европе ходу вещей, чем мы, гордые бог ведает почему.

〈Дубровский〉

Печатается по черновому автографу ЛБ, тетради № 2380 (особо сшиты т. I, объединяющий первые 8 глав, на 65 листах, и т. II, объединяющий следующие 11 глав, на 62 листах) и № 2387 А, л. 32 (заключительная страница от слов «Последние происшествия...», случайно отделившаяся от основной рукописи). В рукопись тома I вшита писарская копия подлинного дела Козлов-

---

киным («Русская Старина» 1884, № 11, стр. 368) и частично опубликована П. О. Морозовым в соч. А. С. Пушкина, т. V, 1887, стр. 162. Полный текст заметки восстановлен на основании ссылки Пушкина на «Северные Цветы» 1828, откуда он, судя по записанному им началу фразы—«Даже люди (сказано в «Северных Цветах»),—хотел процитировать несколько строк своей же статьи «Отрывки из писем, мысли и замечания». Сокращенная редакция заметки «О дамах» впоследствии включена была Пушкиным в «Table-talk».

ского уездного суда от октября 1832 года «О неправильном владении порутчиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым имением, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову, состоящим Тамбовской губернии Козловской округи сельце Новопанском». В этой копии Пушкин начал было исправлять имена и фамилии Муратова и Крюкова на Троекурова и Дубровского, но до конца этой работы не довел. Впрочем, и в основной рукописи, местами совершенно фрагментарной, остались не унифицированными имена некоторых персонажей (Дубровский называется иногда Зубровским, Дефорж—Русло, Марья Кирилловна—Марьей Петровной, Марьей Гавриловной и Натальей Гавриловной; Арина Егоровна—Петровной и Аксиньей Троицкой). Самим Пушкиным роман озаглавлен в рукописи не был (в письмах он называл его «Островским», см. далее).

Впервые опубликовано (под названием «Дубровский») в Посмертном изд. соч. Пушкина, т. X, 1841, стр. 101—240. Из многочисленных пропусков, неточностей и цензурных искажений первопечатной редакции некоторые исправлены были в 1855 году в «Сочинениях Пушкина» под ред. П. В. Анненкова (т. V), некоторые опубликованы П. И. Бартеневым («Бумаги Пушкина», вып. I, М. 1881, стр. 170—172), В. Е. Якушкиным («Русская Старина» 1884, № 11, стр. 340—344, и 1887, № 9, стр. 546—551), в изданиях Сочинений Пушкина 1887 г. под ред. П. А. Ефремова и П. О. Морозова, в «Пушкине» под ред. С. А. Венгерова (1910). Первое критическое издание повести опубликовано было Б. В. Томашевским в 1923 году (А. С. Пушкин, «Дубровский», Гиз). Текст этот, несколько уточненный Б. В. Томашевским и Д. П. Якубовичем в 1930 году (Полное собр. соч. А. С. Пушкина, приложение к журналу «Красная Нива», т. IV), положен в основу (с незначительными исправлениями) и настоящего издания.

К работе над «Дубровским» Пушкин приступил, судя

по собственной его отметке в рукописи первой главы, 21 октября 1832 года. Самая фабула романа подсказана была ему П. В. Нащокиным. Последний, как свидетельствует запись его воспоминаний, сделанная П. И. Бартевым, «рассказывал Пушкину про одного белорусского небогатого дворянина, по фамилии Островский (как назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подьячих, потом и других. Нащокин видел этого Островского в остроге».<sup>1</sup> Рассказ П. В. Нащокина может быть датирован очень точно: «Пушкин встречался с П. В. Нащокиным в Москве «почти всякой день» между 21 сентября и 10 октября 1832 года. В письме к жене от 30 сентября Пушкин уже отмечал: «Мне пришел в голову роман, и я вероятно за него примусь», а в письме от 2 декабря к Нащокину он же, как о чем-то вполне понятном его корреспонденту, сообщал: «Чсть имею тебе объявить, что первый том Островского кончен, и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение и под критику г. Короткого.»<sup>2</sup> Я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого рюматизма, от которого прострадал другие две недели, так что не брался за перо».

Замена в романе фамилии Островского Дубровским связана была, вероятно, с псковскими преданиями о бун-

---

<sup>1</sup> «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 годах». Вступительная статья и примечания М. Цявловского, М. 1925, стр. 27. Об этом же П. И. Бартевым писал в сборнике «Деятнадцатый век», кн. 1, М. 1872, стр. 394.

<sup>2</sup> Д. В. Короткий—чиновник Опекунского Совета, поверенный Пушкина и Нащокина, через которого и получена была, вероятно, Пушкиным копия тяжёбного дела Муратова и Крюкова, использованная во второй главе «Дубровского» (см. выше, стр. 845—846).

те крестьян помещика Дубровского в 1737 году. Как свидетельствует выписка из «дела» Псковской провинциальной канцелярии, воинская команда, посланная для ареста виновных в одну из деревень Дубровского, встречена была крестьянами, вышедшими из лесу «с топорами и рогатинами» и объявившими, что, «если их будут ловить, то они его, сержанта с рассыльными, убьют или потопят в озере», причем действуют они так «по наказу Дубровского, который писал, что если кто придет для поимки их, то, если поимщиков немного, бить их, а если много, то бежать в лес».<sup>1</sup>

Для имения же Дубровского Пушкин воспользовался названием своего сельца Кистеневки в Сергачинском уезде Нижегородской губернии, неподалеку от Болдина. Перезалогом Кистеневки он был занят как раз во время работы над «Дубровским» — осенью и зимою 1832 г.

Ход работы над первой частью романа определяется следующими отметками Пушкина: первая глава, начатая 21 октября, 25-го была доведена до середины и закончена 26 октября. Вторая глава закончена на следующий день, третья глава к 29 октября была написана до слов «погрузился в глубокие размышления» и закончена 2 ноября. В середине шестой главы сохранилась дата — 8 ноября 1832 года, после главы седьмой — 9 ноября, после восьмой — 11 ноября. Таким образом, первая часть «Дубровского» написана была в 20 дней. Возобновив работу примерно через месяц, Пушкин 14 декабря закончил главу девятую, 16-го — главу десятую и часть одиннадцатой (кончая словами: «сел в коляску и поскакал»), 21 декабря датирована первая половина главы двенадцатой (кончая словами: «почитал князя Верей-

---

<sup>1</sup> «Дела Псковской провинциальной канцелярии», изданные И. И. Василёвым, Псков 1884, стр. 57. Ср. И. А. Шляпкин «„Дубровский“ Пушкина» в сборнике «Пушкин и его современники», вып. XVI, 1913, стр. 106—107.

ского себе равным»), 28 декабря—глава четырнадцатая, 1 января 1833 года—глава пятнадцатая, 3 января—глава шестнадцатая, 6 января—семнадцатая, 15 января—восемнадцатая, 22 января—девятнадцатая (кончая словами: «приказав подобрать раненых») и, наконец, 6 февраля 1833 года датирована последняя страничка «Дубровского». Дописав вторую часть романа, Пушкин уже к этой работе не возвращался, оставив ее незаконченной (см. планы «Дубровского», где предусматривалась еще третья его часть, действие которой происходило в Москве), а черновую рукопись не перебеленной (переписана была только глава первая, но вновь обращена в черновик); никаких попыток не делал он и к проведению написанных глав в печать. Объяснять это неожиданное охлаждение Пушкина к своему роману только трудностями его публикации в условиях 30-х годов нет никаких оснований, ибо автору «Дубровского» удавалось проводить в печать (ценою, правда, некоторых художественно-тактических компромиссов) произведения, тематика которых была еще более неприемлема с цензурно-полицейской точки зрения, чем фабула «Дубровского». Причины отказа от последнего были, конечно, гораздо сложнее и определялись прежде всего неудовлетворенностью самого Пушкина результатами его работы. О том, что это недовольство связано было не только с художественными недочетами романа, а с самой его проблематикой, свидетельствуют следующие факты: между 15 и 22 января 1833 года Пушкин еще работал над девятнадцатой главой «Дубровского», а 31 января датируется уже первый из известных нам планов повести о «государственном изменнике»—Шванвиче (см. далее, стр. 875 и сл.). 6 февраля дописана была последняя страница «Дубровского», а 7 февраля Пушкин обратился уже к военному министру с просьбой о допущении его к ознакомлению со следственным делом о Пугачеве. Политическая трактовка «бунта» Дубровского оказывалась невозможной на том узком социально-бытовом фоне,

который взят был Пушкиным для его романа. Вплотную подойдя в процессе работы над «Дубровским» к проблеме крестьянской революции и к истории дворянина, переходящего на позиции другого класса, Пушкин занимавшие его общественно-политические вопросы мог художественно осмыслить и разрешить только на большом историческом материале, к изучению которого он обратился в феврале 1833 года.

### *Планы и варианты<sup>1</sup>*

#### 〈Начальный план романа〉

Островский, воспитываясь в П. Б., по смерти отца возвращается в деревню, о которой идет тяжба. Находит одну усадьбу с дворовыми людьми без крестьян и без земли. Люди его питают его и себя как-нибудь. Едет заседатель, люди Островского его убивают из мести. Следствие начинается. Суд приезжает к Остр. Островский заступает за своих людей—вяжет суд и делается разбойником.

Островский, негодуя на свое состояние, решается убить помещика, виновника его несчастья. Он бродит около его деревни, встречает его дочь, влюбляется в нее. Он ищет случая с нею познакомиться. Встречает

---

<sup>1</sup> Начальный план «Дубровского» впервые опубликован в книге В. Я. Брюсова «Письма Пушкина и к Пушкину», стр. 136; прочие планы опубликованы Б. В. Томашевским по автографам ПД (собрание Л. Н. Майкова) и ЛБ, тетрадь № 2380 (планы 3-й и 4-й первых частей). Материалы о земском суде (автограф ПД) впервые опубликованы И. А. Шляпкиным в кн. «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина» 1903, стр. 58—59. Вариант начала романа (автограф ЛБ, тетрадь № 2373, л. 42 об.) опубликован В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 8, стр. 329.

учителя француза, едущего к помещику, он отымаёт у него бумаги и пашпорт, представляется к помещику.

У помещика праздник. Сосед ограбленный... Шка-тулка. Учитель убегает с барышней.

[Островский распускает свою шайку].—Жена его рожает, она больна, он везет ее лечиться в Москву—избрав из шайки надежных людей и распустив остальных. Остр. в Москве живет уединенно, форейтор его попадает в буйстве и доносит на Остр. (с одним из шайки Островского). Обер-полицмейстер.

### *Планы первых двух частей*

#### 1.

Дубровский—1-ая глава, 2-ая, болезнь [записка] письмо няни [письмо няни]—[приезд] [решение] попытки к примирению [пись] смерть, похороны; приезд молодого барина [введение во владение]—во время пирушки похорон. [пожар]. Он занимается делами—разбирает бумаги. Жажда мщения, встреча его с дочерью. Дубр.—прогулка его на кладбище. Приезд суда—*ночной пожар* (от людей без участия Дубровского). Архип убивает суд—Дубровский и его виновные люди скрываются.

#### 2.

Ссора  
Суд  
Смерть  
Пожар  
Учитель  
Праздник  
Объяснение.

#### 3.

Пока приказные пьют, в людской люди сговариваются, и повар Архип решается убить их.

4.

Садовник ловит мальчика. Саша отымаёт у него кольцо и снова кладёт в дупло.—Приказчик запирает мальчика на голубятню покамест будет ему время—перед светом мальчик убегает.

5.

[Кн. Верейский, visite]  
[2 visite]  
Сватовство—  
Свидание  
Письмо перехваченное  
Свадьба, отъезд  
Команда, (сражение)  
Расп. шайка

*Планы второй и третьей частей*

1.

[Разлука, объяснение, обручение]  
[Капитан-исправник]  
Жених. К. Жених  
Свадьба [похищение]  
[Карета в лесу]. Команда, сражение  
[рана]  
[Сумасшествие]  
Распущенная шайка  
Москва, лекарь, уединение  
Кабак, извет  
Подозрение, полицмейстер

*(Справка для главы 2-ой)*

Земский суд

Исправник  
Заседатель земского суда  
Секретарь

Стряпчий  
Письмоводитель (писарь)  
Солдат (унтер инвалидный)  
Священник ближний.

Привозят—*Зерцало* в избе  
Свящ. с крест., с евангелием  
*Следствие*: донос на кого?

Форма допроса. [Чей ты]?.. Зовут меня Д... двор. чел. такого-то господина. От роду столько-то. Вероисповедание. На исповеди и у свят. прич. бываю через год. Наперед его в штрафах (в *приводах*) под следствием и судом никогда не был. Ты убийца—за что—и как. Апелляцию—срок год.

#### *Вариант начала романа*

Илья Петрович Нарумов долго был дворянским предводителем одной из северных наших губерний—Его звание и богатство давали ему большой вес во мнении помещиков, соседей —

Он был избалован их обращением слишком уже снисходительным—И привык давать полную волю порывам нрава, пылкого и сурового, и затеям довольно ограниченного ума—

#### *Вариант к главе XVII*

— Ага,—заметил Кирила Петрович,—слуги в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

— Всяко случается,—отвечал мальчик насмешливо.

— И, конечно, случается, что вашу братию секут розгами в задаток кнута—слыхал ли ты это.

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо,—сказал Саша.

— Молчи, Александр,—отвечал Кирила Петрович,—

не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты—косой—ты мне кажешься малый не промах—если ты мне скажешь кто тебя подослал за кольцом, так я тебя не высеку, а дам еще пятак на орехи—не то, велю Степану отодрать тебя на обе корки—понимаешь.

— Очень понимаю.

— Отвечай же, где твой барин, зачем он тебя подослал.

Мальчик не отвечал ничего —

— Добро, гей, люди, спустите-ка с него портки, разложите его — розог.

Розги явились — мальчишку схватили, раздели и растянули на полу сарая. Мальчик молчал.

— Хочешь ли говорить?—спросил Кирила Петрович—

Мальчик не отвечал ни слова—

— Не хочешь?—секите ж его.—Розги хлестнули.— Мальчик молчал с терпением, достойным маленького спартанца.

— Полно,—сказал Кирила Петрович,—теперь отдай кольцо—и ступай себе к барину.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Добро—сказал Кирила Петрович—отвести его на голубятню—и запереть.

Степан отвел мальчишку.

220. В рукописи, вместо слов: *Обстоятельства разлучили их надолго*, зачеркнуто: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору...»—В 1762 году был свергнут с престола Петр III, место которого заняла Екатерина II. Ближайшее участие в этом дворцовом перевороте принимала кн. Е. Р. Дашкова (1744—1810), статс-дама Екатерины, впоследствии бывшая организатором и первым президентом Российской Академии, автор известных мемуаров.

### Глава III

247. *Через 10 минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошаный луг, на котором паслась опутанная лошадь.*—Строки эти почти дословно перенесены в «Дубровского» из недописанной в 1830 году «Истории села Горюхина»: «Наконец, завидел Горюхинскую рощу, и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось—я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 8 лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком,—теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась бурая корова».

### Глава IV

249. *«Где стол был яств, там гроб стоит...»*—стих из оды Державина «На смерть князя Мещерского».

### Глава VIII

270. *Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме Совершенной Поварихи, не мог руководствовать ее в выборе книг...*—Пушкин имел, вероятно, в виду какую-нибудь кулинарно-домоводческую книгу. Возможно, однако, что речь шла о «Пригожей Поварихе, или похождениях развратной женщины»,—известном романе М. Д. Чулкова.

## Глава IX

278. *Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь Лафатерскими догадками...*—Об ироническом отношении Пушкина к обычаю разносить кушанья на званых обедах по чинам см. «Путешествие в Арзрум» (гл. 2, стр. 737—738). *Лафатерские догадки*—заключения, основанные на учении Лафатера о «физиогномике», т. е. о том, как по особенностям строения черепа и разным чертам лица определять человеческий характер.

282. *...суший портрет Кульнева...*—Кульнев, Яков Петрович (1763—1812)—известный боевой генерал, победы которого в Финляндии и смерть в 1812 году были широко популяризированы в лубочных картинах и брошюрах. В библиотеке Пушкина сохранилась книжка «Дух генерала Кульнева, или черты и анекдоты, изображающие великие свойства его, и достопамятные происшествия как из частной, так и военной его жизни», СПб. 1817.

284. *...пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.*—Радклиф, Анна (1764—1823)—английская романистка, автор «Удольфских тайн».

## Глава XIII

311. *Куда же девался наш Ринальдо?—Ринальдо-Ринальдини*—благородный разбойник, герой одноименного романа Христиана-Августа Вульпиуса (1762—1827), широко известного и в русских переводах.

## Глава XIV

315. *Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком...*—Пушкин имеет в виду эпизод поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод».

## Пиковая дама

Впервые опубликовано в «Библиотеке для Чтения» 1834, т. II, кн. 3 (март), стр. 107—140, с подписью «Р», принадлежность которой Пушкину расшифрована на обложке журнала. Перепечатано с небольшими исправлениями в «Повестях, изданных Александром Пушкиным», СПб. 1834, стр. 187—247.

Автограф неизвестен.

Повесть написана, вероятно, осенью 1833 года в Болдине. Самым ранним свидетельством о ней является письмо В. Д. Комовского к А. М. Языкову от 10 декабря 1833 года: «Пушкин привез с собою из Болдина, по слухам, три новых поэмы... Он же написал какую-то повесть в прозе: или «Медный всадник» или «Холостой выстрел», не помню хорошенько. Одна из этих пьес прозой, другая в стихах» («Исторический Вестник» 1883, кн. XII, стр. 538). Возвращаясь из Болдина, Пушкин читал в Москве свою повесть П. В. Нащокину, со слов которого П. И. Бартенева записал в 1851 году следующее: «Пиковую даму Пушкин сам читал Нащокину и рассказывал ему, что главная завязка повести не вымышлена. Старуха-графиня—это Наталья Петровна Голицына, мать Дм. Владимировича, московского генерал-губернатора, действительно жившая в Париже в том роде, как описал Пушкин. Внук ее, Голицын, рассказывал Пушкину, что раз он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в Париже С.-Жерменом. «Попробуй»,—сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался. Дальнейшее развитие повести всё вымышлено. Нащокин заметил Пушкину, что графиня не похожа на Голицыну, но что в ней больше сходства с Н. К. Загряжскою, другою старухою. Пушкин согласился с этим замечанием и отвечал, что ему легче было изобразить Голицыну, чем Загряжскую, у которой характер и привычки были сложнее...» («Рассказы о Пушкине, запи-

санные со слов его друзей Бартеневым», М. 1925, стр. 46—47).

В бумагах Пушкина (ЛБ, тетрадь № 2373, лл. 15, 18 и 18 об.; впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 8, стр. 322—324) сохранились следующие черновые наброски начальной редакции повести:

### Г л ( а в а ) I

А в ненастные дни  
Собирались они  
Часто,  
Гнули — — —  
От пятидесяти  
На сто.  
И выигрывали  
И отписывали  
Мелом.  
Так в ненастные дни  
Занимались они  
Делом.

### *Рукописная баллада.*

Года четыре тому назад собралось нас в Петербург несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. [Обедали у [толстого] Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к С(офье) А(стафьевне) [без нужды], чтобы побесить бедную старуху притворной разборчивостию]. День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга [и всю ночь проводили за картами].

### (II)

Теперь позвольте мне покороче познакомить вас с жизнью героини моей повести.

В одной из etc.

[Шарлота Миллер была четвертая дочь [обанкротившегося] обрусевшего немца]. Отец ее был некогда купцом второй гильдии, потом аптекарем, потом директором пансиона, наконец корректором в типографии, и умер, оставив кой-какие долги и довольно полное собрание бабочек и насекомых. Он был человек добрый и имел много основательных сведений, которые ни к чему хорошему его не привели. Германн жил на одном дворе с его вдовой, познакомился с Шарлотой и скоро они полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше в(ремя).

Но в сей день или справедливее etc.

И когда милая немочка отдернула белую занавеску окна, Германн не явился у своего васисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою.

---

Отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя [60 тысяч капиталу] маленький капитал; Германн оставил их в ломбарде, не касаясь и процентов, а жил одним жалованьем.

Германн был твердо etc.

Кроме того на обороте черного письма Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 26 февраля 1834 года (ПД) сохранился исчерканный проект вставки в главу VI печатной редакции:

[Чекалинский глазами отыскал Нарумова].

[— Как зовут вашего приятеля, спросил Чек. у Нар.].

Для ранней редакции «Пиковой дамы», как свидетельствуют приведенные выше ее фрагменты, характерна была установка на личный рассказ, на интимно-автобиографическую нагрузку повествования. набросок «Года четыре тому назад» восстанавливал с протокольной четкостью документа образ петербургской жизни Пушкина в 1828—1829 гг. (ср., например, многочисленные свиде-

тельства о Пушкине этой поры в письмах и воспоминаниях его современников, а также его собственное письмо от 15 января 1832 года к М. О. Судьенко: «Образ жизни моей совершенно переменялся к неопisanному огорчению Софьи Остафьевны и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я более двух лет» и пр.). Всё, что имело значимость конкретных автопризнаний, из окончательной редакции «Пиковой дамы» было тщательно устранено, так же как и все зарисовки быта и характера петербургских немцев, занимавшие в начальном тексте повести, судя по странице о Шарлоте Миллер, довольно видное место. Заменяв Шарлоту, первоначальную героиню повести, Лизой, компаньонкой старой графини, Пушкин широко воспользовался своими же материалами о «бедных воспитанницах и demoiselles de compagnie», включенными им еще в 1829 году в неоконченный «Роман в письмах» (ср. вторую главу «Пиковой дамы» и первое «письмо» 1829 года). Из набросков того же романа (зачеркнутые строки письма седьмого, см. далее), была извлечена и превращена в эпиграф к главе II заметка об юмористическом диалоге М. А. Нарышкиной с Денисом Давыдовым по поводу «демократической склонности» последнего к субреткам (см. об этом и письмо Давыдова к Пушкину от 4 апреля 1834 г.); из неоконченной повести «На углу маленькой площади» (1829) перенесен был в «Пиковую даму» эпиграф к III главе; из наброска, связанного с «Дубровским» (1832), заимствована была фамилия Нарумова (в главе I).

Из произведений, над которыми Пушкин работал в 1833 году, «Пиковая дама» некоторыми тематическими линиями (безумие Германна) связана с концовкой «Медного всадника» и с стихотворением «Не дай мне бог сойти с ума». Для уяснения же социально-политических установок повести (образ разночинца Германна, тонко противопоставленный в «Пиковой даме» военным и придворным верхам поместного дворянства) необходимо учесть одновременно с нею писавшиеся страницы

«Путешествия из Москвы в Петербург» (см., например, замечательные общественно-политические обобщения главы II о дворянском оскудении, о промышленной буржуазии, вытесняющей с исторической авансцены старое барство, и пр.). Эта близость обоих произведений получает порой выражение не только в тематическом, но и в чисто языковом плане. Ср., например, сентенции: «Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом» («Путешествие из Москвы в Петербург», гл. 2) и «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место» («Пиковая дама», гл. VI).

Некоторые фабульные детали связывали «Пиковую даму» с произведениями Э. Т. А. Гофмана, переведенными в 1829—1833 гг. почти полностью на французский язык (в библиотеке Пушкина сохранилось девятнадцатитомное издание Гофмана в переводе Леве-Веймара), и его многочисленных подражателей. Так, эпизод с картой, превращаемой расстроенным воображением обезумевшего игрока в конкретный женский портрет, восходил к «Элексиру сатаны» Гофмана (в библиотеке Пушкина сохранился французский перевод этого романа, изданный в 1829 году как сочинение якобы Шпиндлера). С героем другой повести Гофмана (Менар в «Счастье игрока») связаны некоторые линии характеристики Германна и эпизод с «убитой дамой» в финале карточной игры. Менее поддается точному учету связь некоторых эпизодов «Пиковой дамы» с аналогичными сценами из жизни игроков в романе ван-дер-Фельде «Арвед Гилленштиерна» (1816) или в драме «Жизнь игрока» Виктора Дюранже (русский перевод вышел в 1828 году). В образе Германна есть черты сходства с героем «Шагреновой кожи» Бальзака (1831). В новелле Бальзака «L'auberge rouge» (1832) сохранились строки («Его звали Германном, как зовут почти всех немцев, выводимых писателями»),

возможно учтенные Пушкиным при выборе самого имени его героя. Анекдот о трех картах в завязке «Пиковой дамы» восходил к одному из эпизодов французского жизнеописания Калиостро (три удачно предсказанных последним нумера лотерейных билетов), а выбор «тройки» и «семерки» при обозначении двух первых карт, составлявших тайну старухи, обусловлен был, очевидно, особым значением именно этих цифр в старинной магической литературе.

Внимательное отношение к традициям мастеров романтической новеллы не помешало Пушкину в процессе оформления даже специального мистико-фантастического материала сохранить присущий всей его художественной прозе трезвый реалистический упор. Так, ироническим эпиграфом из Сведенборга и авторской ремаркой о вине, разгорячившем воображение Германна, предварялось в главе пятой «Пиковой дамы» явление мертвой старухи, открывающей тайну трех карт, а случайность первых двух выигрышей подчеркивалась трагическим срывом Германна в третий вечер.

«Пиковая дама» явилась первым прозаическим произведением Пушкина, успех которого в самых широких читательских кругах и в печати был общепризнанным. 7 апреля 1834 года Пушкин записал в своем дневнике: «Моя Пиковая Дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Н. П. (Голицыной) и кажется не сердятся».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Сводка основной литературы о «Пиковой даме» дана Н. О. Лернером в сборнике «Рассказы о Пушкине», Л. 1929, стр. 132—163. Дополняют эту работу и статьи Д. П. Якубовича «Литературный фон „Пиковой дамы“» («Литературный Современник» 1935, № 1) и В. В. Виноградова «Стиль „Пиковой дамы“» («Временник Пушкинской Комиссии» 1936, кн. 2).

## Глава I

342. Стихи, взятые в качестве эпиграфа первой главы повести, были написаны Пушкиным еще в 1828 году. См. его письмо от 1 сентября 1828 года к П. А. Вяземскому: «Пока Киселев и Полторацкий были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом: «А в ненастные дни /Собирались они/ Часто...» Далее следовал полный текст с непечатным вариантом стиха 4-го, который см. выше, в черновом варианте начала повести.

Тематически первая глава «Пиковой дамы» связана с первым прозаическим опытом Пушкина «Надинька» (см. далее, стр. 905).

345. *Вы слышали о графе Сен-Жермене...—Сен-Жермен* (умер около 1795 г.)—знаменитый авантюрист, увековеченный в мемуарной и художественной литературе XVIII и нач. XIX века.

—...*Казанова в своих Записках говорит...—Казанова*, Джованни-Джакомо (1725—1798)—итальянский авантюрист и веселый прожигатель жизни, автор записок, десяти томное издание которых («Memoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même», Bruxelles 1833) сохранилось в библиотеке Пушкина.

347. *Проиграл, помнится, Зоричу...—Зорич*, Семен Гаврилович—фаворит Екатерины II в 1777—1778 гг., известный игрок.

## Глава II

348. Перевод эпиграфа: «Повидимому, вы решительно предпочитаете слуганок?—Что прикажете, сударыня? Они более свежи». Эпиграф этот, перенесенный в «Пиковую даму» из черновиков «Романа в письмах» (см. стр. 914 и 916), вызвал следующее письмо Д. В. Давыдова к Пушкину от 4 апреля 1834 года: «Помилуй, что у тебя за дьявольская память; я когда-то на лету рассказывал тебе разговор мой с М. А. Нарышкиной: «Vous préférez

les suivantes» (и пр.). Ты слово в слово поставил это эпитаграммой в одном из отделений „Пиковой дамы“.

348. *Старая графиня \*\*\*...*—Прототипом «старой графини», как уже отмечалось самим Пушкиным (см. выше), была княгиня Наталья Петровна Голицына (1741—1837), по прозвищу «Princesse Moustache» (усатая княгиня), девяностолетняя статс-дама, фрейлина Елизаветы Петровны и Екатерины II, блиставшая в Париже времен Людовиков XV и XVI. Не лишены, однако, основания предположения П. В. Нащокина, что Пушкин в своей работе над образом знатной старухи воспользовался некоторыми чертами и Н. К. Загряжской, о которой см. в т. IX.

352. *«Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца...»*—цитата из «Божественной комедии» («Рай», песнь XVII).

### Г л а в а III

358. Перевод эпитаграммы: «Вы мне пишете, мой ангел, письма, исписанные со всех четырех сторон, быстрее, чем я успеваю их прочесть». В «Пиковую даму» эти строки перенесены из неоконченной повести «На углу маленькой площади» (1829).

364. *На стене висели два портрета, писанные в Париже М-те Лебриг.*—*Виже-Лебрен* (1755—1842)—знаменитая французская портретистка.

### Г л а в а IV

368. Перевод эпитаграммы: «Человек без нравственных и религиозных устоев».

374. *Причесанный à l'oiseau royal...*—т. е. журавлем (название старинной прически).

### Г л а в а V

374. *Шведенборг*—Сведенборг, Эммануил (1688—1772)—шведский теософ и «духовидец», сочинения кото-

рого были очень популярны в кругах русских масонов конца XVIII и нач. XIX в. Первоисточник эпиграфа Пушкина до сих пор, однако, в сочинениях Сведенборга не обнаружен.

375. *Молодой архиерей произнес надгробное слово.*— В журнальном тексте вм. «молодой архиерей» было «славный проповедник».

## Глава VI

378. *Attendez!*—предложение не делать ставки (испорченное «attendez»—подождите). Ср. «Атáнде, слово роковое, Мне не приходит на язык» («Евгений Онегин»).

379. *В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, прошедшего весь век за картами...*—В образе Чекалинского Пушкин дал почти портретную характеристику своего старого партнера, знаменитого московского игрока, В. С. Огонь-Догановского (1776—1838), богатого помещика, дом которого в конце 20-х годов, по секретным полицейским данным, являлся «особенным прибежищем» для всех любителей большой игры, в том числе и для будущего автора «Пиковой дамы». См. письмо Пушкина к В. С. Огонь-Догановскому о погашении 25-тысячного карточного долга (1830).

381. *Семпелем*—на одну карту.

### Кирджали

Впервые опубликовано в «Библиотеке для Чтения» 1834, т. VII, кн. 12 (декабрь), стр. 197—204, с подписью: *А. Пушкин*. Автограф неизвестен. Печатается по журнальной публикации. Время работы над повестью, вероятно, осень 1834 года.

Первым опытом художественной обработки материалов о Георгии Кирджали является стихотворный набросок «Чиновник и поэт», датируемый 1823 годом (см. т. I). В 1828 году Пушкин вернулся к этому замыслу,

набросав план и первые 12 строк поэмы под названием «Қирджали» («В степях зеленых Буджака...»). Судя по этому плану, фабула поэмы близко соответствовала будущей повести, но обрывалась на пребывании Қирджали в Кишиневе и не заключала данных ни о его выдаче, ни о бегстве из Ясской тюрьмы. Приводим этот план (ЛБ, тетрадь № 2371, лист 78), впервые частично опубликованный В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 7, стр. 49, полностью:

### Қ и р д ж а л и

[Крупянского зала]. Эмигранты. Stenka. Скулянская битва. Қантақузин. Pendadeka. Харчевский, Навроцкий. Битва—Арнауты в Кишиневе.

26 декабря 1830 года Пушкин писал из Москвы своему кишиневскому приятелю Н. С. Алексею: «Пребывание мое в Бессарабии не оставило доселе никаких следов ни поэтических, ни прозаических. Дай срок—надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ничто мною не забыто». Реализацией этого обещания и явилась повесть «Қирджали», материал для заключительной главы которой дала Пушкину встреча в Петербурге в 1833—1834 гг. с М. И. Лексом, от которого поэт получил в 1823 году первые сведения о Қирджали. Именно к М. И. Лексу, служившему в начале 20-х годов в кишиневской канцелярии генерала И. Н. Инзова, а в 1832 году назначенному директором канцелярии министерства внутренних дел, относятся строки в «Қирджали» о «человеке с умом и сердцем, в то время неизвестном молодом чиновнике, ныне занимающем важное место». (О нем же Пушкин писал в своем дневнике 5 декабря 1834 года.) Старые и новые рассказы М. И. Лекса, наброски плана поэмы 1828 года, а также материалы об Александре Ипсиланти и Пендадеке, записанные Пушкиным еще в 1821 году (см. т. IX), определили круг источников повести «Қирджали». В нее же перенесен был и материал

об Ипсиланти и Иордаки Олимбиоти, вовсе не связанный с данными о Қирджали, но занимавший Пушкина в 1821—1822 гг., когда он готовил поэму об этеристах. (План этой поэмы: «Два арнаута хотят убить А. И(псиланти). Иордаки убивает их. Поутру Иордаки объявляет арнаутам его бегство. Он принимает начальство и идет в горы, преследуемый турками.—Секу».)

385. *Когда Александр Ипсиланти обнаружил возмущение...*—Ипсиланти, Александр Константинович (1792—1828)—сын молдаво-валахского господаря, генерал-майор русской службы, потерявший руку в битве под Дрезденом в 1813 году; с 31 марта 1820 года—глава этерии, тайного общества, имевшего целью освобождение Греции от турецкого владычества; с осени 1820 года жил в Кишиневе, где с ним познакомился и Пушкин. О его выступлениях см. «Note sur la revolution d'Ipsilanti» (т. IX), записи в дневнике Пушкина с 2 апреля по 26 мая 1821 года (т. IX), а также упоминания в послании «В. Л. Давыдову» («И с горя на берегах Дуная/Бунтует наш безрукий князь»), в X главе «Евгения Онегина» и в переписке Пушкина.

387. *Начальник карантина (ныне уже покойник)...*—Начальник Бессарабской карантинной линии Навроцкий, о котором см. выше—план поэмы «Қирджали».

390. *Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году...*—Қирджали был выдан турецким властям не в 1821, а в 1823 году.

#### Египетские ночи

Печатается по автографу (беловому, с поправками) ЛБ, тетрадь № 2386 А, лл. 14 и 16—49. Стихи «Чертог сиял. Гремели хором...» и пр., отсутствующие в рукописи повести, но явно связанные с последней, печатаются по автографам ЛБ, № 2376 В, лл. 1 и 22 (кончая стихом «Глава счастливых отпадет») и ПД (последние 12 стихов, входившие в состав так наз. собрания Л. Н. Майкова). Впервые опубликовано после смерти Пушкина в «Совре-

меннике» 1837, т. VIII, стр. 5—24. Прозаический текст повести датируется 1835 годом, стихотворный—1827 (первая редакция стихов о Клеопатре относится еще к осени 1824 года (см. т. II). О попытках использования стихов 1827 года в повести «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.» см. далее.

Работая над «Египетскими ночами», Пушкин перенес в повесть не только свои старые стихи о Клеопатре, но и несколько страниц автобиографического «Отрывка» («Несмотря на великие преимущества...»), написанного им еще в 1830 году (см. далее). При включении в «Египетские ночи» отрывок этот был несколько сжат и освобожден от интимно-бытовых и литературно-полемических деталей, понятных в 1830 году, но едва ли уместных в 1835. Так, например, не попали в новую повесть строки о дворянских предрассудках героя, о древности его рода, о высоких литературных гонорарах, о недавней поездке его «в армию» (т. е. в Арзрум), о «двойном ремесле» некоторых писателей и пр. Для третьей главы повести использованы были материалы неоконченной повести «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.» (1835).

## Г л а в а I

396. Перевод эпитафии: «Кто этот человек?—О, это большой талант; он делает из своего голоса всё, что захочет.—Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны». Этот эпитафия заимствован из французского «Альманаха каламбуров» маркиза Биевра (1771).

397. *Публика смотрит на него, как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия... и пр.*—Строки эти, восходящие к «Отрывку», определили тематику и стихотворного «Ответа анониму» (1830):

Холодная толпа взирает на поэта,  
Как на заезжего фигляра: если он  
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,

И выстраданный стих, пронзительно-унылый,  
Ударит по сердцам с неведомою силой,—  
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой  
Неблагодарно кивает головой.  
Постигнет ли певца незапное волнение,  
Утрата скорбная, изгнание, заточенье:—  
«Тем лучше,—говорят любители искусств,—  
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств  
И нам их передаст...»

398. ...резановское мороженое.— Приготовленное в модной петербургской кондитерской Резанова.

399. ...когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли... и пр.— Ср. в «Осени» (1833):

И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.  
Минута—и стихи свободно потекут...

401—402. Наши поэты не пользуются покровительством господ: наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их поberi!) этого не знают, то тем хуже для них.— Формулировка эта сложилась еще в пору полемики Пушкина с Рылевым и Бестужевым о роли меценатства в литературе: «У нас писатели взяты из высшего класса общества,— писал Пушкин летом 1825 года А. А. Бестужеву.— Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин».

403. ...я бедный импровизатор... и пр.— Возможно, что материал об импровизаторе введен был Пушкиным в повесть на основании его впечатлений от гастролеров

вавшего в Петербурге в 1832 году немецкого импровизатора Макса Лангеншварца (см. подробный рассказ о его сеансах в «Северной Пчеле» от 21 июня 1832 года, № 140). Некоторые же бытовые детали встречи Чарского с импровизатором напоминают рассказы, записанные со слов С. Н. Гончарова, о визите к Пушкину чревовещателя А. Ваттемара летом 1834 года («Русский Архив» 1874, кн. II, стр. 98—99. Ср. «Русская Старина» 1880, № 5, стр. 94—96).

## Г л а в а II

404. Эпиграф взят из оды Державина «Бог».

405. *...пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей...*—В рукописи этих стихов нет, но можно считать несомненным, что для первой импровизации итальянца Пушкин предполагал использовать строки из неоконченной поэмы о Езерском (см. приложение к «Родословной моего героя», т. III), к переделке которых он и приступил в 1835 году. Вот эти строки:

[Поэт идет]: открыты вежды,  
Но он не видит никого;  
А между тем за край одежды  
Прохожий дергает его:  
Скажи, зачем без цели бродишь?  
Едва достиг ты высоты,  
И вот уж долу взор низводишь  
И низойти стремишься ты.  
На стройный мир ты смотришь смутно;  
Бесплодный жар тебя томит;  
Предмет ничтожный поминутно  
Тебя тревожит и манит.  
Стремиться к небу должен гений,  
Обязан истинный поэт  
Для вдохновенных песнопений  
Избрать возвышенный предмет...

Дальше, повидимому, должна была идти переработка следующих строк «Езерского»:

Зачем крутится ветер в овраге,  
Подъемлет лист и пыль несет,  
Когда корабль в недвижной влаге  
Его дыханья жадно ждет?  
Зачем от гор и мимо башен  
Летит орел, тяжел и страшен,  
На чахлый пень? Спроси его.  
Зачем арапа своего  
Младая любит Дездемона,  
Как месяц любит ночи мглу?  
Затем, что ветру и орлу  
И сердцу девы нет закона—

Конец стихотворения сохранился в черновых набросках:

Таков поэт: как Аквилон,  
Что хочет, то и носит он,  
Орлу подобно он слетает  
И, не спросясь ни у кого,  
Как Дездемона избирает  
Кумир для сердца своего.

407. ...*la signora Catalani*...—*Каталани*, Анжелика (1779—1849)—итальянская певица, гастролировавшая в России в 1820, 1824 и 1825 гг.

— *Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому*...—Ср. «Импровизатор» В. Ф. Одоевского: «Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностью Гарпагона принялся считать их» («Альциона, альманах на 1833 год»).

### Глава III

408. *Всё это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего*

*фигляра*.— Ср. строки «Холодная толпа взирает на поэта, Как на заезжего фигляра» («Ответ анониму» 1830 года).

408. ...заиграли увертюру из «Танкреда».— «Танкред» — опера Россини на сюжет одноименной трагедии Вольтера.

412. Я имел в виду показание Аврелия Виктора...— См. об этом в неоконченной повести «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.», стр. 674—675.

#### Капитанская дочка

Впервые опубликовано в «Современнике» 1836, т. IV, стр. 42—215, без подписи автора (дата цензурного разрешения: 11 ноября 1836 г.). Перепечатано без авторской правки в «Романах и повестях А. Пушкина» (разрешено цензурой 8 января 1837 г.), но издание это в свет не вышло.<sup>1</sup> Автограф (беловой, с многочисленными исправлениями) хранится в ПБЛ (глава I) и в ЛБ, № 2381 (главы со II по IV и с VIII по XIV). Начальная редакция «Капитанской дочки» дошла до нас лишь в отрывках, важнейшим из которых является так наз. «Пропущенная глава», печатаемая нами выше по автографу ЛБ.<sup>2</sup> Большое значение, которое придавал этой главе сам Пушкин, явствует из того, что сам он, признав невозможность ее опубликования, присоединил ее к рукописи основного текста повести, зачеркнув прежнее ее обозначение («глава XII») и дав новое («Пропущенная глава»). К этой же редакции повести относится набросок послесловия (от слов «Здесь прекращаются записки П. А. Буланина»), датированный «23 июня» (хранится в ПБЛ, см. о нем дальше).

Замысел «Капитанской дочки», или, точнее, сюжетно еще до конца не определившейся повести о дворянине-

<sup>1</sup> См. о нем в «Звеньях», т. 2, 1933, стр. 246—250.

<sup>2</sup> Впервые опубликовано П. И. Бартеневым в «Русском Архиве» 1880, № 3, стр. 218—227; точнее и полнее—П. О. Морозовым в Сочинениях Пушкина 1887, т. IV.

пугачевце, родился в процессе работы Пушкина над «Дубровским». Вплотную подойдя в последнем к проблеме крестьянской революции и к истории дворянина, изменяющего своему классу, Пушкин не мог в традиционных рамках патетического разбойничьего романа социально осмыслить «бунт» Дубровского и сделать самый образ его политически значимым и актуальным. Между 15 и 22 января 1833 года Пушкин еще работал над XIX главой «Дубровского», дописанной 6 февраля, а 31 января датируется уже план нового романа:

(1)

Шванвич за буйство сослан в гарнизон.

Степная крепость—подступает Пугачев—Шванвич предаёт ему крепость—взятие крепости—Шванвич делается сообщником Пугачева—Ведет свое отделение в Нижний—Спасает соседа отца своего.—Чика между тем, чуть было не повесил стар(ого) Шванвича.—Шванвич привозит сына в Петербург.—Орлов выпрашивает его прощение.<sup>1</sup>

31 января 1833

С именем Шванвича связаны и еще два плана будущей «Капитанской дочки». Один из них посвящен дополнительной разработке самой завязки романа и конкретизации некоторых историко-бытовых деталей фабулы (вместо Пугачева действует Афанасий Перфильев), а другой, его сменивший, исключает вводные петербургские сцены романа и, устраняя Перфильева, связывает Шванвича непосредственно с Пугачевым примерно теми же фабульными нитями («метель», «вожатый»), которые были развернуты в окончательной редакции «Капитанской дочки». Вот эти планы:

---

<sup>1</sup> Печатается по ЛБ, тетрадь № 2374, л. 5. Впервые опубликовано П. И. Бартеневым в «Русском Архиве» 1881, кн. I, стр. 448.

### *Второй вариант плана*

Кулачный бой—(На пиках)—Шванвич—Перфильев—Перфильев, купец—Шванвич за буйство сослан в деревню—встречает Перфильева.<sup>1</sup>

### *Третий вариант плана*

Крестьянский бунт—Помещик пристань держит, сын его —<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Печатается по автографу ПД (собрание Я. К. Грота). Первые опубликовано в газете «Русь» 1885, № 22, стр. 3, точнее—в «Сборнике Пушкинского Дома на 1923 г.», П. 1922, стр. 3—6. О Перфильеве см. выше данные «Истории Пугачева», гл. III и VIII и комментарии к ним.

В распоряжении Пушкина были бумаги о Перфильеве одного из ликвидаторов восстания, капитана Галахова, и, возможно, данные, почерпнутые из рассказов баснописца И. А. Крылова, отец которого вел переговоры с Перфильевым при осаде последним Яицкого городка. Материалы Галахова невольно ввели, однако, Пушкина в заблуждение. Так, он принял на веру подложное письмо к кн. Г. Г. Орлову, составленное одним из участников восстания, Евстафием Долгополовым, разорившимся ржевским купцом (этот «купец» отмечен и в начальном плане «Капитанской дочки» вместе с Перфильевым и Шванвичем), который, отстав от Пугачева после его разгрома под Казанью, предложил правительству, якобы от имени Перфильева, захватить и выдать самозванца. Документы следствия обнаружили совершенную непричастность Перфильева к аванюре Долгополова, но Пушкин во время своей работы над «Историей Пугачева» (см. примечания к главе VIII) с этими материалами знаком не был. Возможно, что именно письмо Долгополова заставило его отказаться от использования фигуры Перфильева в «Капитанской дочке».

<sup>2</sup> Перед чертой цифры, определяющие, вероятно, хронологию повести: (17)74. 1770.

Мятель — кабак — Разбойник вожатый — Шванвич ст(арший)—Молодой человек едет к соседу, бывшему воеводой—Марья Ал(ександровна?) сосватана за племянника, которого не любит. М(олодой) Шванвич встречается разбойника вожатого.—Вступает к Пугачеву—Он предводительствует шайкой—Является к Марье Ал.—[Вешает]—Спасает семейство, и всех.

Последняя сцена.—Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь.—Уезжает—Пугачев разбит.—Молодой Шванвич взят—Отец едет просить Екатерину.—Орлов—Дидерот—Казнь Пугачева.<sup>1</sup>

Имя подпоручика 2-го гренадерского полка Михаила Александровича Шванвича, родовитого дворянина, перешедшего из командного состава императорской армии в штаб Пугачева, могло стать известно Пушкину прежде всего из правительственного сообщения от 10 января 1775 года «О наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников»:

«Подпоручика Михайла Швановича,—отмечалось в разделе восьмом этой официальной «сентенции»,—за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцовым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти,—лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу».

---

<sup>1</sup> Печатается по автографу ПД (собрание Л. Н. Майкова). Впервые опубликовано в брошюре И. С. Зильберштейна «Из бумаг Пушкина», М. 1926, стр. 42—43. Отметка «Дидерот» в плане романа связана с фактом пребывания Дидро в Петербурге с сентября 1773 г. по конец февраля 1774 г., т. е. в течение всего отрезка времени, соответствовавшего первому периоду пугачевщины. О возможной функции «Дидерота» в романе о Шванвиче см. в «Литературном Наследстве» 1934, кн. 16—18, стр. 451—452.

Поскольку никаких других данных об этом сподвижнике Пугачева не мог Пушкин заимствовать из печатных источников, а материалы архивные ему в январе 1833 года еще были недоступны, естественно предположить, что интерес романиста к исторической личности Шванвича определился под непосредственным воздействием каких-то более определенных *устных* свидетельств о последнем.

И действительно, в бумагах Пушкина сохранилось несколько заметок, тематически близких интересующим нас планам романа и восходящих, как свидетельствует пояснительная ссылка самого поэта—«Слышал от Н. Свечина» (см. т. VIII, стр. 584)—к совершенно конкретным рассказам об этом сподвижнике Пугачева близко знавшего его лица.

«Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один из дворян не был замешан в Пугачевском бунте, совершенно несправедливо,—писал Пушкин в 1834 году, имея прежде всего в виду героя задуманного им романа.—Множество офицеров (по чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему. Замечательна разность, которую правительство полагало между дворянством личным и дворянством родовым. Прапорщик Минеев и несколько других офицеров были прогнаны сквозь строй, наказаны батогами и проч., а Шванвич только ошельмован преломлением над головою шпаги. Шванвич был сын кронштадтского коменданта, разбившего некогда палашем, в трактирной ссоре, щеку Алексея Орлова (Чесменского)». Об этой же ссоре Пушкин подробнее писал в другой заметке (см. т. VIII, стр. 584), из которой заимствуем только ее заключительную часть как мотивирующую концовку одного из планов «Капитанской дочки»: «Шванвич долго скитался, боясь встретиться с Орловыми. Через несколько времени произошел переворот, возведший Екатерину на престол, а Орловых на первую степень в государстве. Шванвич

почитал себя погибшим. Орлов пришел к нему, обнял его и остался с ним приятелем. Сын Шванвича, находившийся в команде Чернышева, имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Г(граф) А(лексей) Орлов выпросил у государыни смягчение приговора».

Судя по известным Пушкину кратким биографическим данным о старике Шванвиче, он не принадлежал в 1762 году к числу сторонников императрицы Екатерины и при возведении последней на престол даже «почитал себя погибшим». А. Г. Орлов спас его от гибели, но, конечно, не мог обеспечить его карьеры. В планах повести Пушкина он рисуется уже отставным и опальным помещиком, живущим в глухой деревне. Образ старого оппозиционера, прозябающего в глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 году, за свое отчуждение от растленного двора Екатерины II и ее фаворитов, принадлежал, как известно, к числу любимейших образов Пушкина и связан был даже с семейными преданиями об опале его деда, Льва Александровича (см. «Мою родословную», «Родословная Пушкиных и Ганнибалов», данные о «славном 1762 г.» в «Дубровском»). Рукопись последней редакции «Капитанской дочки» позволяет установить, что и Андрей Петрович Гринев, отец героя повести, «служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 1762 году», т. е., очевидно, «как Миних верен оставался паденью третьего Петра». Эта дата отставки старика Гринева (исключенная из печатного текста, возможно, по цензурным соображениям) объясняет и опальное положение его в деревне, и постоянное раздражение при чтении «Придворного Календаря», и нежелание отправить Петрушу на службу в гвардию, в Петербург. В начальных планах романа и самый факт появления молодого Шванвича в штабе мнимого Петра III мотивировался, вероятно, старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II, что позволяло и его «измену» трактовать не как сознатель-

ный переход дворянина и гвардейца на сторону крестьянской революции, не как попытку того или иного компромисса с последней (мотивировки для подцензурного издания пушкинской поры совершенно, конечно, неприемлемые), а как случайную трагедию одного из членов правящего класса, по мотивам совершенно особого порядка оказавшегося в стане восставших крепостных рабов.

Работа над романом в 1833 году не пошла дальше начальных набросков плана, ибо изучение архивных материалов о пугачевщине, доступ к которым Пушкин получил в конце февраля 1833 года, настолько его увлекло, что вместо повести о Шванвиче он сразу же принялся за исследование о Пугачеве. Первая редакция этой исторической монографии (разумеется, в самой сжатой, местами еще полуконспективной форме) закончена была, как свидетельствуют рукописи Пушкина, 22 мая 1833 года. Однако ошибочно было бы думать, что «История Пугачева» означала отказ от романа. Об определенном параллелизме в эту пору художественных и исследовательских интересов Пушкина свидетельствуют не только его автопризнания, но и творческие документы. Так, готовясь к поездке в Казань и Оренбург для ознакомления с районом восстания, а также для собирания дополнительных архивных и фольклорных материалов о нем, Пушкин, на официальный запрос от имени самого Николая I о целях его путешествия, 30 июля 1833 года отвечал управляющему III Отделением следующее: «Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии». Это, хотя и достаточно глухое, упоминание о романе нельзя толковать как простую отписку, имевшую целью только прикрыть основную мотивировку поездки—доработку «Истории Пугачева». Через пять дней после только что приведенного письма Пушкин набрасывает проект художественного введения к роману,

которое мы связываем с изменениями всей его фабулы, получившими выражение в это же время в планах, объединенных именем Башарина.

Вместо Шванвича, служившего самозванцу «со всеусердием» и на ответственных командных постах, в этом новом варианте плана романа появляется уже Башарин, личность также историческая, но существенной роли в событиях 1773—1774 гг. уже не игравшая. Эта смена героев очень симптоматична.

Как и в планах «Капитанской дочки», так и в исторической действительности, Башарин является уже только пленником Пугачева, случайно им помилованным и скоро оказавшимся вновь в рядах правительственных войск. Архивные материалы о занятии мятежниками 29 ноября 1773 года крепости Ильинской позволили Пушкину восстановить в «Истории Пугачева» следующую сцену суда и расправы Пугачева:

«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. *«Зачем вы шли на меня, на вашего государя?»*—спросил победитель.—*«Ты нам не государь,»*—отвечали пленники:—у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его, но взятые в плен солдаты стали за него просить. *«Коли он был до вас добр,»*—сказал самозванец,—*то я его прощаю.*—И велел его, так же как и солдат, остричь казацки, а раненых отвести в крепость» («История Пугачева», глава IV).

Эта сцена, впоследствии широко развернутая в седьмой главе «Капитанской дочки», позволяет уяснить и источник сведений Пушкина о Башарине—бумаги архива военного министерства, доставленные ему по распоряжению графа Чернышева между 25 февраля и 29 марта 1833 года. К весне или лету 1833 года относим мы и со-

ответственное изменение планов романа в вариантах пятом и шестом.

#### *Четвертый вариант плана романа<sup>1</sup>*

Башарин отцом своим привезен в Петербург и записан в гвардию.—За шалость послан в гарнизон—Он *(нрзбр)* из страха отд. *(нрзбр)*—Пощажен Пугачевым при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Симбирск под начальством одного из полковников Пугачева.—Он спасает отца своего, который его не узнает.—Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугачева—принят опять в гвардию.—Является к отцу в Москву—идет с ним к Пугачеву.

[Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость;]

[Пугачев, взяв одну, подступает к другой—Башарин первый на приступе]. [Требуется в награду].

#### *Пятый вариант плана<sup>2</sup>*

Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца (*le mutilé*).<sup>3</sup>—Башкирец спасает его по взятии крепости.—Пугачев щадит его, сказав башкирцу—*Ты своею головою отвечаешь за него.*—Башкирец убит—etc.

---

<sup>1</sup> Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2374, л. 4 об. Впервые опубликовано П. И. Бартеневым в «Русском Архиве» 1881, кн. I, стр. 448.

<sup>2</sup> Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2375, л. 32 (листок с этим планом вырезан был Пушкиным из предыдущей тетради и вшит в тетрадь № 2375 после его смерти). Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 9, стр. 653; чтение записи уточнено Д. П. Якубовичем в сб. «Работа классиков над прозой», Л. 1929, стр. 11.

<sup>3</sup> Изуродованный.

## Набросок введения к роману<sup>1</sup>

Любезный внук мой Петруша!

Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия моей жизни и замечал, что ты всегда слушал меня со вниманием, несмотря на то, что случалось мне, может быть, в сотый раз пересказывать одно. На некоторые вопросы я никогда тебе не отвечал, обещая современем удовлетворить твоему любопытству.—Ныне решился я исполнить мое обещание.—Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей. Ты знаешь, что, несмотря на твои проказы, я всё полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею. Конечно, твой батюшка никогда не причинял мне таких огорчений, какие терпели от тебя твои родители—он всегда вел себя порядочно и добронравно; и всего бы лучше было, если б ты на него походил—ты уродился не в него, а в дедушку, и по-моему это еще не беда. Ты увидишь, что завлеченный пылкостью моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых.—То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоём два прекрасные качества, мною в тебе замеченные—доброту и благородство.

5[4] августа 1833. Черн. речка.

Материалы, вывезенные Пушкиным из поездки его в сентябре 1833 года в Казань, Симбирск, Оренбург и Уральск, ближайшее отражение получили в работе

---

<sup>1</sup> Печатается по черновому автографу ПД (собрание А. Ф. Онегина). Впервые опубликовано в «Вестнике Литературы» 1922, № 2—3.

не над романом, а над «Историей Пугачева». Можно утверждать, что и в Болдине, где Пушкин отдыхал после поездки и где в течение полутора месяцев закончена была им переработка «Истории Пугачева», «Медного всадника», вновь написаны «Анджело», «Пиковая дама» и две сказки, к своему роману Пушкин не обращался. Этот этап в истории «Капитанской дочки» самим Пушкиным был формулирован в письме к А. Х. Бенкендорфу от 6 декабря 1833 года следующим образом: «Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал историю Пугачевщины».

Время возвращения Пушкина к работе над романом до сих пор точно не установлено. Возможно, что еще летом 1833 года, перед отъездом в Оренбург, Пушкиным написано было не только введение к роману («Любезный внук мой Петруша»), но и несколько цельных глав. По крайней мере иначе трудно было бы объяснить письмо Пушкина к жене от 13 сентября 1834 года из Болдина: «И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю». Строки эти тем более непонятны, что последний из дошедших до нас *планов* романа, очень близкий окончательной редакции «Капитанской дочки», набросан *не ранее конца 1834 года*, но, вернее, относится к еще более позднему времени.

#### *Шестой вариант плана<sup>1</sup>*

Валуев приезжает в крепость. Муж и жена Борисовы. Оба душа в душу.—Маша, их балованная дочь—(барышня, Марья Борисова). Он влюбляется тихо и мирно.

---

<sup>1</sup> Печатается по автографу ЛБ (писано на листке, занятом стихами А. Боде. Дата стихов: 28 октября 1834 г.). Впервые опубликовано (вместе с факсимиле) М. А. Цявловским в «Трудах Публичной библиотеки им. Ленина», т. 3, М. 1934, стр. 24.

Получают известие и капитан советуется с женою—Казак, привезший письмо, подговаривает крепость.—Капитан укрепляется, готовится к обороне (а дочь посылает), подступает (?)

Крепость осаждена—Приступ отражен.—Валуев ранен, в доме ком(енданта)—Второй приступ—крепость взята.—Сцена виселицы—[Швабрин] Валуев взят во стан Пуг(ачева).—От него отпущен в Оренбург.

---

Валуев в Оренб.—Совет—Комендант—Губернат.—Тамож. См.—Прокурор.—Получает письмо от М. Ив.

В этом плане характерен, в отличие от предшествующих пяти, упор не на политическую линию Шванвича—Пугачева, а на локальный историко-бытовой материал (семья Борисовых, т. е. будущих Мироновых, и роман Валуева-Гринева с Марьей Ивановной на фоне белогорской идиллии). Снижение героя продолжается—Валуев не Шванвич и даже не Башарин, но всё же образ его не расщеплен еще, как в окончательной редакции романа, на Швабрина и на Гринева, поэтому в плане нет и поединка (будущей главы IV), а ранение героя происходит не на дуэли, а во время осады крепости. Следует отметить и живые черты прототипов героев повести, которыми Пушкин условно пользуется в этом плане, согласно обычной технике своего прозаического письма. Валуев—это П. А. Валуев, двадцатилетний жених дочери кн. П. А. Вяземского, будущий министр. Маша Борисова—это Марья Васильевна Борисова, молодая девушка, сирота, жившая в доме П. И. Вульфа, о которой Пушкин шутливо писал 27 октября 1828 года из Малинников А. Н. Вульф, что «намерен на-днях в нее влюбиться».

Начало реализации нового плана «Капитанской дочки» не может быть датировано раньше 1835 года, а о том, что и в конце года роман не был еще написан, свидетельствует, во-первых, отсутствие данных об этом в бумагах Пушкина и, во-вторых, письмо его к Плетневу от октября

1835 года из Михайловского: «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу,—через пень колоду валю. Для вдохновенья нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен».

Роман задерживался, однако, не только отсутствием «сердечного спокойствия», необходимого для работы. Неуспехом «Истории Пугачева» и отдельного издания «Повестей» 1834 года, запрещением «Медного всадника» и отказом самого автора от окончания «Дубровского» создавалось положение, при котором Пушкин не мог идти на риск провала в цензуре своей новой большой вещи. Роман приходилось путем сложнейших литературно-тактических ухищрений и перестроек приспособлять к жестким рамкам «дозволяемого к печати». Художественной и политической ответственностью этой неблагодарной работы и были прежде всего обусловлены медленные темпы ее осуществления.

Дошедшие до нас планы романа особенно ярко демонстрируют процесс постепенного политического и интеллектуального снижения его героя. Вместо Шванвича, выходца из кругов старой дворянской оппозиции петербургскому самодержавию, активного и сознательного союзника Пугачева, уже в четвертом варианте плана появляется капитан Башарин—пленник Пугачева, пощаженный по просьбе любивших его солдат, но скоро вновь оказавшийся в рядах правительственных войск. В шестом варианте плана «Капитанской дочки» исторический Башарин, которого Пушкин предполагал связать с Пугачевым случайным эпизодом «спасения башкирца» во время бурана (фабульное зерно, давшее в последней редакции романа заячий тулупчик), заменяется безличным Валуевым (характерен вариант его фамилии—Швабрин), но и этот невольный пугачевец, фигура почти нейтральная, в силу именно своей нейтральности в разгар крестьянской войны, не мог, разумеется, быть, с точки зрения охранительного аппарата дворянской монархии, признанным положительным героем и как бы

рупором самого автора. Для сохранения в «Капитанской дочке» даже скромных позиций Валуева-Гринева приходилось противопоставить ему резко отрицательный образ пугачевца из дворян, что и было осуществлено Пушкиным в последней редакции романа путем расщепления единого прежде героя-пугачевца на двух персонажей, один из которых (Швабрин), трактуемый как злодей и предатель, являлся громоотводом, обеспечивавшим от цензурно-политической грозы положительный образ другого (Гринева).

Самое имя Гринева (в черновой редакции романа он еще назывался Буланиным) выбрано было не случайно. В отмеченной нами выше правительственной информации от 10 января 1775 года об окончании процесса Пугачева имя подпоручика Гринева значится в ряду тех, кои «находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными».

Ломка романа не ограничилась, конечно, отказом от его начального плана и изменением характера и функций его героев. Дошедшая до нас одна из глав законченной черновой редакции «Капитанской дочки» (см. выше) позволяет установить, что Пушкину уже в процессе переписки романа приходилось исключать из него ряд сцен, образов и положений, социально-политическая значимость и острота которых была неприемлема для подцензурной печати 30-х годов.

23 июня 1836 года, закончив работу над «Капитанской дочкой», Пушкин 27 сентября представил цензору П. А. Корсакову «первую половину» своего романа; 19 октября рукопись переписана была до конца и 24 октября дополнительно сдана для подписи к печати. В обоих обращениях в цензуру Пушкин настойчиво просил сохранить «тайну» своего имени, предполагая выпустить роман в свет анонимно. Какие-то мелкие изменения пришлось Пушкину внести по требованию цензора в первые главы романа, а по поводу заключительной

его части он же должен был письменно разрешить недоуменный вопрос своего официального рецензента: «Существовала ли девица Миронова и действительно ли была у покойной императрицы».

«Имя девицы Мироновой,—отвечал Пушкин 25 октября П. А. Корсакову,—вымышлено. Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки Пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины».

1 ноября 1836 года Пушкин читал свой роман на вечере у П. А. Вяземского («Остафьевский Архив», т. III, стр. 347), замечания которого дошли до нас в письменной форме («Переписка Пушкина», т. III, стр. 407) и частично были учтены Пушкиным (напр., изъятие из главы восьмой анахронизма в словах Пугачева: «Ступай ко мне в службу—и я пожалую тебя в князья Потемкины» или замена в главе первой слова «абшид» на «пашпорт»). Сохранилось известие, что Пушкин не хотел печатать «Капитанскую дочку» в «Современнике», рассчитывая на больший успех отдельного ее издания.<sup>1</sup> Вероятно, для этого издания предназначалось и особое предисловие, начало которого сохранилось в бумагах Пушкина:

#### *Набросок предисловия<sup>2</sup>*

Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю.

Читателю легко будет распознать нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические,

---

<sup>1</sup> Воспоминания И. П. Сахарова («Русский Архив» 1873, кн. 1, стр. 974—975).

<sup>2</sup> Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2385, л. 16. Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 7, стр. 530.

а для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением. [Несколько лет тому назад в одном из наших Альманахов напечатан был.]

Последние строки этого недописанного предисловия имели целью объяснить, как мы полагаем, связь некоторых фабульных линий «Капитанской дочки» с историческими данными «Рассказа моей бабушки», появившегося в «Невском альманахе на 1832 год».<sup>1</sup> В этом рассказе использованы были подлинные воспоминания о взятии Хлопушей Нижне-Озерной крепости, о гарнизонном быте в Оренбургских степях и пр. «Бабушка» являлась героиней рассказа, ибо отец и мать ее были убиты пугачевцами, а она, оставшись сиротою, едва спаслась от их покушений. Возможно, что семья Мироновых в «Капитанской дочке» и сложилась под впечатлением «Рассказа моей бабушки», откуда бесспорно заимствованы были Пушкиным и некоторые детали для зарисовки крепостного быта (напр., эпизод с пушкой в главе шестой).

Материалы того же порядка Пушкин мог, впрочем, почерпнуть и из устных рассказов И. А. Крылова, детство которого прошло в Яицком городке и в Оренбурге. Самый образ капитана Миронова, скромного и незаметного офицера захолустного гарнизона, но твердого и благоразумного начальника, возвышающегося до подлинного героизма в пору осады крепости, подсказан был, вероятно, также рассказами баснописца о его отце, капитане Андрее Крылове, офицере осажденного пугачевцами Яицкого городка. На основании этих рассказов, частью даже записанных Пушкиным 11 апреля

---

<sup>1</sup> «Невский альманах на 1832 год», стр. 250—332. Неизвестный автор «Рассказа» укрылся за подписью А. К. Знакомство Пушкина с этим материалом впервые отмечено было в неопубликованном докладе Н. О. Лернера в 1933 г.

1833 года, образ скромного армейского капитана Крылова был заметно выдвинут в «Истории Пугачева», что и дает нам основание утверждать об определяющей роли его же при конструировании типических черт капитана Миронова в «Капитанской дочке».<sup>1</sup>

Характерное для всех исторических композиций Пушкина стремление опереться на документальный, мемуарный и фольклорный материал осложняется в «Капитанской дочке» работой по первоисточникам, отчасти впервые введенным в литературный оборот самим Пушкиным в его «Истории Пугачева», отчасти им специально подготовленным для романа. Особенно близка и непосредственна была связь с «Историей Пугачева» центральных глав «Капитанской дочки». Так, развернутым историческим комментарием для шестой («Пугачевщина») и десятой («Осада города») глав романа являлись первые три главы «Истории»; к ней же (главы третья и четвертая) восходили

---

<sup>1</sup> Пушкинскую запись рассказов И. А. Крылова о пугачевщине и комментарии к ней см. во «Временнике Пушкинской Комиссии» (т. I, стр. 26—29). Ср. также перенос из «Истории Пугачева» в «Капитанскую дочку» следующей ситуации: «Двести человек при капитане Крылове отряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел мятеж» и пр. («История Пугачева», глава вторая). В главе седьмой романа действиям капитана Миронова перед вылазкой предшествовала следующая сцена появления казаков-пугачевцев: «В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы... Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал над шапкою лист бумаги... «Вот я вас! — кричал Иван Кузмич.—Ребята! Стреляй!...» Между тем мятежники видимо готовились к действию» («Капитанская дочка», глава седьмая).

основные сцены и образы глав седьмой («Приступ»), восьмой («Незванный гость») и частью девятой («Мятежная слобода»).

Если история взятия Нижне-Озерной и Ильинской, картины суда и расправы, чинимой Пугачевым в крепостях, казни капитана Камешкова и прапорщика Воронова, помилования Башарина и пр. предопределяли даже детали всего повествования о взятии Белогорской крепости, о гибели капитана Миронова и Ивана Игнатьевича, о помиловании Гринева и пр., то не менее значимой представляется нам для уяснения самой техники Пушкинской переработки фольклорных и документальных источников знаменитая сцена пирушки в штабе Пугачева. В основу ее положена была следующая страница главы третьей «Истории Пугачева»: «Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных знаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воли. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом; но наедине обходились с ним, как с товарищем, и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах, и распевая бурлацкие песни. Пугачев скучал их опекою. *Улица моя тесна*, говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына».

Творческое преобразование этого материала в «Капитанской дочке» вылилось в впечатления Гринева: «Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами... Все обходились между собою как товарищи, не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю... «Ну, братцы,—сказал Пугачев,—затянем-ка

на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором: «Не шуми, мати зеленая дубровушка...» и пр. (глава восьмая).

Из отмеченного нами выше места «Истории Пугачева» в этой сцене оказалась неиспользованной только заключительная сентенция Пугачева на пиру у Дениса Пьянова: «Улица моя тесна». Однако эта красочная деталь не пропала даром—она ожила в разговоре Пугачева с Гриневым:

«А ты полагаешь идти на Москву?»

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо остро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою» (глава одиннадцатая).

В этом диалоге интересно не только самое использование красочной детали живого говора Пугачева, записанной Пушкиным под Оренбургом со слов одного из собеседников самозванца, но и наличие определенных тенденций политически поднять Пугачева, оторвав его от казачьей «воровской» вольницы. Для уяснения самого отношения Пушкина к Пугачеву необходимо учесть впечатления его поездки в места, связанные с историей пугачевщины.

Из рассказов современников Пугачева, из преданий и песен о нем выростал мощный образ народного вождя, памятью о котором продолжала жить крестьянская и казачья масса всего Приуралья.

«Уральские казаки (особливо старые люди),—осторожно отмечал Пушкин в своих заметках о пугачевщине, поданных царю 31 января 1835 г.,—дольше привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-летняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал.—Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом?—Он для тебя

Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович. Когда упомянул я о его скотской жестокости, старики оправдывали его, говоря: не его воля была: наши пьяницы его мутили).

Во время путешествия 1833 г. записана была, очевидно, Пушкиным и замечательная калмыцкая сказка об орле и вороне, замыкающая беседу Пугачева с Гриневым о походе на Москву, а по живым рассказам восьмидесятилетней старухи Бунтовой<sup>1</sup> восстановлены были Пушкиным красочные сцены присяги Пугачеву после взятия Белогорской крепости (глава седьмая), картина раздачи денег народу перед выездом самозванца<sup>2</sup> (глава девятая) и другие историко-бытовые детали романа.

---

<sup>1</sup> Рассказы Бунтовой (или, как называл ее Пушкин, «старухи в Берде») дошли до нас частью в записях самого Пушкина, частью в очень точной передаче «одной москвички», гостившей в Оренбурге и посетившей Бунтову через два месяца после Пушкина. Для сцены присяги в гл. VII использован был следующий рассказ Бунтовой: «К Пугачеву приводили ребят—он сидел между двумя казаками, из коих один держал серебряный топорик, а другой—булаву.—У Пугачева рука лежала на колене—подходящий кланялся в землю, а потом, перекрестясь, целовал его руку» (запись Пушкина). В развернутой передаче письма «москвички» из Оренбурга от 26 ноября 1833 г. рассказ Бунтовой ближе к тексту «Капитанской дочки», чем лаконическая запись самого Пушкина: «Бывало он (Пугачев) сидит, на колени положит платок, на платок руку, по сторонам сидят его енаралы... супротив виселица, а около мы на коленьях присягаем, присягнем, да поочередно, перекрестясь, руку у него поцелуем, а меж тем на виселицу то беспрестанно вздергивают» (Л. Майков, «Пушкин», СПб. 1899, стр. 427).

<sup>2</sup> Ср., напр., запись Пушкина со слов «старухи в Берде»: «Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда

Рассказы очевидцев с исключительным художественным тактом дополнялись в «Капитанской дочке» бытовыми документами, извлеченными из архивов. Отметим, например, что знаменитая сцена главы девятой, посвященная столкновению Пугачева с Савельичем из-за врученного последним «реестра барскому добру, раскраденному злодеями» («Два халата, миткалевый и шелковый полозатый, на шесть рублей...» и пр.), построена была Пушкиным на основании одной из подлинных «претензий» 1774 г., скопированной им, вероятно, в Оренбургском архиве во время поездки 1833 г. («Реестр, что украдено у надворного советника Буткевича при хуторе в пригороде Заинске»).

Итак, для уяснения некоторых особенностей художественного образа Пугачева в «Капитанской дочке» необходимо учесть, с одной стороны, яркие и волнующие рассказы еще живых пугачевцев, непосредственно воздействовавших на Пушкина *своей* интерпретацией исторической личности Пугачева как подлинного народного вождя, с другой—общие впечатления поэта от поездки в места, охваченные в 1773—1774 гг. восстанием (административные и торговые центры Поволжья и Приуралья, крепостные деревни, казачьи городки и степные кочевья угнетенных народов Оренбургского края). Итоги именно этих живых и действенных впечатлений, подкрепленные изучением архивных материалов о пугачевщине, определили не только позицию будущего автора «Капитанской дочки», но и заключения записки, представленной Пушкиным Николаю I 25 января 1835 г.

---

бросал народу деньги» (ПД, автограф из собрания Л. Н. Майкова), развернутую в главе IX, в сцене выезда Пугачева из Белогорской крепости: «Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросался их подбирать, и дело обошлось не без увечья...»

Доказывая, что «весь черный народ был за Пугачева», Пушкин пояснял, что лозунги крестьянской революции ни в какой мере не противоречили интересам прочих классов, за исключением поместного дворянства.

«Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства,—писал Пушкин.—Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны... Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно». Два политических вывода непосредственно вытекали из этой записки, формулировать которые прямо Пушкин, видимо, не мог, но в учете которых царем не сомневался. Первый заключал в себе признание известной случайности победы помещичье-дворянской монархии в борьбе ее с Пугачевым, второй сводился к напоминанию: «Пугачевский бунт доказал правительству необходимость *многих перемен*».—Сделанный тут же Пушкиным краткий перечень тех «перемен», которые были реализованы за шестьдесят лет («новое учреждение губерниям», разукрупнение областей, улучшение путей сообщения), красноречиво свидетельствовал, однако, о неосуществленности важнейшей из реформ, подсказанных правительству уроками пугачевщины. Пушкин имел, конечно, в виду необходимость ликвидации крепостных отношений, неизбежно таящих в себе угрозу «насильственных потрясений, страшных для человечества». Именно эта формула крестьянской революции сложилась у Пушкина в пору его работ над приспособлением к печати заметок о запретном для русских читателей «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева. Характерно, что полный текст этой сентенции, условная охранительная функция которой должна была облегчить проведение в печать прямо противоречащих ей материалов трактата о Радищеве, в той же, примерно,

значимости перенесен был Пушкиным в последнюю редакцию «Капитанской дочки».

«Лучшие и прочнейшие изменения,—писал Пушкин в заметках о Радищеве,—суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (концовка главы «Русская изба»). «Молодой человек,—резюмирует Гринев в «Капитанской дочке»,—если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (глава шестая).

Перспективы крестьянской революции и связанные с последней вопросы о той или иной линии поведения либерального меньшинства правящего класса, сдавленного рамками крепостнического государства, но в то же время терроризированного и призраком новой пугачевщины, впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 года.

Письма и заметки поэта именно этой поры дают исключительно богатый материал для суждения об эволюции его общественно-политических взглядов под непосредственным воздействием всё более и более грозных вестей о расширении плацдарма крестьянских «холерных бунтов» и солдатских восстаний.

«Ты верно слышал о возмущениях Новгородских и Старой Руссы. Ужасы!—писал Пушкин 3 августа 1831 г. кн. П. А. Вяземскому.—Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; спасся один при помощи больных, лежавших в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других—из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить,

и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых и проч. *Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников.* Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы».

В аспекте классовых боев 1830—1831 г. получали необычайно острый политический смысл и исторические уроки пугачевщины. Концепция последней как «русского бунта бессмысленного и беспощадного», предопределяя и всю социальную дидактику печатной редакции «Капитанской дочки» (невозможность либерально-дворянского компромисса с крестьянской революцией), впервые обозначилась для Пушкина не в результате позднейших пристальных изучений им пугачевских материалов, а еще года за полтора до окончательного оформления этой линии его творческих и исследовательских интересов. Переписка Пушкина позволяет установить, что ближайшим информатором его о кровавых эксцессах восстания поселян,—фактах, не подлежавших, конечно, оглашению в тогдашней прессе,—был поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии. Необычайно характерно, что в своей оценке событий 1831 г. Пушкин полностью солидаризировался со своим официозным корреспондентом, суждения которого предвосхищали, вероятно, и идеологический субстрат знаменитой формулы «русского бунта».

«Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назад, мой любезнейший Александр Сергеевич,—писал Н. М. Коншин Пушкину в первых числах августа 1831 г.—Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении добрый народ русской! Жалеют и истязают; величают вашим высокоблагоро-

дием и бьют дубинами, и это всё вместе. Чорт возьми, это ни на что не похоже! Народ наш считают умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла» («Переписка Пушкина», т. II, стр. 294).

К событиям 1830—1831 гг. восходили не только некоторые декларативные детали печатной редакции «Капитанской дочки», но, как можно установить, даже некоторые элементы ее бытописи. Ср., напр., рассказ Пушкина о его попытке пробиться из Болдина в Москву в октябре 1830 г., в самый разгар холеры, «чуть не взбунтовавшей 16 губерний» («Я тотчас собрался в дорогу и поспекал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!—Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку... Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать» и пр.), с известной сценой в пропущенной главе позднейшей «Капитанской дочки»: «Что такое?» спросил я с нетерпением. «Застава, барин», отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне, снял шляпу, спрашивая пашпорту». Эти же впечатления от крестьянской карантинной милиции 1830—1831 гг. предопределили и зарисовку столкновений Гринева с пугачевской заставой у Бердской слободы при попытке его пробиться из Оренбурга в Белогорскую крепость (глава одиннадцатая).

К Пушкинским писаниям 1830 г. восходит и известное место четвертой главы «Капитанской дочки»: «Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,  
Не ходи гулять в полночь».

В черновой редакции «Барышни крестьянки», датированной «20 сент.» 1830 г., обнаружены следующие строки:

«И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:

Капитанская дочь,  
Не ходи гулять в полночь».

Поэтика исторических романов Вальтер Скотта, высоко ценимого Пушкиным издавна и вновь перечитанного в 1834—1835 гг.,<sup>1</sup> оказала некоторое воздействие и на общую технику оформления историко-бытового материала в «Капитанской дочке» и на конкретные детали отдельных ее образов, сцен и ситуаций.<sup>2</sup> Общность основных фабульных линий теснее всего связывала «Капитанскую дочку» с «Роб-Роем» и «Уоверли». Сюжетно более далек роман Пушкина был от «Эдинбургской темницы», но на материале именно последней построена была вся заключительная глава «Капитанской дочки» (рассказ о Марье Ивановне в Царском Селе, ее пребывание у Анны Власьевны, неожиданный вызов ее во дворец и пр. полностью восходили к истории поездки Дженни, хлопочущей за невинно осужденную Эфи, в Лондон, ее жизни у миссис Глас, встречи с герцогом Аргайлем и пр.). Более общи некоторые сюжетные линии, связывающие «Капитанскую дочку» с «Бюг-Жаргалем» Гюго (1826) и «Обрученными» Мандзони (1827).

---

<sup>1</sup> 25 сентября 1835 г. Пушкин писал жене из Михайловского: «Читаю романы В. Скотта, от которых в восхищении». О чтении В. Скотта он писал ей же 13 сентября 1834 г.

<sup>2</sup> Сопоставление параллельных сцен «Эдинбургской темницы» и «Капитанской дочки» см. «Пушкин», под ред. С. А. Венгерова, т. IV, 1910, стр. 356—357. Ср. Б. В. Нейман, «Капитанская дочка» Пушкина и романы Вальтер Скотта» (Сборн. Отд. русск. языка и словесности Академии Наук СССР, Л. 1928).

## Глава I .

417. Эпиграф взят из комедии Я. Б. Княжнина «Хвастун» (действие III, явл. 6). У Пушкина текст несколько изменен.

— ...*служил при графе Минихе...*—Миних, Бурхард-Христофор (1683—1767)—полководец и политический деятель, сосланный Елизаветой Петровной в Сибирь, откуда возвращен Петром III. Во время дворцового переворота 1762 г. оставался верен Петру. Об интересе Пушкина к этому моменту его биографии см. выше, стр. 877.

428. «*И денег, и белья, и дел моих рачитель*»—стих из стихотворения Фонвизина «Послание к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке».

## Глава II

429. Эпиграф заимствован из «Нового и полного собрания российских песен», изд. Н. Новикова, М. 1780, ч. III, № 68. Первые два стиха в подлиннике звучат иначе: «Сторона ль ты моя сторонушка, /Сторона ль моя, незнакомая».

430. *Я приближался к месту моего назначения.*—Черновой вариант этих строк ближе связан с впечатлениями самого Пушкина во время поездки его осенью 1833 г. в Оренбург: [Я ехал по степям Заволжским... Я видел одни бедные мордовские и чувашские деревушки.]

431. *Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями...* и пр.—Строки эти восходят к очерку С. Т. Аксакова «Буран», опубликованному без имени автора в альманахе «Денница на 1834 г.»: «Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских саней, проселочной дорожке, или лучше сказать—следу, будто недавно проложенному по необозримым снежным пустыням». Самые же подробности бурана, описанного далее, основаны на точ-

ных данных как очерка С. Т. Аксакова, так и материалов о буранах в «Топографии Оренбургской» П. И. Рычкова, СПб. 1762. Дата цензурного разрешения «Денницы»— 24 октября 1833 г., время покупки альманаха Пушкиным—18 мая 1834 г.

### Г л а в а III

445. ...картинки, представляющие взятие Кюстрина и Очакова...—Прусская крепость Кюстрин была осаждена русскими войсками в 1758 г., турецкая крепость Очаков взята была войсками Миниха в 1737 г.

### Г л а в а IV

452. Эпиграф взят из комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки» (действие IV, явл. 12).

454. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен... и пр.—Стихи, цитируемые далее («Мысль любовну истребляя» и пр.), заимствованы Пушкиным из «Нового и полного собрания российских песен», изданного Н. Новиковым, М. 1780, ч. I, стр. 41, причем вовсе устранены вторая и третья строфы первоисточника и четвертая сокращена наполовину, а в оставшихся перефразированы некоторые строки.

459. ...а я затынул мою любимую: Капитанская дочь, / Не ходи гулять в полночь.—Песня эта заимствована Пушкиным из сборника Ивана Прача «Собрание народных русских песен», СПб. 1790, стр. 85 (песни плясовые, № 10). Во всех других сборниках эта песня печаталась в иной редакции («Ты, отеческая дочь, / Не ходи гулять в полночь»).

### Г л а в а V

465. Первый эпиграф («Ах ты, девка, девка красная!») точно соответствует шести последним стихам песни «Ах ты, Волга, Волга матушка». (Иван Прач, «Собрание

народных русских песен», СПб. 1790, стр. 29; то же в сборнике Н. Новикова, 1780, ч. I, № 176. Второй эпитаф («Буде лучше меня найдешь, позабудешь...» и пр.) взят из песни «Вещевало мое сердце, вещевало» («Новое и полное собрание российских песен», изд. Н. Новикова, М. 1780, ч. I, № 135).

## Г л а в а VI

476. Эпитаф заимствован из песни о взятии Казани Иваном Грозным (первые две строки зачина) в песеннике, изд. Н. Новикова, М. 1780, ч. I, № 125.

484. *Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.*—Это же Пушкин отмечал в записке, представленной в 1835 г. Николаю I: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного».

488. *...лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов...* и пр.—Об этой формуле, впервые намеченной Пушкиным в «Путешествии из Москвы в Петербург», см. выше, стр. 894.

489. *Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича.*—Далее в рукописи сохранились следующие строки: «Помню даже, что Марья Ивановна была недовольна за то, что я слишком разговорился с прекрасною гостьей, и во весь день не сказала мне ни слова, и вечером ушла со мною не простившись, а на другой день, когда подходил я к комендантскому дому, то услышал ее звонкий голосок: Марья Ивановна напевала:

Во беседах, во веселых не засиживайся,  
На хороших, на пригожих не заглядывайся».

## Г л а в а VII

492. Эпиграф заимствован из песни о казни стрелецкого атамана («Голова ль ты моя, головушка, / Голова моя послуживая») в песеннике, изд. Н. Новикова, М. 1780, ч. II, № 130.

495. *Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»*—Ср. рассказ о взятии крепости Ильинской: «Мятежники приблизились и, разезжая около нее, кричали часовым: „Не стреляйте и выходите вон: здесь государь“. По них выстрелили из пушки» («История Пугачева», гл. IV).

497. *Комендант, Иван Игнатъич и я мигом очутились за крепостным валом, но обробелый гарнизон не тронулся...* и пр.—См. подробности взятия крепости Нижне-Озерной («История Пугачева», гл. II).

498. *Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу...* и пр.—О документальных и фольклорных источниках сцен суда и расправы Пугачева, казни капитана Миронова и Ивана Игнатъича см. выше, а также показания «очевидца» о взятии Сакмарского городка («История Пугачева», гл. II).

## Г л а в а VIII

502. В рукописи зачеркнут второй эпиграф к этой главе:

*«А пришли к нам злодеи в обедни—и у сборной избы выкатили три бочки вина, и пили—а нам ничего не дали (Показание старосты Ивана Парамонова в марте 1774 года)».*

508. *...Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином...* и пр.—Об источниках этой сцены см. выше, стр. 889.

509. *Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором: «Не шуми, мати зеленая дубровушка...»* и пр.—Песня эта (в ре-

дакции, усвоенной Пушкиным) сохранилась в песеннике, изд. Н. Новикова, М. 1780, ч. I, № 131. Эту же песню Пушкин использовал в «Дубровском» (гл. XIX).

511. ...я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую...—Возможно, что в сцене этой, равно как и в дальнейших мотивировках отношений Пугачева и Гринева, получил отражение анекдот о казанском пасторе, произведенном Пугачевым в полковники за милостыню, которую самозванец получал от него в казанском остроге («История Пугачева», гл. VIII).

### Г л а в а IX

514. Эпиграф взят из стихотворения М. М. Хераскова «Разлука».

516. *Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее: «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей...»* и пр.—Об источнике этой сцены см. выше, стр. 892.

### Г л а в а X

521. Эпиграф взят из «Россиады» М. М. Хераскова (песнь XI).

527. *Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории...*—См. «Историю Пугачева»; гл. IV.

530. ...с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой.—См. «Историю Пугачева», гл. II.

### Г л а в а XI

533. Эпиграф, судя по исчерканным вариантам рукописи, сочинен Пушкиным. Ссылка на сочинения А. Сумарокова не верна.

535. *Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами это был передовой*

караул пугачевского пристанища... и пр.— Об этой сцене см. выше, стр. 896.

538. ...первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей)...— Характеристики их см. в «Истории Пугачева», гл. III.

547. Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало».— См. выше, стр. 890.

## Г л а в а XII

549. Эпиграф, два последних стиха которого в рукописи Пушкина читаются иначе («Некому ее снарядити, / Некому [ее] благословити»), близок Пушкинской записи свадебной песни: «Много, много у сыра дуба / Много ветвей и поветвей, / Только нету у сыра дуба / Золотые вершиночки» и пр. (см. т. III, стр. 301).

Заменив сравнение с «сырым дубом» «яблонькой» и перефразировав концовку песни, Пушкин заботился не столько о точной передаче народной песни, сколько о приспособлении эпиграфа к тематике главы.

## Г л а в а XIII

565. Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева...— См. «Историю Пугачева», гл. V.

567. Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном.— См. «Историю Пугачева», гл. VI и VII.

## Г л а в а XIV

576. ...отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым...— Волынский, Артемий Петрович (1689—1740)— кабинет-министр Анны Иоанновны, герой думы Рылеева и романа Лажечникова «Ледяной дом», казненный (вместе с А. Ф. Хрущевым, советником адмиралтейств-кол-

легии) за участие в заговоре против Бирона, фаворита императрицы, фактического главы государства.

584. Черновой вариант концовки:

«Петр Андреевич умер в конце 1817-го года. Рукопись его досталась старшему внуку его, который и доставил нам, оную, узнав, что мы заняты были историческим трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. К сожалению мы получили ее слишком поздно, и решили с дозволения родственников напечатать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф, и тем сделать книгу достойной нашего века.

23 июня.

*А. Пушкин».*



## Отрывки и наброски

### Надинька

Печатается по черновому автографу ЛБ, тетрадь № 2364, л. 57. Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 3, стр. 654—655; точнее и полнее—С. М. Бонди в Полном собр. соч. Пушкина, 1930, т. IV, стр. 486. Датируется 1819 годом по месту в рукописи, среди черновиков «Руслана и Людмилы» и стихов 1819 года. В рукописи сохранился и второй вариант названия повести—«Эльвина». Черновой вариант зачина: «У гусара К [В] было дружеское собрание». Из четвертого абзаца, после слов «ветренный Вельверов», зачеркнуто: «Я без ужина никак не могу обходиться, а ужинать могу только у наших известных пр(елестниц). Виктор одобрил эту похвальную привычку».

Героиней задуманной повести должна была, очевидно, явиться Надинька Форст, известная петербургская «прелестница» конца 10-х годов. О ней упоминал Пушкин в послании «К Щербинину» 1819 года («Кто Надиньку под вечерок за тайным ужином ласкает»); к ней же относилось и четверостишие «С тобой приятно уделить...» и пр., обычно приписываемое Пушкину. В письме его же к П. Б. Мансурову от 27 октября 1819 года с тематикой начатой повести непосредственно связаны строки: «Всеволожский Никита играет; мел столбом, деньги сыплются!» Образ жизни этой поры запечатлен и в стихах, исключенных из второй главы «Евгения Онегина» (1823):

Бывал готов я в эти лета  
Допрашивать судьбы завет,  
Налево ляжет ли валет?

Уж раздавался звон обеден,  
Среди разбросанных колод  
Дремал усталый банкOMET,  
А я нахмурен, бодр и бледен,  
Надежды полн, закрыв глаза,  
Пускал на третьего туза.

«Гости съезжались на дачу...»

I. Гости съезжались на дачу \*\*\*... Печатается по автографу (беловому, с поправками) ЛБ, тетрадь № 2387 Б, лл. 40, 41, 57, 58, 42, 43, 55. Впервые опубликовано с некоторыми неточностями и цензурными изъятиями в сборнике «Сто русских литераторов», СПб. 1839, т. I, стр. 94—95. Автограф черновой редакции этой части повести находится в ЛБ, тетрадь № 2371, лл. 27—36 об. См. некоторые варианты в «Русской Старине» 1884, № 7, стр. 45—46. Датируется по месту в рукописи осенью 1828 года.

II. Минский лежал еще в постеле... Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2371, л. 98. Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 7, стр. 54. Датируется условно 1828—1829 годом.

III. Вы так откровенны и снисходительны... Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2382, лл. 75 об.—73. Впервые частично опубликовано П. В. Анненковым в «Вестнике Европы» 1880, кн. VI, стр. 611; полнее—В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 11, стр. 365—366 и С. А. Венгеровым в «Пушкине» 1910, т. IV, стр. 255—256. Датируется по месту в рукописи началом 1830 года.

Прототипом Зинаиды Вольской (в плане «Зелия») являлась известная петербургская красавица этой поры, Аграфена Федоровна Закревская, жена министра внутренних дел генерал-адъютанта А. А. Закревского, охарактеризованная Пушкиным тою же осенью 1828 года

в «Портрете» («С своей пылающей душой, / С своими бурными страстями») и в «Наперснике» («Твоих признаний, жалоб нежных»), портретно зарисованная в одной из выпущенных строф восьмой главы «Онегина» («Неслышно в залу Нина входит...» и пр.) и бегло отмеченная в основном его тексте (сравнение Татьяны с «блестящей Ниной Воронской, сей Клеопатрою Невы»). Страницы о Зинаиде Вольской являлись местами лишь прозаическим переложением «Портрета» и «Наперсника», а письмо Пушкина от 1 сентября 1828 года к Вяземскому о Закревской («Она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники») проливает свет на основу и самой завязки романа (ср. сентенцию Минского в первом наброске: «Я просто ее наперсник, или что вам угодно. Но я люблю ее от души—она уморительно смешна»—и его же роль в наброске втором той же главы). Возможно, что из-за портретности героини и некоторой обнаженности автобиографических черт, сообщенных образу Минского (о его фамилии см. выше, стр. 826), Пушкин отказался от продолжения начатого романа и переключил его материал в схему «На углу маленькой площади». Несколько снизив образ Минского, а Вольскую из блестящей светской львицы превратив в увядающую обительницу Коломны, Пушкин художественно резче и убедительнее мог разрешить и намеченную им романическую коллизию—столкновение Вольской с ее будущей соперницей («молодой провинциалкой», судя по плану). На отказ от первого варианта романа известное влияние могло оказать и знакомство Пушкина в конце 1828 года с полным текстом «Бала Баратынского, который не только героиней своей поэмы избрал ту же Закревскую, но предвосхитил и всю фабульную схему Пушкина (Арсений, герой, несколько напоминающий Минского, покидает свою любовницу, великосветскую львицу «княгиню Нину», для Ольги, «чистой», хотя и мало заметной, молодой девушки). Восторженные критические заметки Пушкина о «Бале»

Баратынского дают ключ к уяснению особенностей и его собственного подхода к той же теме. Одна эпизодическая деталь брошенного романа (разговор с испанцем о светских женщинах) была развернута Пушкиным в начале 1830 года в особом художественно-публицистическом этюде (разговор с испанцем о русской аристократии).

603. *Один из наших поэтов*—кн. П. А. Вяземский.

605. *Гуссейн-паша*—последний алжирский бей, низложенный французами в 1830 году.

608. «*Liaisons dangereuses*»—«Опасные связи», роман Шодерло-де-Лакло (1782).

—...*гений выкраден из Жомини*.—*Жомини*, Генрих (1779—1869)—историк и теоретик военного дела, участник походов Наполеона; с 1813 года—генерал-адъютант русской службы.

612. *Наша дворянская чернь, к которой и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха. Но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда...* и пр.—Формулировка мыслей, получивших выражение в «Моей родословной», «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений», «Романе в письмах» и заметках о русском дворянстве.

613. *Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди дурака или балом двоюродной сестры*.—См. далее.

#### «На углу маленькой площади...»

Печатается частью по беловому автографу ЛБ, тетрадь № 2386, лл. 12, 13, 50 (глава I), частью по черновому ЛБ, тетрадь № 2371, лл. 88—86 об. (глава II). Автограф черновой редакции главы I хранится в ПД (собрание А. Ф. Онегина) и в ЛБ, тетрадь № 2371, лл. 88 и 89. Впервые глава I опубликована в Посмертном изд. соч. Пушкина, т. XI, 1841, стр. 143—147 и глава II,

дополнения и варианты к главе I—В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 7, стр. 51—52; точнее— в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 492—494. Наброски черновой редакции опубликованы в сборнике «Неизданный Пушкин», П. 1922, стр. 158—162. Датируется на основании положения в рукописи самым концом 1829—первой половиной 1830 года. Первая глава была перебелена, возможно, в начале 1831 или 1832 года (на листе, занятом I главой, сохранилась дата: «24 февраля»).

В тетради ЛБ, № 2382, л. 23, об. сохранился набросок плана повести:<sup>1</sup>

В Коломне *avant-soirée*.<sup>2</sup> Она—больная, капризная, нежная. Он (рассеянный, сатирический) лжет—*soirée* с хор.(?). Явление в свет молодой девушки—Он влюбляется—Утро молодого человека.—У них будут балы, покамест не выйдет замуж.—Он представлен. Сцены в Коломне—Он ссорится.

План этот, восходя в основных своих частях к замыслу повести, первый вариант которой был реализован в набросках «Гости съезжались на дачу» (см. выше, стр. 906, а также стр. 949), в процессе своего осуществления свидетельствовал о некотором снижении социального положения центральных его персонажей. Блестящая Зинаида Вольская превращена была в увядающую «больную и нежную» даму, уже оставившую большой свет, а функции Минского, холодно самолюбивого, «усмиренного опытами» и уверенного в себе аристократа, сменил Валериан Володский, молодой человек, еще не завоевавший себе прочного положения в обще-

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 11, стр. 350; полнее и точнее— в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 494.

<sup>2</sup> В сумерки.

стве, боящийся быть «в пренебрежении у светской аристократии», мнительный и раздражительный. С обстоятельствами личной жизни Пушкина связаны были усиление в повести элементов сатирической характеристики петербургского большого света (см. эти же мотивы в «разговоре с испанцем», в «Романе в письмах», в «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений», в «Моей родословной») и некоторые особенности зарисовки отношений Володского к Зинаиде (ср., например, строки повести: «Он был в отчаянии: никогда не думал он связать себя такими узами...» и пр. с письмом Пушкина к Е. М. Хитрово зимой 1828—1829 г.: «Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. д. Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств...»).

Сюжетная схема начатой повести создалась, возможно, под воздействием романа Б. Констан «Адольф» (1815), высоко ценимого Пушкиным. Как раз в 1829 году над переводом этого романа работал П. А. Вяземский, а значение, которое придавал предстоящему изданию Пушкин, видно хотя бы из заметки его в «Литературной Газете», где «Адольф» характеризовался еще неопубликованными строками «Онегина»: «Адольф принадлежит к числу *двух или трех романов,*

В которых отразился век,  
И современный человек  
Изображен довольно верно  
С его безнравственной душой,  
Себялюбивый и сухой,  
Мечтаньям преданный безмерно,  
С его озлобленным умом,  
Кипящим в действии пустом».

Это толкование «Адольфа» существенно уясняет и отношение Пушкина к образу Володского. Об отражении в повести Пушкина других элементов тематики «Адольфа» и некоторых следов его знакомства с «Фи-

зиологией брака» Бальзака (1829) см. статью А. А. Ахматовой «Адольф» Б. Констана в творчестве Пушкина («Временник Пушкинской Комиссии», т. I, стр. 101—106).

614. Перевод эпитафия: «Ваше сердце—губка, пропитанная желчью и уксусом. *Неизданная переписка*».

Источник этого эпитафия не установлен.

616. «*А кто такая графиня Фуфлыгина?*»—«*[Взяточница, толстая], наглая дура*».—В строках этих дана почти портретная характеристика графини М. Д. Нессельроде, жены министра иностранных дел, одной из ожесточенных гонительниц Пушкина в петербургском большом свете и при дворе.

618. Эпитаграф перенесен был Пушкиным впоследствии в «Пиковую даму». Перевод его см. выше, стр. 864.

#### ⟨Роман в письмах⟩

Печатается по автографу ПД (первые семь писем) и ЛБ, тетрадь № 2382, лл. 93 об.—87 об. (последние три письма). Автограф черновой, заголовка не имеет, перебелена на особом листе только часть первого письма (от слов «Ты, конечно, милая Сашенька» до «Слезы ее меня тронули»). Впервые опубликовано (с пропусками и искажениями) П. В. Анненковым в дополнительном томе Сочинений Пушкина, т. VII, 1857, стр. 125—138; дополнено им же (несколько строк в письме восьмом, вместе с которыми ошибочно введена в «Роман» страница из «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений») в статье «Общественные идеалы Пушкина» («Вестник Европы» 1880, кн. VI, стр. 612) и В. Е. Якушкиным в работе «Рукописи Пушкина» («Русская Старина» 1884, № 11, стр. 362—364). Весь текст выправлен по автографу в 1930 году и вновь несколько уточнен в настоящем издании.

Время работы Пушкина над «Романом в письмах» определяется датами черновых текстов двух писем:

первое датировано 21 октября, третье—1 ноября (первоначально «30 окт.»). Даты эти относятся к 1829 году, что подтверждается, во-первых, местом писем в тетради № 2382, среди черновиков «Путешествия в Арзрум», восьмой главы «Онегина» и стихотворения «Зима. Что делать нам в деревне...», писанных 2 ноября 1829 года, во-вторых, внутренней ссылкой в письме пятом на 1829 год как на текущий и наконец отметкой в конце письма первого: «С. Павловское».

Село Павловское—имение П. И. Вульфа, дяди приятеля и приятельниц Пушкина, в Старицком уезде Тверской губернии. Пушкин гостил здесь в октябре 1828 года, в январе и осенью 1829 (см. письма Пушкина к А. Н. Вульфу от 27 октября 1828 года и 16 октября 1829 г. В первом из этих писем появляется и известная формула: «Тверской Ловлас С.-Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает»). Встретясь в Павловском и в Малинниках со своими тригорскими приятельницами 1824—1826 гг., Пушкин слегка волочился здесь за «нежной, томной, истерической» Анной Николаевной Вульф и за «уездной барышней» Е. В. Вельяшевой (вероятный прототип Маши), но в то же время приглядывался и к формам барщинного хозяйства, к усадебному быту и к крепостной деревне (ср. в восьмом письме: «Всё это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян...» и т. п.).

23 августа 1833 года Пушкин писал жене: «Ты не угадаешь, мой ангел, откуда я к тебе пишу: из Павловского, между Берновом и Малинниками, о которых вероятно я тебе много рассказывал... Назад тому пять лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались...» Ср. в «Романе в письмах»: «Вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры. Дамы меня окружают...» и пр.

Сатирическая характеристика великосветского Петербурга, данная в «Романе в письмах», необычайно

близка строфам XXIV—XXVII восьмой главы «Евгения Онегина», писанным в то же время и частью даже в той же тетради ЛБ, № 2382. Но «Роман в письмах» тесно связан был и с предшествующими главами «Онегина» (типологическая близость обеих героинь, методы показа петербургского денди и «уездной барышни», разгадка «героя» посредством чтения «героиней» старых отметок на полях прочитанных им книг, упоминания о Фонвизинских персонажах в строфе, посвященной гостям Лариных в главе пятой «Онегина» и в восьмом письме романа, и т. п.). В начатый роман Пушкин предполагал вложить и свои излюбленные мысли о дворянском оскудении, о подлинной и мнимой русской аристократии (см. более раннюю наметку суждений об этом в набросках «На углу маленькой площади» и в «Гости съезжались на дачу»—разговор с испанцем), а также некоторые общие соображения о Петровской табели о рангах («чины в России») и о системе дворянского воспитания, намеченные им еще в «Записке о народном воспитании» 1826 года (пробелы в девятом письме, вероятно, и предназначались для этих вставок).

Трудностями проведения в печать чисто публицистических страниц «Романа в письмах», с одной стороны, и, с другой—использованием в нем материала, нужного для «Евгения Онегина» и частично в последнем уже даже показанного, обусловлен был отказ Пушкина от занимавшего его в 1829 году замысла. Но уже написанные части «Романа» не остались без движения в его бумагах. Осенью 1830 года в Болдине в «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» переходят из «Романа в письмах» рассуждения о старой и новой русской аристократии. В рукописную редакцию «Метели» (в печатном тексте это место было несколько изменено) переходит общая характеристика Маши и ее семьи (см. письмо второе); в «Барышне крестьянке» оказывается использованной страница об «уездных барышнях, воспитанных в тени своих садовых яблонь» и пр. и некоторые другие

детали писем седьмого (о дамской обуви) и восьмого (линия поведения Владимира \*\* в кругу провинциальных помещиков). Наконец, в 1834 году Пушкин для «Пиковой дамы» приспособляет свою зарисовку Лизы, которая, сниженная и социально и интеллектуально, оживает в образе Елизаветы Ивановны, бедной воспитанницы знатной старухи. В новой повести развертываются и суждения героини «Романа в письмах» о горькой доле «девушек, состоящих на правах воспитанниц, дальних родственниц и demoiselles de compagnie», а исключенный из письма седьмого анекдот об «эпиграмме Д.» (см. стр. 916) выдвигается в «Пиковой даме» как эпиграф ко второй ее главе.

622. *Уединение мне нравится на самом деле как в элегиях твоего Ламартина...*—Пушкин очень сдержанно относился к стихам «сладкозвучного, но однообразного» Ламартина (1790—1869), одного из самых модных французских поэтов 20-х годов. Отзыв о его «тощем и вялом» однообразии Пушкин повторил и в заметке «Всем известно, что французы народ самый антипоэтический» (1832). Характерно, что и героиня «Романа в письмах» не считает «своим» Ламартина.

624. *Отец [балагур] и хлебосол. Мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста. Дочка стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе.*—Строки эти почти дословно переходят в том же, 1829, году в набросок «В начале 1812 года полк наш стоял в небольшом уездном городе», откуда осенью 1830 года переставляются в рукописную редакцию «Метели»: «В конце 1811 г., в эпоху, столь живо описанную Ф. Н. Глинкою, жил в Нижегородском поместье своем добрый Гаврила Гаврилович Р\*\*, с женою, [румяной], белой, веселой и еще свежую бабою, большой охотницей до виста, и с 17-летней дочерью, меланхолической девицей, бледной и стройной».

625. *...говорит о природе нараспев и с чувством под-*

чает варением...—Ср. в «Евгении Онегине»: «Звала Полиною Прасковью / И говорила нараспев».

630. Я было заглянула в журналы и принялась за критики Вестника \*\*, но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны.—Смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагочестивости сочинения, которые прочли мы все...—Пушкин имеет в виду статьи Н. И. Надеждина в «Вестнике Европы» о «Графе Нулине». На эти статьи Пушкин хотел ответить в «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) и в особом письме в редакцию «Литературной Газеты» («Отдавая полную справедливость...» и т. п.). Одновременно же с «Романом в письмах» он откликнулся на обвинения Надеждина в заметке «Многие недовольны нашей журнальной критикой» (см., напр., концовку: «Педантизм имеет свою хорошую сторону. Он только тогда смешон и отвратителен, когда легкомыслие и невежество выражаются языком пьяного семинариста...») и в наброске эпиграммы:

В журнал совсем не европейский,  
Над коим чахнет старый журналист,  
С своею прозою лакейской  
Взошел болван семинарист.

— Я узнала, что Р. объявил однажды себя решительно на стороне аристократок, потому что они лучше обуваются.—В черновой редакции этих строк (на обороте автографа первого письма) им предшествовала следующая сентенция, использованная впоследствии в «Барышне крестьянке»:

«Неопрятная обувь в женщине доказывает или недостаток воспитания, или неуважение приличий. С об(увью) дозволяется кокетство».

Мотивировка предпочтения, оказываемого Р. (это, конечно, не русское эр, а французское П—инициал, которым Пушкин подписывал нередко свои статьи)

аристократкам, заменила в письме седьмом следующие зачеркнутые строки:

«Недавно кто-то напомнил эпиграмму Д. какой-то спелой кокетке, которая смеялась над его демократической склонностью к субреткам. — *Que voulez-vous madame? Elles sont plus fraîches.* Многие приняли сторону дам большого света. Утверждали, что любовь питается блеском и тщеславием. Это напоминает мне слова Р. Он объявил себя решительно (на стороне аристократок, потому что они лучше обуваются) и пр.»

635. *Петербург—прихожая, Москва—девичья...*—Сентенция, предназначавшаяся в 1827 году для «Отрывков из писем, мыслей и замечаний», но исключенная оттуда, вероятно, цензурой.

635—636. *Древние фамилии приходят в ничтожество, новые поднимаются и в третьем поколении исчезают опять. К чему ведет такой политический материализм? Не знаю, но пора положить ему преграды.*—Политический смысл этих тирад определяется их связью с многочисленными рукописными трактатами и секретными докладными записками об уничтожении табели о рангах и о введении майоратов, появившимися в последнее десятилетие царствования Александра I. Мы имеем прежде всего в виду защиту майоратов в известной записке об освобождении крестьян, поданной в 1816 году П. Д. Киселевым, а также записку «Об уничтожении гражданских чинов», представленную неким Марковым через Н. С. Мордвинова графу А. А. Аракчееву 3 ноября 1826 года. Особенно интересна для уяснения генезиса политических установок Пушкина в «Романе в письмах» система аргументации записки Маркова: «Разделение статских чинов на классы, неизвестное во всей Европе, должно приписать тому, что Петр I желал чрез сие ввести большую подчиненность между боярами, всегда между собою кичившимися... Постановления сии соделались ныне вредными, ибо произвели множество дворянских родов, кои, получив начало свое от людей

необразованных и исшедших из самых низких классов народа, не могли потому передать потомству своему того возвышенного духа и тех правил чести, кои во все времена и у всех народов существенно отличали дворянское сословие. В особенности тот легкий способ приобретать дворянское достоинство нанес великий вред российскому купечеству, ибо замечено, что многие из знатнейших купеческих родов, перешедши в дворянство, утратили знаменитость свою по торговым делам, потребовали стяжанные предками сокровища и из первых в прежнем состоянии соделались последними в новом. Если щедрая раздача дворянских дипломов столь очевидно унижает сие достоинство, и потому была бы вредна для всякого государства, то в России она тем бедственнее, что у нас одним дворянам предоставлено право владеть крестьянами, и потому, чем более размножается дворян, тем более увеличивается число людей, пользующихся сим правом» («Сборник исторических материалов, извлеченных из Архива собственной е. и. в. канцелярии, СПб. 1901, стр. 391—392).

636. *Я без прискорбля никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов...* и пр.—Первая формулировка суждений Пушкина об этом дана в 1827 году в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» («Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно...» и пр.). Эта же тема использована в фабуле повести «Гости съезжались на дачу», после «Романа в письмах» перешла в «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» и в «Родословную моего героя».

— *Какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому».* Об этой надписи см. заметку, предназначавшуюся Пушкиным в 1836 году для «Современника» (т. IX наст. издания).

637. *Какая дикость! Для них не прошли еще времена Фонвизина.—Между ими процветают Простаковы и Скотинины!*—Возможно, что для сатирической характе-

ристики провинциального дворянства еще в пятой главе «Онегина» при описании гостей Лариных использованы персонажи Фонвизина (глава V, строфа XXVI):

С своей супругою дородной  
Приехал толстый Пустяков;  
Гвоздин, хозяин превосходный,  
Владелец нищих мужиков;  
Скотинины, чета седая...  
и пр.

638. «А потому что патриотки».—Стих из «Горя от ума».

639. *Охота тебе корчить г. Фобласа...*—Фоблас—герой серии романов Луве-де-Кувре «Приключения кавалера Фобласа».

641. *Эта девушка, выросшая под яблонями и между скирд, воспитанная природой и старыми нянюшками, гораздо милее наших однообразных красавиц...*—Строки эти использованы в «Барышне крестьянке»: «Что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам...» и пр.

«В начале 1812 г. полк наш стоял...»

Печатается по черновому автографу ЛБ, тетрадь № 2382, л. 13. Впервые опубликовано С. М. Бонди в Полном собр. соч. Пушкина, приложение к журналу «Красная Нива» 1930, кн. 9, стр. 504.

Набросок, для которого использовано несколько строк «Романа в письмах» (см. выше, стр. 914), датируется по месту в рукописи 1829 годом и является, возможно, вариантом начала «Метели» (см. выше, стр. 90, а также рукописный вариант этого начала, стр. 821). Семья городничего, едва намеченная в наброске «В на-

чале 1812 г....» и замененная в «Метели» семьей провинциального помещика, ожила в том же составе и, примерно, с теми же квалификациями в «Ревизоре» Гоголя. Эта тематическая связь не случайна, ибо самый замысел «Ревизора» принадлежал, как известно, Пушкину.

⟨Повесть о прапорщике Черниговского полка⟩

Печатается по черновому автографу ПД (бывш. собрание И. А. Шляпкина). Впервые частично опубликовано П. В. Анненковым в «Материалах для биографии Пушкина», 1855, стр. 273; полностью—в книге И. А. Шляпкина «Из неизданных бумаг Пушкина», СПб. 1903. До 1930 года обычно печаталось в приложениях к «Повестям Белкина» как якобы вариант к «Станционному смотрителю». Набросок условно датируется 1829—1830 гг. В левом нижнем углу первого листа рукописи сохранился набросок плана всей повести:

Смотритель.—Прогулка.—Фельдъегерь.  
Дождик—Коляска—Gentleman—Любовь.—  
Родина.

Армейский прапорщик, полунищий безземельный дворянин, воспитанник сиротского дома или кадетского корпуса, живущий «с одного жалованья»—фигура типическая как для участников восстания Черниговского полка в декабре 1825 года (в числе сподвижников С. И. Муравьева-Апостола было пять прапорщиков), так и для всего левого крыла южного декабризма. О последнем Пушкин был, конечно, хорошо осведомлен не только по печатным источникам («Донесение Следственной комиссии» и «Высочайше утвержденный приговор об офицерах Черниговского полка, судимых в Могилеве»),—воспоминания о встречах с армейскими заговорщиками в 1820—1824 гг. в Кишиневе, Каменке и Одессе,

оживленные беседами с ссыльными декабристами в 1829 году на Кавказе, позволили ему совершенно безошибочно определить социальную природу «героя», впервые заявившего себя на русской исторической сцене в рядах деятелей Общества соединенных славян и участников васильковских событий.

Поэтому, вероятно, Пушкин почти не воспользовался в своей повести одним известным эпизодом восстания, необычайно благодарным в художественном отношении, но для общей картины движения мало характерным. Мы имеем в виду историю появления и гибели в рядах восставшего Черниговского полка девятнадцатилетнего Ипполита Муравьева-Апостола. Только что произведенный в прапорщики, он выехал зимою 1825 года из Петербурга к месту своего назначения в Тульчин, дорогой, рассчитывая на свидание с братом, свернул в Васильков, куда неожиданно попал в самый разгар восстания, с энтузиазмом стал в ряды революционных черниговцев, при столкновении с правительственными войсками был тяжело ранен и, не желая пережить разгрома мятежников, застрелился.

Прапорщик Пушкина — «бедный прапорщик армейский», а не аристократ Муравьев-Апостол. Повесть, рассчитанная на печать, не могла строиться в тонах патетической апологии бунтаря, и, подобно тому, как Пушкин сделал это впоследствии с Евгением в «Медном всаднике», его герой и в 1829 году оказался несколько сниженным и социально и интеллектуально...

Судя по началу повести и сохранившемуся ее плану, социально-политическая острота вещи связана была главным образом с ее концовкой, обозначенной Пушкиным только одним словом — «Родина». Эта лаконическая запись, открывая простор самым широким догадкам о развязке задуманной Пушкиным вещи, прежде всего ассоциируется с трагическим переломом судьбы всех солдат и офицеров Черниговского полка — с декабрьским восстанием 1825 года.

Повесть о прапорщике Черниговского полка брошена была Пушкиным в то же время и по тем же причинам, по которым ему пришлось уничтожить десятую главу «Онегина». В условиях цензурно-полицейского террора после июльской революции 1830 года даже случайные следы произведения с декабристской тематикой могли навлечь на поэта тяжелые административные репрессии.

Однако он не сразу отказался от начатой вещи. По крайней мере, о какой-то попытке нейтрализации ее фабулы свидетельствуют зачеркнутые в тексте повести прямые ссылки на Черниговский полк, но без этих обозначений произведение, очевидно, лишалось своего стержня, и переработка его была прекращена. В середине 1831 года Пушкин рассматривал сохранившиеся листы повести 1829 года уже только как сырой материал и, подготавливая к печати «Повести Белкина», почти без исправлений перенес в написанного предыдущую осенью «Станционного смотрителя» целую страницу из своей брошенной вещи—описание лубочных иллюстраций к легенде о блудном сыне (см. выше, стр. 825).

**«Участь моя решена. Я женюсь...»**

Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2372, лл. 65 об.—62. Впервые опубликовано П. В. Анненковым в дополнительном томе Соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 139—142 (им же цитировалось в «Материалах для биографии Пушкина», 1855, стр. 276). Пропуски и неточности этой публикации выправлены частью В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 8, стр. 316, частью С. А. Венгеровым в «Пушкине», изд. Брокгауза и Ефрона, т. IV, 1910, стр. 141—142, частью—в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1932, стр. 696—699. Датируется маем 1830 года, на основании положения в рукописи и отметок самого Пушкина: 12 мая (после строк «Вот моя холостая жизнь») и 13 мая (после строк «критикуется в журналах дураками»).

Все три наброска, из которых состоит это явно автобиографическое произведение, прикрытое в рукописи нарочито неверной отметкой: «С французского»,—связаны с помолвкой Пушкина 6 мая 1830 года. О его невесте, Н. Н. Гончаровой, которую он впервые встретил в 1828 году, речь идет в строках «Та, которую любил я целые два года...» и пр. В первом наброске точно воспроизведен образ холостой жизни Пушкина в Москве (даже такая деталь, как редкие визиты к больному дяде—умирающему Василию Львовичу), а во втором и третьем набросках отражены известные нам по другим источникам мысли Пушкина о поездке за границу в случае отказа со стороны Гончаровой и его же первые размолвки с невестой и ее родными.

31 августа 1830 года Пушкин в письме к Плетневу следующим образом подводил итоги этому периоду своей жизни: «Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока... Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери—отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения—словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив».

Одни из сентенций «Участи» слегка лишь варьируют строки французского письма Пушкина от 5 октября 1830 года к будущей его теще (например, о готовности «пожертвовать всеми своими привычками и страстями, всем своим вольным существованием»), другие прямо повторяются потом в письмах Пушкина от 31 августа и 29 сентября к Плетневу (например: «Чорт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью» или «Доселе он я, а тут он будет *мы*»).

653. ...с портретом *м-лле Зонтаг*.—*Зонтаг*, Генриетта (1805—1854)—знаменитая немецкая певица, гастролировавшая в 1830 году и в России.

### Отрывок

Печатается по автографу ЛБ, № 2387 Б, лл. 24, 25, 73, 74. Впервые опубликовано после смерти Пушкина в «Современнике» 1837, кн. VIII, стр. 242—246; ошибки этой публикации устранены В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 12, стр. 557 и С. М. Бонди «Новые страницы Пушкина», 1931, стр. 197 и 201—202. Датировано самим Пушкиным 26 октября, а год (1830) точно определяется на основании тематики наброска, тесной связи ее с «Опытом отражения некоторых нелитературных обвинений» и некоторых палеографических данных (бумага с вод. зн. «1829» и «1830 г.»).

В архиве Пушкина сохранился на особом клочке бумаги (ЛБ, тетрадь 2386 А, л. 15 об.) набросок, предназначавшийся, вероятно, для вставки в «Отрывок». Запись эта, частично опубликованная В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 12, стр. 533, полностью расшифрована в 1930 году С. М. Бонди: «Но главною неприятностию почитал мой приятель приписывание множества чужих сочинений, как то: Эпитафия попу покойного [Нахимова] Курганова, четверостишие о женитьбе, в коем так остроумно сказано, что коли хочешь быть умен—учись, а коль хочешь быть в аду—женись, стихи на брачную перв(ую) ночь), достойные Ивана Семеновича Баркова, начитавшегося Ламартина... Беспристрастные наши журналисты, которые обыкновенно не умеют отличить стихов Нахимова от стихов Б(аркова), укоряли его в безнравственности, отдавая полную справедливость их поэтическому достоинству и остроте».

Основная часть «Отрывка» была переработана Пушкиным в 1835 году для первой главы «Египетских ночей», о чем см. выше, стр. 868.

655. *Публика смотрит на него, как на свою собственность...* и пр.—Об этих строках см. выше, стр. 868.

— *Явится ль он в армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников—публика требует непременно от него поэмы на последнюю победу...*—Намеки на статьи «Се-

верной Пчелы» после поездки Пушкина на Кавказ в 1829 году. См. об этом в предисловии к «Путешествию в Арзрум» и в примечаниях к нему.

657. ...что называл он в своем энергическом просторечии — подслушивать у кабака, что говорят об нем холопья.— Ср. автопризнание в полемических набросках 1830 года: «Пушкин читает все №№ Вестника Европы, где его ругают, что значит—по его энергическому выражению—подслушивать у дверей, что говорят об нем в прихожей» (т. IX наст. издания).

— Он столько же дорожил тремя строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер тремя звездами двоюродного своего дяди... и пр.—Ср. «И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества» («Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»), а также: «Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди дурака или балом двоюродной сестры».

— Кроме сей маленькой слабости, которую, впрочем, относим мы к желанию подражать лорду Байрону...— Ср. «Если быть дворянином значит подражание английскому поэту, то сие подражание весьма невольное...», а также: «Я русский дворянин, и знал своих предков прежде, чем узнал Байрона» (т. IX).

658. ...опасными по своему двойному ремеслу...—нарек на Булгарина, совмещавшего литературную работу с негласным сотрудничеством в III Отделении. Об этом см. памфлеты Пушкина «О записках Видока» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина» (т. VIII наст. издания).

(Роман на Кавказских водах)

Печатается по автографу ЛБ, № 2377 А (два полулиста с вод. зн. «1831 г.»). Впервые опубликовано П. И. Бартевым в «Русском Архиве» 1881, кн. III, стр. 466—468.

Датировано 30 сентября (1831 года), причем отсутствующее в рукописи обозначение года точно определяется на основании дат планов повести. Эти планы и связанные с ними заметки (автографы ПД—впервые опубликованы Н. В. Измайловым в изд. «Пушкин и его современники», вып. XXXVII; заметка ко 2-му варианту—«Раз. брат едет из Петербурга»—опубликована впервые С. М. Бонди в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1932, стр. 706) печатаем полностью, придерживаясь хронологической их последовательности:

(1)

[Кавказские воды—семья русская]—Якуб(ович) приезжает—Якуб(ович) *impatronisé*—arrive du [frère] véritable amant—[tout le monde] les femmes enchantées de lui—soirées [dans]<sup>1</sup> в калмыцкой кибитке—[jeux]<sup>2</sup> встреча, изъяснение—поединок—Якуб(ович) [ранен] не дерется—условие—он скрывается—толки, забавы, гуляния—[кунак—enlèvement]<sup>3</sup> нападение черкесов—enlèvement—[Москва—приезд Якуб(овича) в Москву].—Якуб. хочет жениться—

*Заметки к 1-му варианту плана*

Якуб. enlève Marie, qui a fait avec lui la coquette [son amant l'enlève du milieu des tcherkes].

Kounak—un jeune garçon [amoureux d'elle] attaché à elle l'enlève et la [donne] rend à sa famille.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Становится своим человеком—приезд [брата] настоящего любовника—[все] женщины в восхищении от него—вечера [в].

<sup>2</sup> Игры.

<sup>3</sup> Похищение.

<sup>4</sup> Похищает Марию, которая кокетничала с ним [ее любовник похищает ее у черкесов].—Кунак—юноша [влюбленный в нее] привязанный к ней, похищает ее и [отдает] возвращает в семью.

(II)

Les eaux—une saison<sup>1</sup>, весна, кто живет на Кавказе—  
один расслабленный [конвойный] майор Курисов—ге-  
нерал-баба—генеральша Мерлина—два лекаря.

Семейства съезжаются—отец и [две] дочери—отец  
составляет вист; расслабленный, лекарь и Курисов—  
дочь дружится с воспитанницей генеральши—воспитан-  
ница чувствительная сводня—[приезд Якубовича] [при-  
езд брата и любовника]...

Поэт, брат, любовник, Якубович, зрелые невесты,  
банкометы (сотрудники) Якубовича.

На другой день банка—все дамы на гуляньи ждут  
Якубовича. Он является—с братом, который представ-  
ляет его—его ловят—он влюбляется в Марью—caval-  
cade<sup>2</sup> Бешту—Якубович сватается через брата Re-  
lham—отказ—дуэль—у Якубовича секундант поэт, у  
брата (Курисов отказывается) любовник, раненый на  
Кавказе офицер, бывший влюблен(ным?) [еще в], знав-  
ший Якубовича в горах и некогда им ограбленный—  
Якубович ночью едет в аул (к) узденю—во время пере-  
езда из Горячих на Холодные, Якубович enlève—тот  
спасает ее с одним кунаком.

*Заметки ко 2-му варианту*

1

[Корсакова] [Александра] Алина увезена Кубов(и-  
чем?) в аул и спасена [ее женихом] [влюбленным офице-  
ром]—Гранев—

2

Раз.(?) брат едет из Петербурга—il laisse son escorte  
au [pauvre] paralytique—est attaqué par les tcherkes—  
il en tue un—les autres fuient, [est blessé] [Якубович] Яку-

---

<sup>1</sup> Воды—сезон.

<sup>2</sup> Прогулка верхом.

бович n'y est pas<sup>1</sup>—спрашивает у сестры [в кого она влюблена] влюблена (ли) она в Якубовича. Смеется над ним.

*Якубович fait des frais pour lui—et lui demande sa soeur en mariage—Duel*<sup>2</sup>

### (III)

Приезд на станцию старухи Корсаковой и старика Кубовича. Корсакова едет далее, а он плетется назад. [Они атакованы].

Гранев, Курилов и Хохленко сидят у кислосерного источника—Курилов рассказывает черкесский набег—едет карета—Шмидт предупреждает Хохленка [Хохленко ходит]—приезжает в параличе разбитый старик—Хохленко ходит за ним.

Алина кокетничает с офицером, который в нее влюбляется—вечера кавказские—приезд Кубовича—смерть его отца—театральное погребение—Алина начинает с ним кокетничать—Кубович введен в круг Корсаковых—им все восхищаются—Гранев его начинает ненавидеть—Якубович предлагает свою руку, она не соглашается<sup>3</sup> влюбленная в Гранева—он предает его черкесам—он освобожден (казачкою-черкешенкою) и является на воды—дуэль—Якубович убит.

### *Наброски разработки 3-го варианта*

#### 1

Кунак, друг Якубовича, пленитель офицера, брат казачки.

---

<sup>1</sup> Он оставляет свой конвой [бедному] параличному—на него нападают черкесы—он убивает одного из них—остальные бегут [ранен]... Якубовича между ними нет.

<sup>2</sup> *Якубович*—платит за него—и просит у него руки его сестры—*Дуэль*.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: Он увозит с бала —[она] Гранев едет освобождать ее и на дуэли убивает Кубова.

## 2

Последняя станция—параличный—разговор Ник. (?) и Корсаковой.

Приезд параличного, смерть его в Константиногорске.

Приезд сына с каз(аками?)

Похороны; всё—кокетство.

## 3

Приезд Корсаковой и т. д.

Общество на водах— — —

Кавказский пленник; дочь с ними кокетничает—она влюбляется.

[Он ей друг].

Приезд параличного.

Встреча пленника с Якубовичем [у Корсаковых]—объяснение.

## 4

Теперешнее состояние Кавказа и прежде—

Кто были [посетители и] жители?

Жители: генерал Мерлини с женой, майор Кур(илов), начальник отряда, казачий отряд, больной [обл. (?)] офицер, два лекаря (враги по ремеслу)—кто скорей рекомендуется.

## 5

Москва, сцена отъезда или об отъезде.

Общество на водах: два лекаря, Курилов, больной и офицер, приехавший заранее.

## 6

Хлапенко, малоросс, лекарь; поэт, игрок, воин, тисard,<sup>1</sup> любопытный—гуляет с казачьим офицером (или

<sup>1</sup> Праздношатающийся.

с большим откупщиком о(десским?)), который ему рассказывает — — — Едет коляска с дамой московской — Хлапенко опаздывает, немец берет его место — «куда вы, Адам Адамович?..»

В наметках романа, начатого Пушкиным в 1831 году, отражены впечатления его двукратного посещения Кавказа в 1820 и в 1829 гг.

Прототипы героев, прямо обозначенные в планах, вводят нас, однако, не только в круг людей, с которыми Пушкин так или иначе сталкивался на Кавказе, но и в сферу московских его отношений конца 20-х годов.

Семья «Кор-вых» романа — это Марья Ивановна Римская-Корсакова, ее дочь Александра Александровна («Алина») и сын Григорий Александрович. В 1827—1829 годах Пушкин был частым гостем в их доме и не скрывал своего увлечения дочерью Корсаковой, одной из первых московских красавиц этой поры. По авторитетному свидетельству П. А. Вяземского, именно ею вдохновлена известная строфа VII главы «Онегина»: «У ночи много звезд прелестных, Красавиц много на Москве» и пр. 8 мая 1827 года через М. И. Корсакову, уезжавшую на Кавказ, Пушкин писал брату Льву, рекомендуя ему эту «чрезвычайно милую представительницу Москвы». «Познакомься с нею, да прошу не влюбиться в дочь». В следующем году много шума наделала история, частично отраженная и в планах Пушкина.

«Горцы сделали набег на всех ехавших от теплых вод на кислые,—писал А. Я. Булгаков 8 июля 1828 года брату.—Тут попалась и М. И. Корсакова, которая была ограблена до рубашки, а какого-то полковника убили... У Корсаковой ни минуты без авантюров». А брат его, К. Я. Булгаков, писал о том же: «Из Москвы уже пишут, что не только Корсакову ограбили, но увели у нее дочь и всех людей» («Русский Архив» 1901, кн. III, стр. 173—175; 1903, кн. III, стр. 129).

Сталкивая Корсакову как героиню своего романа с Якубовичем (или «Кубовичем»), Пушкин имел, конечно, в виду Александра Ивановича Якубовича (1792—1845), бывшего корнета лейб-гвардии уланского полка, известного бреттера и игрока, члена «Зеленой Лампы», высланного в 1817 году из Петербурга на Кавказ, где он и заслужил в 1818—1824 гг. боевую славу исключительного удальца не только в русских войсках, но и среди горских народов; в 1825 году, приехав лечиться от ран в Петербург, примкнул к кругам будущих декабристов, участвовал в восстании 14 декабря, был осужден по I разряду и в 1831 году находился в Нерчинских рудниках. Образ Якубовича давно занимал Пушкина. В ноябре 1825 года он в письме к Бестужеву из Михайловского называл Якубовича «героем своего воображения»: «Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc. В нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде—поэма моя («Кавказский пленник») была бы лучше». Возможно, что коллизия Якубович—Гранев, намеченная в планах романа в 1831 году, ожила в «Капитанской дочке» в образах Швабрина и Гринева (см. выше).

Из прочих персонажей романа—«майор Курилов» (он же «Курисов» в начальных планах)—точно соответствовал майору И. А. Курило, старому кавказскому офицеру, командиру 3-го батальона Тенгинского полка, являвшемуся в то же время зрителем Кислых минеральных вод; «генерал» и «генеральша Мерлини»—это генерал-майор Станислав Демьянович Мерлини (1775—1833), известный кавказский военный администратор и богатый горячеводский (пятигорский) домовладелец; его жена—Екатерина Ивановна, женщина очень боевая, властная, «мать-командирша», хозяйка влиятельнейшего горячеводского салона; врач—украинец Хохленко (он же «Хлобенко» и «Флобенко»), охарактеризованный в планах как «поэт, игрок, воин» и пр., напоминает некото-

рыми своими чертами Е. П. Рудыковского, домашнего врача Раевских во время поездки их совместно с Пушкиным на Кавказ в 1820 году, украинского поэта, участника войны 1812—1814 гг. О Пеламе, герое романа Бульвера, именем которого условно обозначен во II плане брат героини, см. далее.

### ⟨Русский Пелам⟩

Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2387 Б, лл. 16, 17, 80, 18, 79, 81, 19, 78 (бумага с вод. зн. «1834 г.»). Впервые опубликовано под произвольным названием «Записки М\*» в Посмертном изд. соч. Пушкина, т. XI, 1841, стр. 135—141; перепечатано с тем же заголовком в Соч. Пушкина под ред. П. В. Анненкова, т. V, 1855, стр. 513—516, в рубрике «Старинные русские странности» как якобы второй раздел записок П. В. Нащокина. Ошибки первых публикаций устранены в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 516—518. Датируется 1834—1835 годом.

В бумагах Пушкина сохранилось несколько детальных планов романа, условно названного исследователями «Русский Пелам». Впервые эти планы (автограф которых хранится ныне в ЛБ) опубликованы были Е. И. Якушкиным (планы I, II и начало IV) в «Библиографических Записках» 1859, № 5, стр. 144—146 и П. А. Ефремовым в Соч. А. С. Пушкина, т. V, 1881, стр. 516—517 (планы III и IV); точнее—П. В. Анненковым в «Вестнике Европы» 1881, кн. VII. Факсимильные воспроизведения и транскрипции этих планов даны М. А. Цявловским в «Трудах Публичной библиотеки им. Ленина», М. 1934.

Связывая свой роман с романом Эдуарда Бульвера «Пелам, или приключения одного джентльмена» (1828), Пушкин имел, вероятно, в виду типологическую близость своих героев центральным персонажам «Пелама» и учи-

тывал характерные для последнего методы использования «живой природы», перенесение в роман исторически примечательных лиц современного ему светского общества. Герои английского «Пелама»—два молодых аристократа, проходящих тяжелую жизненную школу,—лорд Гленвиль, человек могучих страстей, натура яркая и талантливая, но ничем не дисциплинированная и рано гибнущая, и Пелам—сдержанный, холодный, презрительно-наблюдательный и много работающий над собой политический карьерист, прикрывающийся маской легкомысленного прожигателя жизни. Отзвуки романа Бульвера, сохранившегося в библиотеке Пушкина в английском оригинале и во французских переводах, см. в «Романе в письмах» (1829) и в «Романе на Кавказских водах».

Биография героя задуманного Пушкиным романа имеет много общих черт с фактами жизни П. В. Нащокина (см. о нем т. IX наст. издания) и его семьи (см., напр., «Переписку Пушкина», т. II, 1908, стр. 364—367). Два связанных с ним основных персонажа романа также принадлежали к числу старых знакомцев Пушкина: Орлов, Федор Федорович (1792—1835), брат Алексея и Михаила Орловых, известный игрок, кутила и удалец, отставной полковник лейб-гвардии Уланского полка, с которым Пушкин часто встречался в Кишиневе; Завадовский, Александр Петрович (1794—1856), граф, сын фаворита Екатерины II, камер-юнкер, сослуживец Пушкина по Коллегии иностранных дел, приятель Грибоедова, любовник балерины Истоминой, из-за которой дрался 12 ноября 1817 года на дуэли и убил кавалергарда В. В. Шереметева. Отставленный после дуэли от службы, жил несколько лет в Англии (о нем Пушкин запрашивал Я. Н. Толстого в 1822 году), а затем в Петербурге. С 1826 года состоял на особом учете тайной полиции как крупный игрок и весьма подозрительный человек; в числе посетителей его дачи на Выборгской стороне в 1827 году был отмечен и Пушкин.

## Планы романа

### (I)

Русский Пелам—сын барина, воспитан французами. Отец его *frivole*<sup>1</sup> в русском роде. Пелам. Двоюродный [брат] его, *mediocre frère*(?)<sup>2</sup>—[Пелам в свете—театр, литераторы, картежники]—Он свидетель бесчестия одного молодого человека.—Его дружба с Ф. Орловым. Он помогает ему увезти любовницу, отказывается от игры фальшивой.—Брат его в игре получает пощечину, дуэль, брат его струсил.

Орлов увозит девушку, ее несчастное положение, бедность, разврат мужа. Она влюбляется в Пелама.—Связь ее с ним.—Подозрения мужа—Смерть Ф. Орлова. Пелам влюбляется в женщину высшего общества.—Пелам в б. обществе.—Любовь в большом свете.—[Пелам едет в]—Отец его умирает.—Пелам в деревне—(Эпизод жены Ф. Орлова). Соседи—жизнь русских помещиков.—Слышит о свадьбе двоюродного брата—едет в ПБ.—Брат его делается ему врагом, чернит его в глазах правительства—Он выслан из города (Фед. Орлов доходит до разбойнического—Пел. *son confident*<sup>3</sup>)—Он свидетель нападения.—Он оправдан самим Ф. Орловым.

### (II)

Пелам выходит в большой свет, [влюбляется] и наконец им вдается в дурное общество.—В обществе актрис и литераторов встречается Ф. Орлова и с ним дружится, отказывается от игры наверно, помогает ему увезти девушку, продолжает свою беспутную жизнь—связь его с танцовкой на счет графа Завадовского.

---

<sup>1</sup> Легкомысленный.

<sup>2</sup> Посредственный брат.

<sup>3</sup> Его поверенный.

Дуэль Фед. Орлова с двоюродным братом Пелама.— Пелам узнает обо всем—укрывает его у себя.—Несчастливая жизнь жены Ф. Орлова, Орлов доходит до нищеты и до разбойничества).

Пелам влюбляется—Отец у него умирает—Перемена его, он ссорится с танцовкой.

Он сватается—Ему отказывают—Он едет в деревню—Разбой—Донос—Суд—Тайный неприятель—Письмо к брату, ответ Тартюфа—Узнает о свадьбе брата—Отчаяние—Он [оправдан] освобожден по покровительству Ал. Орлова и выслан из города—

Болезнь душевная—Сплетни света — Уединенная жизнь—Ф. Орлов пойман в разбое, Пел. оправдан, получает позволение ехать в ПБ.—Заключение.

---

### Характеры

Отец и его любовница—[Дв. брат] В(.....)—Фрол.—Фед. Орлов—Ал. Орлов—Кочубей, дочь его; кн. Шаховской, Ежова,—Истомина. Грибоедов, Заводовский—Дом Всеволожских—Котляревский—Мордвинов и его общество—Хрущов—Общество умных (И. Долгорукый, С. Трубецкой, Никита Муравьев etc.)

Служба, юнкер гв., офицер гв., немец начальник, отставка, долги, Неелов, Шишкин,—

Похороны отца etc. Привычка к роскоши. Обеды, литераторы—Ив. Козлов.

---

Большое общество—Семья Пашковых, etc.

### Игроки

Орлов, Павлов.

### ⟨III⟩

*История Фед. Орлова*—Un mauvais sujet, élégant, un Zav., des maîtresses, des dettes.<sup>1</sup> Он влюбляется в бедную светскую девушку, увозит ее; первые года роскошные; впадает в бедность; cherche des distractions chez ses premières maîtresses, devient escroc et duelliste,<sup>2</sup> доходит до разбойничества, зарезывает Щепочкина; застреливается (или исчезает).

*История Пельмова*. Он знакомится с Ф. Орловым dans la mauvaise société<sup>3</sup>—помогает ему увести девушку—отказывается от фальшивой игры—на дуэли секундантом у него—Узнает<sup>4</sup> от него о убийстве Щ., devient l'exécuteur testamentaire de<sup>5</sup> Фед. Орл., попадает в подозрение (он [носит часы Щеп.] дает ломбардный билет). Обращается к Ал. Орлову из крепости.

### Э п и з о д ы

[Уезжает в деревню—Смерть отца его—Эпизод крепостной любви]

*История брата его*. Он зарывается в канцелярии—отрекается от своей матери—[является в дурном обществе, по страсти к деньгам—получает пощечину]—Делается врагом Пельмову—выходит в люди—преследует тайно своего брата—сватается за его невесту—и женится на ней.

Мать его (княгиня Хованская) расточает деньги [Всеволожского] его для Порового, которого обыгры-

---

<sup>1</sup> Мошенник, франт вроде Завадовского, любовницы, долги.

<sup>2</sup> Ищет развлечения у своих прежних любовниц, делается мошенником и дуэлистом.

<sup>3</sup> В дурном обществе.

<sup>4</sup> Сверху написан вариант: *не* ⟨узнает⟩.

<sup>5</sup> Делается душеприказчиком.

вает шайка Ф. Орлова и который получает пощечину etc.

Нат. К(очубей) вступает с Пельмовым в переписку, предостерегает его, etc.

Une danseuse—Пельмов с нею знакомится, находит у ней Фед. Орлова.

#### (IV)

Пельмов воспитан у отца 7-ю французами, немцем шв(ейцарским), англичанином.—Отец им не занимается, но любит—Ссорится с ним за Порового. Отец назначает ему 1000 в год и выгоняет его—Умирает в нищете—сын его хоронит.

[Пельмов] Баск. pour vivre traduit des vaudevilles.<sup>1</sup>—Шаховской, Ежова etc., etc.

---

I. Воспитание. Смерть матери—явление княгини Хованской с Ниградским, мои сшибки с ним, его сплетни. Гувернеры. Жизнь отца.—Il reçoit bonne compagnie en fait d'homme, et mauvaise en fait de femme.<sup>2</sup> Я выхожу в службу и в свет.

II. Светская жизнь петербургская (получаю часть моей матери), балы, скука большого света, происходящая от бранчивости женщин; [он], по примеру молодежи, удаляется в холостую компанию, дружится с Zav. (Ф. Орловым).

III. Общество Zav. Les parasites, les actrices—sa mauvaise réputation; il devient amoureux, Пельмов est son confident.

IV. Enlèvement. P. devient aux yeux du monde un mauvais sujet. C'est alors qu'il est en correspondance

---

<sup>1</sup> Для заработка переводит водевили.

<sup>2</sup> Он приобретает хорошую мужскую компанию и дурную женскую.

avec N.—Il reçoit la première lettre au sortir de chez la Istomine, qu'il console du mariage de Zav.

V. La porte de Чок(олей) lui est refusée; il ne la voit qu'au théâtre. [Son]. apprend que son frère est secrétaire du Чок(олей).

VI. Vie splendide de Zav.—Il donne des diners et des bals. Embarras domestiques. Créanciers. Jeu.

VII. Поровай и son duel.

VIII. Scène chez le père.

IX. Explication avec Zav.

X. P(elymof) rompt avec Zavadowsky.<sup>1</sup>

---

I. Continuation des amours de P(elymof).

II. [Zavad. brigand] la femme de Zav. [misère]

Le mari devenu Ф. Ор. Ses nouveaux compagnons. Leurs exploits. Ils arrêtent dans la rue P(elymof)—Фед. Орлов se reconnaît et tourne la chose en plaisanterie\*.

III. Maladie, délaissement et mort du père de P(elymof).

IV. Situation du frère.

---

<sup>1</sup> III. Общество Завадовского, прихлебатели, актрисы, его дурная слава, он влюбляется, Пельмов его поверенный. IV. Похищение. Пельмов в глазах света делается негодяем. В это время он вступает в переписку с Н.—он получает ее первое письмо, уходя от Истоминой, которую он утешает по поводу женитьбы Завадовского. V. Ему отказано от дома Чоколя, он видит ее только в театре. Он узнает, что его брат—секретарь Чоколя. VI. Роскошная жизнь Завадовского—Он дает обеды и балы. Домашние затруднения. Кредиторы. Игра. VII. Поровай и его дуэль. VIII. Сцена у отца. IX. Объяснение с Завадовским. X. Пельмов порывает с Завадовским.

\* Ce chapitre après la catastrophe.

## V. Assasinat.<sup>1</sup>

### VI.

*Чуколей* (он же «*Чоколей*») — граф В. П. Кочубей (1768—1834), министр внутренних дел в 1819—1825 гг.; его дочь, Наталья Викторовна (1800—1855) — «*Наталья К.*» планов «Русского Пелама», вдохновительница лицейского стихотворения Пушкина «Измены».

934. *Дом Всеволожских* — семья богатейшего промышленника и землевладельца, действительного камергера В. А. Всеволожского (1769—1836). Пушкин был дружен с его младшим сыном Никитой Всеволодовичем (1799—1862), в квартире которого собирался кружок «Зеленая Лампа».

— *Семья Пашковых* — братья Андрей, Егор, Николай и Сергей Пашковы, офицеры лейб-гвардии Гусарского полка, видные представители великосветской петербургской молодежи 1817—1820 гг., их четыре сестры и мать. В начале 30-х годов семья распалась после скандального процесса, затеянного А. И. Пашковым против матери и младших братьев из-за неправильного якобы раздела их многомиллионного состояния.

В числе прочих персонажей романа, кроме общеизвестных представителей политических кружков и литературно-театральных салонов конца 10-х годов, Пушкиным упоминаются:

— *Хрущов*, Александр Павлович (1784—1845) — правитель канцелярии Главного управления путей со-

---

<sup>1</sup> Продолжение любовных похождений Пельимова. II. [Завадовский разбойник]. Жена Завадовского, [нищета]. Муж делается Ф. Орловым. Его новые товарищи, их подвиги. Они останавливаются на улице П(ельимова), Фед. Орлов узнает его и обращает всё в шутку.\* (\*Эта глава после катастрофы.) III. Болезнь, печальное одиночество и смерть отца П(ельимова). IV. Положение брата. V. Убийство.

общения в 1819—1820 гг., по характеристике Ф. Ф. Вигеля—«полулитератор, полуделец, не совсем честен, не совсем плут, но скорее последнее»; *Неелов*, Сергей Алексеевич (1778—1852)—московский богач и веселый прожигатель жизни, автор порнографических стишков; *Шишкин*, Алексей Петрович—отставной офицер, петербургский ростовщик, и многие другие, имена которых остаются или вовсе нерасшифрованными («Поровой», он же «Ниградский», «Фрол.», «Баск.» или «Бам.», «Щепочкин»), или раскрываются предположительно («Котляревский», «Мордвинов», «Павлов»).

«В 179\* году возвращался я...»

Печатается по автографу *ЛБ*, тетрадь № 2387 Б, лл. 23 и 75. Впервые опубликовано после смерти Пушкина в «Современнике» 1837, т. VIII, стр. 247—249, с произвольной отметкой в заголовке «Глава 2». Датируется (на основании вод. зн. бумаги—«1834») 1835 г.

«Мы проводили вечер на даче у княгини Д....»

Печатается по беловому автографу *ЛБ*, тетрадь № 2386 Б, лл. 18, 19, 21 (до слов «Я предлагал \*\* сделать из этого поэму»), далее—по черновикам в той же тетради, л. 25 об. (до «Темная знойная ночь объемлет африканское небо»), автографу *ПД*, из собрания А. Ф. Онегина (до «Этот предмет») и *ЛБ*, тетрадь № 2386 Б, лл. 15, 16, 23, 24 (до «Так вот чего вы не хотели нам рассказать»), далее—по беловому автографу *ЛБ*, тетрадь № 2386 Б, л. 21 (до «Разговор переменился») и, наконец, опять по черновику той же тетради, л. 17. Впервые опубликовано П. В. Анненковым в Соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 143—146 (им же частично цитировано в «Материалах для биографии Пушкина», 1855, стр. 395—396). Дополнения (черновой вариант наброска) и поправки даны были П. И. Бартеневым («Русский Архив» 1882, кн. I,

стр. 221) и В. Е. Якушкиным («Русская Старина» 1884, № 12, стр. 537—538). Страница от слов «Темная знойная ночь» и кончая «Больна бесчувствием она» в сборнике «Неизданный Пушкин», П. 1922, стр. 104—105. В настоящем издании наброски повести «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.» печатаются в редакции, предложенной С. М. Бонди в его книге «Новые страницы Пушкина», М. 1931. Датируются наброски 1835 годом (вод. зн. бумаги «1834»). О связи их с «Египетскими ночами» см. выше, стр. 868.

#### Черновая редакция стихов о Клеопатре:

Чего еще недостает  
Египта древнего царице?  
В своей блистательной столице  
Боготворима *(нрзбр)*  
Спокойно властвует она.  
Всечасно пред ее глазами  
Пирьы сменяются пирами;  
Горит ли [африканский] день,  
Свежеет ли ночная тень—  
Всечасно роскошь и искусства  
Ей тешат дремлющие чувства;  
Покорны ей земные боги,  
Полны чудес ее чертоги,  
В златых кадилах вечно там  
Сирийский дышит фимиам,  
Звучат тимпаны, флейты, лиры,  
[Блистают] дивные кумиры—  
Все земли, волны всех морей  
Как дань несут наряды ей—  
Она беспечно их меняет:  
То в тирском золоте сияет,  
То избирает фивских жен  
Тяжелый пурпурный хитон,  
[То звероловицей Дианой,  
Как идол стройный и румяный,

[Очам] является она  
 И с ног и с плеч обнажена]  
 (То по водам седого) Нила  
 Под сенью рдяного ветрила  
 Она в триреме золотой  
 Плывет Кипридою младой  
 . . . . .  
 Она томясь тоскою бродит  
 В своих садах—она заходит  
 В покои тайные дворца,  
 Где ключ угрюмого скопца  
 Хранит [ей отроков] прекрасных  
 [И юношей] [стыдливо] страстных.

672. *Разговор коснулся как-то Madame de Staël.*— См. выше «Рославлев» и примечания к нему.

673. ...*madame de Maintenon, madame Roland*...—Г-жа де-Ментенон (1635—1719)—всевластная фаворитка короля Людовика XIV; г-жа Ролан (1754—1793)—жирондистка, вдохновительница одного из влиятельнейших парижских политических салонов первых лет революции.

674. *Вчера мы смотрели Anthony*...—«Антоний»—пьеса Александра Дюма, премьера которой в Петербурге состоялась 11 января 1832 года.

— *La physiologie du mariage*—повесть Бальзака (1829).

— ...*Вершнев, который учился некогда у езуитов*...— В черновой рукописи: «Вершнев, один из тех людей, одаренных убийственной памятью, которые всё знают и всё читали, и которых стоит только тронуть пальцем, чтоб из них полилась их всемирная ученость». В рукописи Вершнев называется также Титовым, что позволяет установить прототип этого персонажа: *Титов*, Владимир Павлович (1807—1891)—член московского кружка «любомудров», сотрудник «Московского Вестника» и «Северных Цветов», чиновник Министерства иностранных дел.

### «Цезарь путешествовал...»

Печатается по черновым автографам ЛБ, тетрадь № 2372, лл. 57 об.—56 об. (кончая словами: «Он находился в предместьи города») и ПД, собрание Л. Н. Майкова (от слов «Им управлял»); там же и план всей повести). Стихотворные вставки, отсутствующие в рукописи повести, но в ней отмеченные, печатаются по автографам ПД и ЛБ, тетрадь № 2377 А, № 13. Впервые опубликовано П. В. Анненковым в «Материалах для биографии Пушкина», 1855, стр. 397—400; точнее и полнее—в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 525—528.

Начальные наброски (в тетради № 2372) датируются по месту в рукописи и по палеографическим данным ноябрем 1833 года. Возвратился же к этой работе Пушкин не раньше начала 1835 года, так как самый план ее продолжения (см. далее) набросан на бумаге с вод. зн. «1834 г.», а ода Анакреона «Поредели, побелели», на которую имеется прямая ссылка в дальнейшем тексте, датирована Пушкиным «6 янв. 1835 г.».

#### *Наброски плана*

Описание дома—Первый вечер, как было это и кто.—Греч. Фил(ософ) исчез—Петроний улыбается и рассказывает *оду* (отрывок).

(Мы находим Петрония с своим лекарем—Он продолжает рассуждение о роде смерти—избирает теплые ванны и кровь).—Описание приготовлений—Он перевязывает рану и начинаются рассказы.

1) О Клеопатре—Наши рассуждения о том.

2) Вечер. Петроний приказывает разбить драгоценную чашу—диктует *Satyricon*.—Рассуждения о падении человека—о падении богов—о общем безверии—о предрассудках Нерона—Раб-христианин...

Фактической основой замысла Пушкина явились материалы о Петронии в «Анналах» Тацита (кн. XVI,

гл. 18—20) и в первом французском издании «Сатирикона», сохранившемся в его библиотеке («La satire de Petrone, traduite en français avec le texte latin. Ouvrage complet, contenant les galanteries et les débauches de l'empereur Neron et de ses favoris; avec des remarques curieuses, et une table des principales matières». A Cologne. MDCXCIV). История гибели Петрония, поэта по призванию, аристократа по происхождению и придворного по воле цезаря, должна была привлечь внимание Пушкина некоторыми характерными аналогиями с его собственным ложным положением в петербургском большом свете и при дворе Николая I, а жанровое своеобразие «Сатирикона» (сочетание прозы со стихами разных размеров, так называемая «мениппея», которая была знакома ему еще по «Лицею» Лагарпа) подсказывало самую форму использования в задуманной повести некоторых своих переводов из античных авторов, а равно и некоторых других материалов, находившихся в его портфеле. Так, судя по плану повести, Пушкин предполагал включить в нее стихи о Клеопатре («Чертог сиял»), перемещенные впоследствии в «Египетские ночи».

Обратившись к своим переводам из Анакреона, Пушкин несколько переработал первый и сократил второй, чтобы лучше приспособить их к прозаическому контексту; то же он сделал бы и с одой Горация «Кто из богов мне возвратил», полный текст которой см. в т. III.

Стих Горация, на котором обрывается «Цезарь путешествовал», переведен Пушкиным из оды «К римскому юношеству» (книга III, ода 2-я).

#### (Мария Шонинг)

Печатается по автографу ЛБ, пачка 2377 А, №№ 13, 14, 15, 16, 17. Впервые опубликовано (французский конспект и два первых письма) в «Современнике» 1837, т. VIII, стр. 250—256; остальное—В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 10, стр. 87—89; полнее

и точнее—в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 528—533.

Даты первого и второго письма «25 апреля» и «28 апреля» нами из текста изъяты ввиду того, что они не соответствуют внутренней хронологии писем и являются, очевидно, датами работы над ними Пушкина. Судя по палеографическим данным (бумага конспекта и второго письма с вод. зн. «1832 г.»), повесть писана не раньше 1832 года. Мы датируем ее условно апрелем 1836 года, учитывая исключительную близость характеристики детей Анны Гарлин высказываниям Пушкина о его собственной семье. Так, строки повести: «Дети растут и хорошеют. Франк становится молодцом. Вообрази, милая Марья, что уж он бегаёт за девочками,—каков?—а ему нет еще и трех лет. А какой забияка! Фриц не может им налюбоваться и ужасно его балует... Мина гораздо степеннее; правда, она годом старше»—предваряются в письмах Пушкина к П. В. Нащокину от конца октября 1835 года («Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться») и к жене в сентябре—октябре того же года («Скажи Сашке, что у меня здесь белые сливы, не чета тем, которые он у тебя крадет... Что Машка? и каковы ее победы?» или: «Что ты про Машу ничего не пишешь? Ведь я, хоть Сашка и любимец мой, а всё люблю ее затеи»). Сведения же о возрасте Фрица и Мины точно совпадают с данными о возрасте Саши и Маши Пушкиных к весне 1836 года: Марья Александровна родилась 19 мая 1832 года, а Александр Александрович—6 июля 1833 года. Следовательно, ему в апреле 1836 года, как и Фрицу, не было «еще и трех лет», Маша же, как и Мина, была «годом старше».

Фабула задуманной Пушкиным повести, схематически представленная во французском конспекте, заимствована из издания «*Causes célèbres étrangères, publiées en France pour la première fois et traduites de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand etc. par une*

société de jurisconsultes et de gens de lettres», Paris, C. L. F. Panckoucke», 1827, t. II, p. 200—213 («Infatigable. Procès de Maria Schoning et d'Anna Harlin»). Анализ работы Пушкина над этим источником см. в статье Д. П. Якубовича «Мария Шонинг» как этап историко-социального романа Пушкина» («Звенья» 1934, т. III—IV, стр. 146—167).

#### 695. *Перевод:*

#### Мария Шонинг и Анна Гарлин, осужденные в 1787 г. в Нюрнберге

Мария Шонинг, дочь нюрнбергского рабочего, потеряла отца, когда ей было 17 лет. Она ухаживала за ним одна, так как бедность заставила ее отпустить единственную их служанку, Анну Гарлин.

Возвратившись с похорон отца, она застала у себя двух чиновников податного ведомства, которые велели показать им бумаги покойного, чтобы удостовериться, платил ли он налоги соразмерно своему имуществу. Они нашли после проверки, что старый Шонинг платил несоответственно своим средствам, и наложили печати. Молодая девушка перебралась в пустую комнату, пока начальник податного ведомства решит это дело.

Податные чиновники возвратились с решением своего начальства и с приказом, чтобы Мария-Элеонора Шонинг оставила дом, отбираемый в казну.

Г. Шонинг был беден, но бережлив. Трехлетняя болезнь истощила всё, что он скопил. Мария пошла к чиновникам, плакала, но начальство было неумолимо.

Вечером она отправилась на кладбище св. Иакова. Она ушла оттуда утром; затем, умирая от голода, снова вернулась на кладбище.

Нюрнбергская полиция выплачивает полкроны ночным сторожам за арест каждой женщины после 10 часов вечера. Марию отвели в полицейское управление. На

другой день ее привели к судье, который отпустил ее, пригрозив отправить в исправительный дом, если она попадется вторично.

Мария хотела броситься в Пегниц. Кто-то ее окликает,—она видит Анну Гарлин, бывшую служанку своего отца, вышедшую замуж за инвалида. Анна утешила ее: «Жизнь коротка,—сказала она ей,—а небо вечно, дитя мое».

Мария нашла приют у Гарлинов и прожила у них год. Она вела там очень убогую жизнь. Под конец Анна заболела. Наступила зима, работы не было; цена на продукты поднялась. Всю мебель продали вещь за вещь, кроме кровати инвалида, который к весне умер.

Один бедный врач бесплатно лечил мужа и жену. Иногда он приносил им бутылку вина, но денег у него не было. Анна выздоровела, но сделалась ко всему равнодушной; работы не было совсем.

Однажды вечером, в начале марта, Мария вдруг ушла из дому...

Она была захвачена ночным обходом. Капрал велел солдатам окружить ее и сказал ей, что на утро ее высекут. Мария вскричала, что она виновна в детоубийстве.

Когда ее привели к судье, она объявила, что родила, причем повитухой была Анна Гарлин, которая и похоронила ее ребенка в лесу, где—она сама не знает. Анна Гарлин была тотчас же арестована, и, после отпирательства, приведена на очную ставку с Марией; она ни в чем не созналась.

Принесли орудия пытки. Мария испугалась, схватила связанные руки своей мнимой сообщницы и сказала ей: «Анна, сознайся в том, чего от тебя требуют! Милая моя Анна, для нас всё кончится, а Франк и Нани будут помещены в сиротский дом».

Анна поняла ее, обняла и сказала, что ребенок был брошен в Пегниц.

Дело было решено быстро. Обоих приговорили к смертной казни.—Утром, в назначенный день, их повели

в церковь, где они молитвою приготовились к смерти. На повозке Анна была спокойна. Мария волновалась. Гарлин взошла на эшафот и сказала ей: «Еще минута, и мы будем там (на небе). Мужайся, еще одна минута— и мы предстанем пред богом!»

Мария воскликнула: «Она невинна, я лжесвидетельница...» Она бросилась в ноги к палачу и священнику и рассказала всё... Палач в изумлении останавливается. В народе слышатся крики... Анна Гарлин, на вопросы священника и палача, говорит с отвращением (просто-тою): «Разумеется, она сказала правду. Я виновна в том, что солгала и усомнилась в благости провидения».

Судье посылают донесение. Посланный возвращается через час с приказанием исполнить приговор. Палач, отрубив голову Анне Гарлин, лишился чувств. Мария была уже мертва.



## Планы

### I. «Карты; продан...»

(стр. 699)

Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2369. Впервые опубликовано С. М. Бонди в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 535. Датируется этот обрывок плана (начало его оторвано) 1820 годом по месту в рукописи.

### II. «Влюбленный бес»

(стр. 699)

Печатается по автографу ПД (собрание А. Ф. Онегина). Впервые опубликовано Н. В. Измайловым в сборнике «Неизданный Пушкин», П. 1922, стр. 147; полнее— в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 535. План Пушкина набросан на недатированной записке к нему А. Балша, кишиневца, жившего в 1826—1827 гг. в Москве и в Петербурге, знакомого кн. В. Ф. Одоевского и Хомяковых («Русский Архив» 1884, кн. III, стр. 225). Предположительная дата плана—1826—1828 гг. Инициалы, которыми отмечен в плане один из персонажей будущей повести, расшифрованы нами как «Влюбленный бес» на основании соответствующей отметки в одном из перечней задуманных Пушкиным произведений (на листке, занятом стихотворением «Под небом голубым», дата которого 29 июля 1826 г.). В библиотеке Пушкина сохранился роман Жюль Казотта «Le diable amoureux», заголовок которого предвосхищал название замысла Пушкина. Основные элементы фабулы «Влюблен-

ного беса» использованы были, с согласия Пушкина, в фантастической повести В. П. Титова «Уединенный домик на Васильевском» («Северные Цветы на 1829 год»).

### III. (L'homme du monde)

(стр. 699)

Печатается по автографу ПД (собрание Л. Н. Майкова). Впервые опубликовано в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 535—536. Датируется 1828 годом, так как на основе этого плана начаты были Пушкиным повести «Гости съезжались на дачу» (1828) и «На углу маленькой площади» (1829) (см. выше, стр. 906 и 908).

#### 699. Перевод:

Светский человек, женившийся в провинции на аристократке, ухаживает за молодой дамой (имя). Он ее соблазняет, но женится на другой (по расчету). Жена делает ему сцены. Та признается во всем мужу—утешает ее—заходит к ней. Светский человек несчастен—самолюбив.

#### Появление молодой особы в свет.

Зелия любит тщеславного эгоиста; она окружена холодным недоброжелательством света; благоразумный муж. Любовник, который смеется над ней.—Подруга, отдалившаяся от нее, становится легкомысленной, ведет себя скандально. Любит человека, который не любит ее.—Муж оказывает ей приют.—Она совсем несчастна. Ее любовник, ее друг.

1) Сцена из великосветской жизни... светского человека...

2) ...о соблазне. Связь. Любовник афиширует ее.

3) Появление в свете молодой провинциалки.—Сцены ревности.—Неодобрение света.

4) Слух о женитьбе.—Зелия во всем признается мужу.—Благоразумный муж.—Свадебный визит.—Зелия заболевает, возвращается в свет, за нею ухаживают и т. д.

#### IV. Н. избирает себе в намереники...

(стр. 701)

Печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2387 А, л. 84 об. Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 12, стр. 546, полнее— в «Звезде» 1930, кн. VII, стр. 224.

Набросок, сохранившийся на листе, занятом заголовком «Истории села Горюхина» и условно датируемый поэтому началом 30-х годов, представляет собою, возможно, памфлетную характеристику какого-нибудь живого лица. Первую букву можно читать не как русское «Н», а как французское «Н» (аш). Зачеркнутые варианты: *весь Н(евский) Проспект; берет* вм. *доверяет; тайны* вм. *огорчения*.

#### V. (Планы и наброски новести о стрелце и боярекой дочери)

(стр. 701)

Первый набросок плана печатается по автографу ЛБ, тетрадь № 2365, л. 59. Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 4, стр. 106. Датируется декабрем 1833 года, когда Пушкин пересматривал старую тетрадь и сделал на чистых ее листах несколько карандашных отметок. Второй и третий наброски печатаются по автографу ЛБ, тетрадь № 2378, л. 45. Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 11, стр. 337—338. Датируется нами условно 1833—1835 годом, когда Пушкин, приступая к работе над «Историей Петра Великого», вернулся к брошенной рукописи «Арапа Петра Великого» и, рассчитывая как-то

использовать некоторые нейтральные ее части (страницы о старом боярском быте, о Ржевском, о его дочери и «стрелецком сыне») в той же тетради набросал план нового романа.

Ключ к раскрытию его фабулы дают материалы о стрелецких бунтах (см. в т. IX наст. издания выписки и заметки Пушкина для первых глав «Истории Петра Великого»). Завязка определялась, очевидно, событиями 1682 года (заговор царевны Софии, поддержанной в борьбе за власть стрельцами и раскольниками, боярский погром в Москве и пр.). Ржевские, упоминаемые в плане, — старинный дворянский род, связанный с Пушкиными; А. И. Ржевский в 1686—1689 гг. сидел в приказе Большой Казны. Одним из героев задуманной повести был, вероятно, Иван Елисеевич Циклер, «полковник стрелецкий», ревностнейший сторонник царевны Софии, глава заговора против Петра, казненный в 1697 году вместе с своим тестем Федором Матвеевичем Пушкиным, предком поэта. Таким образом, и в этом романе оставались элементы семейной хроники (правда, уже не Ганнибалов, а Пушкиных). Песня о Циклере отмечена в проектированном Пушкиным в 1832—1833 гг. сборнике народных песен. Для повести о стрельце и боярской дочери предназначались, вероятно, и выписки Пушкина о соколиной охоте в XVII веке, о центральных и местных учреждениях Московского государства (см. т. IX наст. издания). Позднейший вариант повести о «сыне стрельца» см. далее, стр. 953.

## VI. Крипий приезжает в губернию...

(стр. 702)

Печатается по автографу Госуд. публичной библ. в Ленинграде (листок с вод. зн. «1832 г.»). Впервые опубликовано П. О. Морозовым в изд. «Пушкин и его современники», вып. XVI, 1913, стр. 110; точнее—

в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 537. Предположительно датируется 1833—1835 годом. В левом углу автографа написана и зачеркнута Пушкиным фамилия «Свиньин», проливающая свет на происхождение всей записи. Со слов самого Гоголя, О. М. Бодянский отметил в своем дневнике, что фабула «Ревизора» подсказана была ему Пушкиным, рассказывавшим, как Павел Петрович Свиньин (1787—1839), издатель «Отечественных Записок», выдавал себя в Бессарабии за важного петербургского чиновника и толькo зашедши уж далеко (стал было брать прошения от колодников) был остановлен («Русская Старина» 1889, № 10, стр. 134). О происхождении фабулы «Ревизора» см. также «Авторскую исповедь» Гоголя, «Воспоминания гр. В. А. Соллогуба», дополненные рассказом П. И. Бартенева (оттиск из «Русского Архива», М. 1866, стр. 18—19). См. также набросок повести Пушкина «В начале 1812 г. полк наш стоял» и комментарии к ней, стр. 918.

## VII. Les deux danseuses...

(стр. 703)

Печатается по автографу ПД (собрание Л. Н. Майкова). Впервые опубликовано в Полном собр. соч. Пушкина, т. IV, 1930, стр. 539—540. Факсимиле см. в «Огоньке» от 10 февраля 1931 года, № 4. Датируется этот план повести, выделившейся из «Русского Пелама» (см. выше), предположительно 1834—1836 годом.

Судя по сочетанию в плане имен балерины Истоминой и Завадовского, а также по упоминанию о «дуэли», Пушкин предполагал использовать в повести историю известного поединка гр. А. П. Завадовского с Шереметевым, любовником Истоминой, 12 ноября 1817 года. Эта хронология событий, отраженных в замысле Пушкина, ссылки его на *начало* карьеры Истоминой и, наконец, самый факт временного ее ухода со сцены и не участия в балетах Дидло в 1819 году, не оставляют со-

мнений в том, что в отметке Пушкина «Балет Дидло в 1819 г.», последняя цифра является опиской и должна быть изменена на «7» (дата дуэли—1817 г.) или на «5» (время первого появления Истоминой на сцене—1815 г., дебютировала она в балете Дидло «Ацис и Галатей»).

### 703. *Перевод:*

(Две танцовщицы). Две танцовщицы—Балет Дидло в 1819 году... Завадовский—любовник из райка.—Сцена за кулисами—дуэль—Истомина становится модной—она делается содержанкой, выходит замуж. Ее сестра в отчаянии.—Она выходит замуж за суфлера—Истомина в свете.—Ее там не принимают.—Она устраивает прием у себя.—Неприятности—к ней заходит подруга по ремеслу.

---

*Истомина*, Авдотья Ильинишна (1799—1848), упоминается в «Онегине» (гл. I, строфа XX и гл. V, строфа XXXVII), в эпиграмме «Орлов с Истоминой в постеле» (1817). О ней же и о ее выступлении в балете «Кавказский пленник» писал Пушкин брату 30 января 1823 года: «Пиши мне о Дидло, о черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику».

### VIII. «Сын казненного стрельца...»

(стр. 703)

Печатается по автографу ПД (собрание Л. Н. Майкова). Впервые опубликовано в брошюре И. С. Зильберштейна «Из бумаг Пушкина», М. 1926, стр. 31—32. Датируется нами 1834—1835 годом (вод. зн. бумаги «1834 г.»), когда Пушкин как раз работал над материалами о Прутском походе 1711 г. («Записки Моро-де-Бразе», «История Петра Великого»). В числе источников его было, конечно, и знаменитое апокрифическое письмо Петра от 10 июля 1711 года, заключавшее в себе секрет-

ные инструкции Сенату на случай его смерти или пленения турками («Если случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим царем и государем, и ничего не исполнять, что мною, хотя бы то по собственноручному повелению от нас, было бы требуемо, покамест я сам не явлюся между вами в лице моем; но если я погибну и вы верные известия получите о моей смерти, то выберите между собою достойнейшего мне в наследники»).

Об этом письме, впервые опубликованном по-немецки в книге Штелина «Анекдоты о Петре Великом» в 1785 году, Пушкин отмечал в 1835 году: «Штелин уверяет, что славное письмо в Сенат хранится в кабинете его величества при императорском дворце. Но, к сожалению, анекдот, кажется выдуман и чуть ли не им самим. По крайней мере письмо не отыскано» (*ПД*, «Материалы для истории Петра Великого, 1711 год»).

Возможно, что в «Сыне казненного стрельца» Пушкин предполагал использовать некоторые главы брошюнного «Арапа Петра Великого» и материалы, собранные для его перепланировки в 1833—1834 гг.



## Путешествие в Арзрум

Еще в 1827 году Пушкин собирался ехать в Грузию (письмо к брату Л. С. от 8 мая 1827 года), намереваясь заняться историей Грузии и ермоловских войн на Кавказе. В 1828 году на просьбу Пушкина об определении его в действующую армию против турок последовал отказ (20 апреля 1828 года). Через несколько дней (23 апреля) такой же отказ последовал на просьбу Пушкина об отпуске на 6—7 месяцев в Париж. В 1829 году 5 марта, не испрашивая никакого разрешения, Пушкин берет подорожную в Тифлис и 1 мая выезжает из Петербурга. Эта самовольная поездка Пушкина вызвала крайнее недовольство Николая I, и Бенкендорф 22 марта отдал распоряжение об установлении над Пушкиным усиленной слежки. К приезду Пушкина в Тифлис военный губернатор Тифлиса был извещен Паскевичем о предстоящем прибытии «известного стихотворца, отставного чиновника X класса Александра Пушкина» и о необходимости установления над ним строгого надзора. Самое разрешение Паскевичем, данное Пушкину, прибыть в действующую армию надо объяснять не одною только надеждою, что поэт прославит военные подвиги главнокомандующего, но и удобством непосредственного наблюдения над поэтом и над его отношениями к декабристам и «прикосновенным», находившимся на службе в армии Паскевича.

Путевые заметки сохранились в объеме, соответствующем первой главе «Путешествия», сверх этого—описание дворца сераскира в Арзруме, с пометкою «12 июля 1829 г.» (глава V «Путешествия в Арзрум») и эпизод

о встрече с казаками, вовсе не вошедший в «Путешествие» («Мы ехали из Арзрума в Тифлис»). Первая заметка— о посещении Ермолова—помечена: «15 мая. Георгиевск». (Рукопись ЛБ, тетрадь № 2328, 35 стр. текста; бумага 1828 г.; первые пять страниц—беловые, остальные—черновые; страница о дворце сераскира—из собр. А. Ф. Онегина—«Puschkiniana», № 2, отрывок V главы— в ПД).

В 1830 году Пушкин напечатал отрывок из записей: «Военная Грузинская дорога», с подзаголовком: «Извлечено из путевых записок» («Литературная Газета» 1830, № 6). (Факсимиле рукописного отрывка с изъятиями и искажениями, произведенными личной цензурой Николая I, было воспроизведено в «Историческом Вестнике» 1899, кн. 5, стр. 29—68. Рукопись находится в ПД). В «Литературной Газете» текст отрывка подвергся новой авторской правке: частично переработаны и сокращены были два абзаца, причем выброшена цитата из Рыльева:

Кобылиц неукротимых

Гордо бродят табуны...

(«Петр Великий в Острогужске».)

«Умолчанием» Пушкина о победах Паскевича в 1829 году была разочарована официальная пресса и критика (Булгарин, Надеждин), а в первую очередь сам Паскевич. Насколько обязательным политическим актом со стороны Пушкина Паскевич считал в данном случае написание поэмы или оды, видно из письма Паскевича к Жуковскому в ответ на присылку последним брошюры «На взятие Варшавы», в которую вошли стихи Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Письмо это (1831), написанное уже тогда, когда Паскевич, казалось бы, мог чувствовать себя удовлетворенным комплиментами, содержащимися в «Бородинской годовщине», исполнено резких упреков Пушкину за то, что «его лира долго отказывалась бряцать во славу

подвигов оружия» и что «так померкнула заря достопамятных событий Персидской и Турецкой войны».

В 1834 году французский дипломатический агент на Востоке и политический писатель Виктор Фонтанье (1796—1857) опубликовал «Voyages en Orient, entrepris par ordre du gouvernement français de 1830 à 1833 an. Deuxième voyage en Anatolie». (Путешествия на Восток, предпринятые по повелению французского правительства с 1830 по 1833 год. Второе путешествие в Анатолию.) Книга направлена против восточной политики Николая I с точки зрения французских колониальных интересов. Предупреждая европейские державы об опасности растущей военной мощи России, Фонтанье вместе с тем дискредитирует чисто военное значение побед Паскевича над слабой турецкой армией в 1829 г. и, анализируя политику Николая I в Грузии, призывает Европу к протесту. Паскевича Фонтанье характеризует, «согласно общему мнению», как «полководца, лишённого крупного военного дарования», а людей, ему подчиненных, как образованных, опытных и влиятельных военных деятелей. При их перечислении, вслед за именем Раевского, упоминается «выдающийся поэт» («un poète distingué»), «который оставил столицу, чтобы петь подвиги своих соотечественников». Следующий абзац начинается ироническим замечанием по адресу Пушкина: «У турок не было бардов в их свите...». В той же главе Фонтанье говорит о «блистательных донесениях» Паскевича с театра военных действий, представляющих неистощимый «предмет насмешек для опытных офицеров», и сразу же—«о сюжете не поэмы, но сатиры», который нашел на войне поэт. По ясности намёка на Пушкина и на его друзей в армии Паскевича, ввиду характера книги, равнявшегося обвинению, Пушкин счел необходимым выступить в печати.

Так появилось «Предисловие» к «Путешествию в Арзрум» и издание самого «Путешествия» как *всего*, что им было написано о походе 1829 года, с несомненной целью опровергнуть свидетельство Фонтанье о суще-

ствовании сатиры Пушкина на турецкую войну. Таким образом, «Путешествие» было написано гораздо позднее «Путевых записок», а именно в 1835 году, и даже не всегда на них основывалось. Это ясно как из характера сведений, даваемых Пушкиным на основании обширной научной литературы, так и из любопытной ошибки памяти: перевал через Безобдал Пушкин отнес, например, ко времени до выезда из укрепления Гергеры, тогда как перевал начинается после Гергеры.

Беловая рукопись «Путешествия» (ЛБ, тетрадь № 2328) является текстом, вполне подготовленным для издания отдельной книгой, включающей и «Предисловие» и два приложения: 1) «Notice sur la secte de Yésidis» и 2) «Маршрут от Тифлиса до Арзрума». В этом убеждает обложка «Предисловия», на которой рукою Пушкина, с его условным начертанием типографских концовок, обозначено: «Предисловие. 1835.—СПБ.» Весь текст «Путешествия», за исключением отрывка, совпадающего с «Военною Грузинскою дорогою», и французской заметки о езидах («Приложения»), написан рукою Пушкина на бумаге 1834 г. (отрывок о Военно-Грузинской дороге—писарская копия отрывка, напечатанного в «Литературной Газете», на бумаге 1830 г.; приложения—на бумаге без водяных знаков). Однако намерение Пушкина издать «Путешествие» отдельною книгой, несмотря на шаги, предпринятые с этой целью, не осуществилось, и «Путешествие» было напечатано (с «Предисловием») в первой книге «Современника» за 1836 год.

Обычно при печатании «Путешествия» редакторы клали в основу первопечатный текст «Современника» и к нему в разных местах делали дополнения из рукописей («Путевых записок»). Включение в окончательный текст произведения, написанного в 1835 году, произвольных и случайных дополнений по записям 1829 года, когда замысел «Путешествия» литературно еще не определился, являлось редакторским произволом; выбор

первопечатного текста «Современника» как основы крайне неудачен. Текст этот печатался явно без авторского участия в корректуре, что повело к географическим и фактическим ошибкам, в которых упрекали Пушкина без всяких оснований, так как их не имеется в белой рукописи, и они являются ошибками корректора (таково нелепое название Тифлиса *Тбимикалар* (у Пушкина *Тбилис-калар*), эпизод с Мушским пашею (в пятой главе), якобы просившим Паскевича о месте для своего племянника (у Пушкина: *о месте своего племянника*).

В настоящем издании текст «Путешествия» печатается по белой рукописи, ранее не подвергавшейся обследованию настолько, что в текст «Путешествия» не включался эпизод с «азиатским» офицером (глава вторая), который, повидимому, был исключен при печатании по цензурным соображениям. По той же причине были исключены при подготовке к печатанию и первые четыре страницы «Путевых записок», перебеленные Пушкиным (посещение Ермолова).

Из первопечатного текста «Современника» внесено в текст белой рукописи деление на главы, с краткими перечнями тем, как авторское или авторизованное, сохраняя при этом деление на абзацы по белой рукописи.

Инициалы и звездочки, имеющиеся в белой рукописи (как и в «Современнике»), раскрыты.

---

## К п р е д и с л о в и ю

«Предисловие» известно нам в четырех вариантах: три рукописных и первопечатный текст «Современника». Первоначальный (незаконченный) проект «Предисловия» писан на «обложке» с зачеркнутым заглавием: «Путешествие в Арзрум в 1829 г.», перевернутой верхом вниз (ЛБ, тетрадь № 2387, лл. 27 и 71); затем первый

полный текст в указанной выше белой рукописи «Путешествия», почти дословно совпадающий с недавно «открывшимся» в Париже автографом; на парижском автографе «Предисловия» имеется пометка: «28 сент. 1835. Цензор В. Семенов», относящаяся ко времени предполагаемого издания «Путешествия» отдельной книгой. Отказавшись от этой мысли, Пушкин на этом цензурованном экземпляре делает новые сокращения и изменения, точно отразившиеся в первопечатном тексте «Современника».

Различия между первоначальным проектом и печатной редакцией сводятся к сокращению вступительной части, где Пушкин давал объяснения своему появлению на театре войны и упрекал журналистов за предъявленные к нему, по возвращении, требования воспеть «успехи нашего оружия». Здесь имелись в виду рецензия Булгарина на VII главу «Евгения Онегина» («Северная Пчела» 1830, № 35) и статья Надеждина («Вестник Европы» 1830, № 2).

---

707. *Муравьев, А. Н.* (1806—1874)—поэт, издал в 1832 году (без имени автора) в двух частях «Путешествие к св. местам», что было для Пушкина удобным примером поэта, одновременно с ним побывавшего на театре войны 1829 года и тоже не воспевшего подвигов русского оружия.

Говоря о Хомякове и Муравьеве, Пушкин умолчал о поэте В. Г. Теплякове, который во время Турецкой войны был на Балканском полуострове. Имя Теплякова в 1829 году было опальным, ибо он был в это время политическим ссыльным.

Исключенная Пушкиным из «Предисловия» фраза: «углубление нашего пятнадцатитысячного войска в неприятельскую землю на расстояние пятисот верст, оправданное полным успехом», является скрытою критикою стратегического плана Паскевича.

## Глава I

710. *Ермолов, А. П.* (1772—1861)—генерал, отличившийся в кампании 1812 года. Как оппозиционно настроенный, быстро завоевал популярность среди радикальных кругов общества. Его назначение в Грузию командующим Кавказским корпусом (1817) имело главным образом в виду удалить его из Петербурга. Год наибольшей его популярности—1820, когда ожидали его назначения главнокомандующим в назревавшей войне с Турцией за освобождение греков. Кюхельбекер и Рылеев пишут ему стихотворные послания и оды. На Кавказе Ермолов держался с известной самостоятельностью по отношению к центральной власти. Проводил жестокую и прямолинейную захватническую политику в отношении горских племен. Сложность его характера и склонность к политическим комбинациям вызывали о нем отзывы вроде позднейшей (1834) Пушкинской характеристики: «великий шарлатан». Его популярность среди декабристов вызвала подозрения Николая I, и в 1827 году, во время персидской войны, он был смнен и уволен в отставку.

Указание Пушкина, что «о правительстве и политике не было ни слова», следует понимать в очень узком смысле слова (отсутствие в разговорах обсуждения личности Николая I и частных вопросов внутренней политики); между тем даже разговоры, передаваемые самим Пушкиным,—критика Паскевича как полководца, засилие немцев в командовании армии, восторг от записок Курбского (без сомнения, с намеками на современность и личное положение Ермолова)—достаточно насыщены политическим содержанием. Впоследствии Ермолов категорически отказал Погодину рассказать о «предметах разговоров с Пушкиным». В письме к Д. В. Давыдову (по передаче последнего П. А. Вяземскому) Ермолов писал: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живей-

шим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство кроме невольного уважения...» и далее о стихах Пушкина: «Вот это поэзия! Это не стихи нашего знакомого Грибоедова, от жевания которых скулы болят...»

713. Орловский, А. О. (1777—1832)—художник, известный своими рисунками и батальной живописью. Пушкин ценил его только как рисовальщика (ср. его отзыв, что Орловский «кисти в руки не брал»).

715. Раевский, А. Н. (1795—1868)—старший сын генерала Н. Н. Раевского, друг Пушкина. Познакомились они именно на Кавказских минеральных водах в 1820 г.

716. *Времена гр. Гудовича*, И. В. (1741—1820) на Кавказе—1806—1809 гг., когда он был начальником войск Грузии и Дагестана.

717. *Черкесы нас ненавидят*.—В этих словах Пушкин осуждает крайности насильственной русской политики на Кавказе со времени Ермолова, главными принципами которой было: лишать горцев плодородных земель, пастбищ и теснить их в горы, голодом желая довести их или до полного покорения, или до полного истребления. Всякий прорыв этой голодной блокады считался «разбоем», и ответственность за него возлагалась на ближайшие селения. В официальных бумагах горцы назывались не иначе, как «воры» и «грабители». Ср. начало незаконченной строфы стихотворения «Кавказ», отброшенное Пушкиным при напечатании:

Так буйную вольность Законы теснят,  
Так дикое племя под Властью тоскует,  
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,  
Так чуждые силы его тяготят.

719. Мансур—шейх, первый (в 1785 г.) придавший борьбе с русскими войсками религиозный характер, предшественник имамов XIX века, попал в плен при взятии Анапы войсками графа Гудовича в 1791 году и был

заклучен в Шлиссельбургскую крепость (у Пушкина ошибочно названа Соловецкая), где и умер в 1794 году.

719. «... like a warrior taking his rest...» «Погребение сэра Джона Мура» (1816), стансы Чарльза Вольфа, ирландского поэта (1791—1823).

720. *Аманаты*—заложники. Заложничество широко применялось в военной политике Ермолова. Он брал в аманаты детей. Ср. циничный рассказ об этом самого Ермолова: «Аманаты стоили прежде ужасно дорого; иной получал 3 руб. серебром в день. Я начал брать ребятшек, которые играли у меня в бабки, а родители приезжали наведываться. Я кормил их пряниками, и те были предовольны, расчищали мне просеки».

721. *Шернваль-Валлен*, Э. К., барон (1806—1890), в 30-х годах состоял офицером генерального штаба при Паскевиче.

— «...реке на Севере гремящей».—Из 72-й строфы «Водопада» Державина:

И ты, о водопадов мать!  
Река, на Севере гремяща,  
О Суна!..

— *Бекович-Черкасский*, Ф. А., князь, родом кабардинец, вступил на русскую службу в 1806 году. В 1828 году был командиром бригады; по взятии Карса—начальник Карского пашалыка.

722. «И в козиих мехах вино, отраду нашу!»—315-й стих III песни «Илиады» в переводе Кострова:

И в козием меху вино, отраду нашу.

723. «*Похищение Ганимеда*»—картина Рембрандта (1606—1669), находится в Дрезденской галлерее. Ганимед изображен младенцем, от испуга испускающим струю. Картина была популярна по гравюрным воспроизведениям.

— Предание о царице *Дарии*, как и дальнейшее

изложение о Кавказских воротах, показывает, что для работы над «Путешествием» Пушкин использовал значительную и притом новую научную литературу. Так, в «Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées au delà du Caucase fait depuis 1820 jusqu'en 1824; par le chevalier Gamba, consul du Roi à Tiflis» (t. II, Paris 1826, p. 21—22); «Если можно верить местному преданию, этот замок принадлежал в Средние века какой-то княгине Дарии, которая задерживала на заставе всех путешественников, принуждала понравившихся ей делить с нею ложе и приказывала бросать в Терек любовников, которых подозревала в том, что они будут на нее жаловаться. Более верно, чем это предание, то обстоятельство, что достаточно увидеть Дарьял, чтобы признать в нем Pylae, или Кавказские ворота».

Труд гр. И. Потоцкого, на который ссылается Пушкин, называется: «Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase. Histoire primitive des peuples qui ont habité anciennement ces contrées. Nouveau périple du Pont-Euxine. Par le comte Jean Potocki. Ouvrages publiés... par. M. Claproth, t. II, Paris 1829». (Путешествие в астраханские и кавказские степи. Первобытная история народов, в древности там обитавших. Новое круговое плавание по Понту Евксинскому. Сочинение графа Ивана Потоцкого. Т. II, Париж 1829.) Здесь, на стр. 216—217, текст из Плиния: «Поблизости от этих народов находятся *Кавказские ворота*, неправильно называемые *Каспийскими*,—изумительное творение природы, пробившей в этом месте огромнейшие скалы. Здесь водружены ворота из бревен, скованных железом. Под воротами этими протекает река *Дириодорис*. П р и м е ч а н и е. Единственное место в этом ущелье, где возможно было водрузить ворота,—Дарьял; таким образом, река Дириодорис есть Терек...»

В научной литературе Дириодорис читается, как Дири-одорис, то есть «с тяжелым запахом».

Об испанских романах Потоцкого говорится в том же сочинении, стр. XVI.

724. *Флигельман*—солдат, по движениям которого все учились поворотам и ружейным приемам.

— ... *подпирающую небосклон*.—Ср. в оде Державина «На переход Альпийских гор»:

И небо поддерживав плечами...

— Персидский поэт *Фазиль-Хан*, уроженец Тавриза, учитель детей наследника персидского Аббаса-мирзы, входил в состав персидского посольства Хозрев-Мирзы, направлявшегося в Петербург с извинениями персидского правительства за уничтожение русской миссии и убийство Грибоедова. Здесь поэт поднес оду Николаю I (перевод оды в альманахе «Подснежник» 1830) и получил перстень, табакерку и 250 червонцев. Изъявлял желание остаться в России и в 40-х годах проживал и преподавал в Тифлисе, где и умер в 1852 году.

726. *Чуляев*, Б. Г. (1798—1850)—грузин, товарищ А. А. Бестужева-Марлинского по Горному кадетскому корпусу, служил всю жизнь на Кавказе, в 1828—1829 гг. управлял горскими племенами по Военно-Грузинской дороге.

— *Огарев*, Н. Г.—подполковник, заведывал в 1829 году ремонтом Военно-Грузинской дороги.

— Описание обвала взято Пушкиным из сочинения Гамба (см. выше) (t. II, p. 24). Вот это место в переводе: «В двух местах от Дарьяла мы увидели справа, на другой стороне Терека, ледяные глыбы—остатки ужасной лавины, свалившейся с Казбека в 1817 году: она покрыла больше двух верст и остановила течение Терека. Река вышла из берегов и сделала дорогу непроходимой для повозок в течение двух лет. Кажется, эта катастрофа повторяется каждые семь или восемь лет. Казбек покрывается в это время огромными массами льда и снега, скопление которых кончается тем, что они теряют равно-

весие и, падая, покрывают громадные пространства». У Пушкина 1817 год ошибочно передан как 1827.

728. *Хозрев-Мирза*—персидский принц, внук шаха, глава чрезвычайного посольства в России в 1829 году с извинением за убийство Грибоедова и уничтожение русской миссии в Тегеране. Посольство ехало в Петербург по требованию Паскевича.

729. *Абаз*—старогрузинская монета, в то время— 20 копеек серебром. Название получила от имени персидского шаха Аббаса I, изображавшегося на персидских монетах.

## Глава II

733. *Раевский*, которого Пушкин надеялся встретить в Тифлисе,—Николай Николаевич (1801—1843), младший сын генерала Н. Н. Раевского. Ему Пушкин посвятил «Кавказского пленника». В 1826 году привлекался к следствию по делу декабристов, затем был назначен командиром Нижегородского драгунского полка; в 1829 году, во время похода командовал кавалерией. В конце 1829 года был подвергнут аресту за «предосудительные сношения» с сосланными на Кавказ декабристами.

734. *Санковский*, П. С. (1798—1832)—первый редактор «Тифлиссских Ведомостей». Во время пребывания Пушкина в Тифлисе поместил в «Тифлиссских Ведомостях» две заметки о Пушкине (в №№ 29 и 32), в которых писал, что публика ждет от поэта, как «свидетеля кровавых битв», «прелестных подарков».

— *Цицианов*, П. Д., князь (1754—1806)—главнокомандующий в Грузии, представитель завоевательной политики России на Кавказе.

735. В приведенном Пушкиным грузинском стихотворении, по указанию Г. Леонидзе, взяты первые три и шестой куплеты стихотворения Дим. Туманишвили.

— *Кларенс*, Джордж—младший брат короля Эдуарда V, сначала с ним враждовавший, потом перешедший

на сторону брата. Злопамятный Эдуард по незначительному поводу осудил его на смерть, предоставив ему выбор рода смерти. Осужденный пожелал утопиться в бочке мальвазии (1478).

736. *Самойлов*, Н. А., граф, сын генерал-прокурора, родственник Раевских. Адъютант Ермолова, уволенный одновременно с ним. Умер в 1842 году.

— В ироническом упоминании «ассессорского чина» Пушкин цитирует из элегии А. Н. Нахимова («Восплачь, канцелярист, повытчик, секретарь...») стих: «О чин ассессорский, толико вожделенный!»

737. *Сипягин*, Н. М. (1775—1828)—генерал-адъютант, был назначен в начале 1827 года тифлисским военным губернатором. Биограф его утверждает (вопреки слухам, передаваемым Пушкиным), что ему был предписан «сильный прием ртути, единственного средства при тифлиских болезнях».

— *Стрекалов*, С. С.—генерал-адъютант, военный тифлисский губернатор, назначенный на место Сипягина, имел поручение Паскевича следить за поведением Пушкина и переписывался по этому поводу с Паскевичем.

738. «*Ночи знойные!*...»—Может быть, воспоминание о стихах Вяземского «Черные очи» (1828), обращенных к А. О. Смирновой-Россет:

Южные звезды! Черные очи!  
Неба чужого огни...

740. Крепость *Гергеры* Пушкин проехал до Безобдала. Здесь Пушкин писал по памяти и ошибся.

742. *Бутурлин*—адъютант гр. А. И. Чернышева, уехал в действующую армию за отличиями. Именно по его доносу вскоре Паскевич получил замечание, что у него рядовые из политических преступников пользуются слишком большой свободой во вред дисциплине, а Н. Раевский был подвергнут домашнему аресту за приглашение разжалованных к своему столу.

745. *Арапат*, по библейской легенде о всемирном потопе, был единственною горою, вершина которой не была под водою, и к которой пристал ковчег Ноя.

749. «*К калмычке*» напечатано в «Литературной Газете» в июле 1830 года за подписью *Крс.* На рукописи этого стихотворения имеется дата: «22 мая 1829 г. Капкой».

### Г л а в а III

750. *Бурцов*, И. Г. (1794—1829)—знакомый Пушкина еще в лицее; член Союза благоденствия. В 1826 году был на полгода заключен в Бобруйскую крепость, затем переведен на Кавказ в Тифлисский полк. В персидскую и турецкую войны нес обязанности офицера генерального штаба и принимал непосредственное участие в руководстве военными действиями. В 1829 году был ранен в неудачной атаке при с. Харте 19 июля и умер через четыре дня. Числился у Паскевича среди тех «прикосновенных», которые «оправдали доверие по службе, но не оставили прежних мыслей». Являлся одним из главных руководителей войны, что Паскевичем тщательно замалчивалось. Этим и объясняется, что, высказывая сожаление о смерти Бурцова (глава пятая), Пушкин отметил: «Это происшествие могло быть губительно и для всего нашего малочисленного войска». В первопечатном тексте «Современника» Пушкин смягчил слова «могло быть губительно» словами «могло быть печально». Во фразе—резкая критика стратегического плана Паскевича.

— *Паскевич*, И. Ф. (1782—1856)—сын полтавского мещанина. Оказал услуги Николаю I еще в бытность последнего великим князем. В 1827 году занял место Ермолова, руководил персидской и турецкой войнами (1827—1828 и 1829 гг.), получил графский титул, звание генерал-фельдмаршала и 1 000 000 рублей. Роль его после декабрьского восстания, личность выскочки и гене-

рала-придворного, его роль в смещении Ермолова вооружили против него широкие общественные круги. Основными чертами Паскевича как начальника были подозрительность, требовательность, грубость и умение чернить и изгонять людей после их максимального использования. Таково было его отношение к декабристам и «прикосновенным», бывшим у него под началом на Кавказе, фактическим организаторам победы в турецкую войну: Вольховскому, Бурцову, Сухорукову, Раевскому и другим. Его военная репутация, несмотря на успехи, раздутые в его реляциях Николаю I, считалась сомнительной. Прославление подвигов Паскевича вменялось Пушкину, побывавшему на театре военных действий, в обязанность. Поэтический отклик Пушкина ироничен («Не пленяйся бранной славой», «Делибаш», «Олегов щит»). В «Путешествии в Арзрум» дважды встречается критика Паскевича как стратега (в «Предисловии» и в эпизоде о смерти Бурцова). В тексте первой главы приводятся резкие и насмешливые отзывы о нем Ермолова (в первопечатном тексте встреча с Ермоловым выпущена). Самое изображение Паскевича иронично (ср., например слишком частое именование его *графом*, тогда как графский титул его был очень нов— пожалован в 1828 году и вызывал насмешки,—ср. насмешку Ермолова в первой главе).

751. *Вольховский, В. Д. (1798—1841)*—товарищ Пушкина по лицею. Служил в гвардейском генеральном штабе. Как «бывший в замечании» по делу 14 декабря в 1826 году переведен на Кавказ. В начале турецкой кампании был назначен обер-квартирмейстером.

— *Пушин, М. И.* — брат лицейского товарища Пушкина, отданный за участие в восстании 14 декабря в солдаты на Кавказ; один из главных негласных военноподполковников советников Паскевича в турецкую кампанию. Оставил воспоминания о походе 1829 года и о пребывании Пушкина на театре войны («Русский Вестник» 1893, IX).

751. «*Heu! fugaces, Posthume, Posthume...*» — Гораций, Оды, кн. II, ода XIV—«К Постуму». У Горация собственно:

Eheu! fugaces, Postume, Postume...

*Postumus*—последний; в написании Пушкина *Posthumus*—посмертный.

752. «*Usque nec Armeniis in oris...*» — Гораций, Оды, кн. II, ода IX—«К Вальгию».

— Семичев, Н. Н.—декабрист. После полугодового заключения в Петропавловской крепости был в 1826 году переведен в Нижегородский драгунский полк на Кавказе капитаном. Умер в 1830 году от холеры.

753. *Лав*—особый строй казаков при атаке.

— Басов, П. Т.—подполковник, в 1829 году командовал Донским казачьим полком своего имени.

Пушкин умолчал, что в этой перестрелке при Инжасу, 14 июня, он принял личное участие в военных действиях. Это засвидетельствовано в официальной «Истории военных действий в Азиатской Турции 1828—29 гг.» ген. Ушакова (изданной под наблюдением Паскевича), в записках Михаила Пущина и, наконец, собственным рисунком Пушкина в альбоме Е. Н. Ушаковой (на коне, с пикой, в круглой шляпе и бурке).

754. *Остен-Сакен*, барон—штабс-капитан Нижегородского драгунского полка, был легко ранен в ногу ружейной пулей. Младшим он назван Пушкиным в отличие от его брата Дмитрия Ерофеевича, бывшего при Паскевиче начальником штаба.

755. *Вагенбург*—боевое расположение обоза как на месте, так и в движении.

— Фридерикс, Б. А., барон (1797—1874)—с 1827 по 1830 г. командовал Эриванским карабинерным полком.

756. *Муравьев*, Н. Н. (1804—1866), служил на Кавказе, участник персидской (1826—1827) и турецкой войны 1829 года, отличившийся при осаде и штурме Карса. Командовал резервной гренадерской бригадой.

756. *Симонич, И. О.*, граф, сражался во французской армии и был взят в плен в 1812 году. После заключения Парижского мира (1814), не желая служить в Австрии, вступил на русскую службу, в 1829 году командовал Грузинским гренадерским полком.

757. *Сводный уланский полк*. Название «сводный» заменено\*\*\* и в «Современнике» и в тексте белой рукописи по цензурным соображениям: «сводный» полк был скомплектован из частей полков, принимавших участие в декабрьском восстании.

758. *Сальватор-Роза* (1615—1673)—известный итальянский художник.

759. *Сераскир*—турецкое название главнокомандующего.

#### Г л а в а IV

761. *Анрен, Р. Р.*—флигель-адъютант, в 1829 году командовал сводным уланским полком, по окончании войны—генерал-майор.

762. Турецкое название *хосс* взято Пушкиным из сочинения гр. Потоцкого (стр. 211—212), названного выше.

766. *Франками* на ближнем Востоке называли европейцев.

—. Описание дней 26 и 27 июня Пушкин излагал, сверяясь с реляциями Паскевича («Северная Пчела», № 90), упрощая и снижая пышное содержание и стиль официального донесения. Ср. в реляции: «Наши полки стройными колоннами, с музыкою со всех сторон обходили Топ-Даг... еще несколько ядер с городских батарей пронесли мимо меня. Депутаты сами просили меня огнем наших орудий привести в покорность сих мятежников, кои в числе нескольких сотен противоборствовали общему голосу и возмущали народ».

—. *Юзефович, М. В.* (1802—1889)—поэт и археолог, друг П. А. Вяземского; в 1828—1829 гг. состоял при Паскевиче. При взятии Ахалцыха был тяжело ранен и

дальнейшего участия в войне не принимал. В 1880 году издал воспоминания о Пушкине («Русский Архив» 1880, III).

767. *Арнауты* (албанцы)—племя, живущее в Бессарабии и Турецкой Армении.

## Г л а в а V

769. Эпизод с телячьими ушами, поднесенными персидскому послу, Пушкин передает по памяти и неточно из романа Morier'a «The adventures of Haji Baba of Israhah» (1824). Перевод романа на русский язык О. И. Сенковского («вольный перевод барона Брамбеуса», в 4 томах 1831 г.).

770. *Турнфор*—Pitton de Tournefort (1656—1708)—ученый путешественник и ботаник, описавший Закавказье и Малую Азию, автор сочинения «Relation d'un voyage du Levant» (Amsterdam 1718).

В рассуждении Пушкина об азиатской роскоши отразилось рассуждение А. Марлинского в «Военном Антиквариуме».

771. *Готфред* (Готфрид) Бульонский—герцог Нижней Лотарингии, легендарные подвиги которого легли в основу поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (род. ок. 1060—умер в 1100 году). Здесь имя его употреблено для обозначения времени первого крестового похода.

772. Стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят...» написано Пушкиным 17 октября 1830 года в Болдине. Имя поэта—вымышленное.

773. *Сухоруков*, В. Д. (1795—1841)—собирателъ материалов для истории и описания Войска Донского. Знал о заговоре декабристов, был исключен из гвардии и отправлен на Дон под «бдительный тайный надзор». В 1827 году переведен на Кавказ. Участвовал в турецкой кампании 1829 года, собирая материалы для истории кампании. В 1830 году был арестован, так как его исторические занятия показались подозрительными. Пушкин

ценил его знания, старался помогать ему в возвращении отобранных исторических материалов и в 1836 году приглашал к участию в «Современнике».

773. *Бей-Булат*—стоял во главе набегов. Паскевич рассчитывал удержать его около себя, чтобы обеспечить спокойное движение по Военно-Грузинской дороге.

774. *Абрамович, И. Я.*—корнет Серпуховского полка, адъютант и любимец Паскевича, польского или татарского происхождения, сражался в 1812 году в рядах французской армии, потом жил во Франции и Италии, затем определился в Серпуховский полк, «смотрел за конюшней и занимался ложными доносами». Принадлежал к числу тех «некоторых личностей, которые шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу, разумеется, с прибавлениями, желая тем выслужиться» (Н. Г. Потокский).

777. *Коновницын, П. П.* (1802—1830)—декабрист, член Северного общества; после тюремного заключения был разжалован в солдаты, лишен дворянства и сослан на Кавказ. Отличился в персидскую войну (1828) и получил офицерский чин.

780. *Дорохов, Р. И.* (умер в 1852 г.)—сын партизана 1812 года, бывал неоднократно разжалован в рядовые за дуэли. Под именем Долохова выведен Л. Н. Толстым в «Войне и мире».

— Статья, о которой Пушкин говорит в заключении — Надеждина о «Полтаве» («Вестник Европы» 1829, № 8, стр. 287—302). Написана в форме комедии, причем действующими лицами являются: автор (классик, Никодим Аристович Надоумко); «романтику» Флюгеровский и незнакомец (старик, любитель прекрасного, отставной корректор ...овской университетской типографии, Пахом Силич Правдин). Дата статьи: «С Патриарших Прудов, 28 апреля 1829 г.». Таким образом, из действующих лиц Пушкин верно назвал только корректора типографии; «автор» Пушкиным назван иронически дьячком, а его собеседник, «романтику», просвирней.

## Варианты и дополнения

### (Из I проекта предисловия)

По возвращении моем напечатал я одну из глав Евг(ения) Онег(ина), писанную три года прежде. В С(еверной) Пчеле неизвестный Аристарх меня побранил не на шутку, ибо, говорил он, мы ожидали не Евг(ения) Онег(ина), а поэмы на взятие Арзрума. Почтенный В(естник) Евр(опы) также пороптал на Певунов, которые не пропели успех нашего оружия.

Всё это было довольно странно; какое было им дело до моих путешествий, и неужели я непременно был обязан писать именно то, что прикажут мне журналисты?— Что за несчастные люди русские писатели? Он(и) одни находятся вне устава ценсурного. Наша частная жизнь подлежит обнародованию. О каком офицере решился бы журналист написать например следующие (строки?): Мы надеялись, что Г. *такой-то* возвратится из похода с Георг(иевским) крестом, вместо того он вывез из Молдавии одну лихорадку. Явно, что цензура того бы не пропустила.

Однако ж я не отвечал, не желая доставить Гостиному Двору приятное зрелище *азторской травли* и зная, что публика столь же мало заботится о причине моих путешествий, как и о странных требованиях моих рецензентов.

### (II проект предисловия)

Сии записки, будучи занимательны только для немногих, никогда не были (бы) напечатаны, если бы к тому не побудила меня особая причина: прошу позволения объяснить ее, и для того войти в подробности очень неважные, ибо они касаются одного меня.

В 1829 году отправился я на Кавказские воды. В таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда

съездить для свидания с братом и некоторыми из моих приятелей. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел. Армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону мало известную побудило меня просить у е. с. графа Паскевича-Эриванского позволения приехать в армию. Таким образом видел я, блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума.

Журналисты как-то о том проведали. В газете (политической) побранили меня не на шутку за то, что по возвращении моем напечатал я стихотворение, не относившееся ко взятию Арзрума. Мы надеялись, писал неизвестный рецензент, и проч. Один из московских журналов также пороптал на *Певунов*, не воспевших успехи нашего оружия.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ср. «Северная Пчела» 1830, № 35, суббота, марта 22. Новые книги. Евгений Онегин. Роман в стихах. Глава VII. Сочинение Александра Пушкина: «И так надежды наши исчезли! Мы думали, что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ, чтоб напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями, и в сладких песнях передать потомству великие события на востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов,...—и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину».

*Один из московских журналов...*—«Вестник Европы» 1830, № 2, январь, стр. 146: «...ныне—когда будто по следам баснословным Олега, торжествующая Россия уже готова была пригвоздить победоносный щит к стенам Константинополя, если б, смиловавшие над поверженным врагом, не победила самой себя христианским смирением и человеколюбием,—ныне ни один из певунов, толпящихся между нами, не подумал и пошевелить губ своих...» «О настоящем злоупотреблении и искажении

Я, конечно, (не) был обязан писать по заказу гг. журналистов. К тому же частная жизнь писателя, как и всякого гражданина, не подлежит обнародованию. Нельзя было бы, например, напечатать в газетах: Мы надеялись, что г. прапорщик *такой-то* возвратится из похода с Георгиевским крестом, вместо того вывез он из Молдавии одну лихорадку. Явно, что ценсура этого не пропустила б.

Зная что публика столь же мало заботится о моих путешествиях, как и о требованиях рецензентов, я не стал оправдываться. Но важнейшее обвинение заставляет меня прервать молчание.

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием *Voyages en Orient entrepris par ordre du gouvernement Français*. Автор, по своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами: *Un poète distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été témoin, non le sujet d'un poème, mais celui d'une satire.*

Из русских поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и о А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений; второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление; но я не слыхал ни о какой сатире на Арзрумский поход. Никак не мог бы я подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той же самой книге не нашел я своего имени, между именами генералов отдельного Кавказского корпуса: *parmi les chefs qui la commandaient (l'armée du Prince Paskevitch) on distinguait le général Mouravief...*

---

романтической поэзии» (Окончание). С латинского Н. И. Надеждин. В приведенной фразе—полемика со стихотворением Пушкина «Олегов щит» («Северные Цветы на 1830 год», стр. 53).

le Prince Géorgien Tsitsevaze (Чавчевадзе)... le Prince Arménien Beboutof... le Prince Potemkin, le général Raiewsky, et enfin... Mr. Pouchkine, qui avait quitté la capitale, pour chanter les exploits de ses compatriotes.

Признаюсь: эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были гораздо мне досаднее, нежели журнальная брань, к которой, слава богу, мы приучены.

*Искать вдохновений* всегда казалось мне смешной и нелепою причудою. Вдохновения не сыщешь, оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем именно, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы и слишком самолюбиво для стихотворца и довольно неприлично для русского дворянина. Я не вмешиваюсь в военные суждения: это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Османа-Паши; поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток; быстрый поход к Арзруму; углубление нашего пятнадцатитысячного войска в неприятельскую землю на расстоянии пятисот верст, оправданное полным успехом; всё это, может быть, в глазах военных людей, чрезвычайно забавно. Но я устыдился бы самого себя, если бы мог писать сатиры на полководца, принявшего меня ласково под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказать мне лестное внимание. Независимый человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных и ничего от них не требующий, не должен ли дорожить их радушием и гостеприимством?—

Обвинение в неблагодарности касается до чести и не должно быть ославлено без возражения, как ничтожная критика, или площадная литературная брань. Вот почему решился я написать это предисловие и выдать свои путевые записки, как *всё*, что мною было написано о походе 1829 года.

3 апреля 1835.

### *Вариант к главе первой*

(Военная Грузинская дорога (извлеч. из путевых записок).

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случилось в целые сутки проехать не более 40 верст. Смотря на маневры ямщиков, я со скуки пародировал американца Купера, в его описаниях морских эволюций. Наконец Воронежские степи оживили мое путешествие, и я свободно покатился по зеленой равнине.

Переход от Севера к Югу делается час от часу чувствительнее. Леса исчезают, холмы изглаживаются, трава густеет и являет большую силу прозябаемости. По широким пажитям

Кобылиц неукротимых  
Гордо бродят табуны

*(Петр Великий в Острогожске.)*

**Отрывок из путевых записок, не вошедший в «Путешествие в Арзрум»**

Мы ехали из Арзрума в Тифлис. 30 человек линейских казаков нас конвоировали—возвращающихся на свою родину. Перед нами показался линейский полк, идущий им на смену. Казаки узнали своих земляков и поскакали к ним навстречу, приветствуя их радостными выстрелами из ружей и пистолетов. Обе толпы съехались и обнялись на конях при свисте пуль и с новыми прощальными выстрелами в облаках дыма и пыли—быстро обменявшись известиями—они расстались и догнали нас.

— Какие вести, спросил я у прискакавшего ко мне урядника, всё ли дома благополучно?—Слава богу, ответил он, старики мои живы; жена здорова.—А давно ли

ты с ними расстался?—Да вот уж три года, хоть по положению надлежало бы служить только год.—А скажи,— прервал его молодой арт(иллерийский) офицер,—не родила ли у тебя жена во время отсутствия?—Ребята говорят, что нет, отвечал веселый урядник.—А не б.... ли без тебя?—Помаленьку, слышно,.....—Что ж, побьешь ты ее за это?—А зачем ее бить? Разве я безгрешен.—Справедливо; а у тебя, брат, спросил я у другого казака, так ли честна хозяйка, как у урядника?—Моя родила, отвечал он, стараясь скрыть свою досаду.—А кого бог дал?—Сына.—Что ж, брат, побьешь ее?—Да посмотрю, коли на зиму сена припасла, так и прощу, коли нет, так побью.—И дело, подхватил товарищ, побьешь да и будешь горевать, как старик Черкасов; смолоду был он дюж и горяч, случился с ним тот же грех, как и с тобой, поколотил он хозяйку, так что она после того 30 лет жила калекой. С сыном его случись та же беда, и тот было стал колотить молодицу, а старик-то ему: Слушай, Иван, оставь ее, и посмотри, как мать и я смолоду поколотил ее за то же, да и жизни не рад.—Так и ты, продолжал урядник, жену-то прости, а выб.... посылай чаще по дождю.—Ладно, ладно, посмотрим, отвечал казак.—А в самом деле, спросил я, что ты сделаешь с выб...?—Да что с ним делать, корми да отвечай за него, как за родного.—Сердит, шепнул мне урядник,—теперь жена не смей и показаться ему, прибьет до смерти.—

Это заставило меня размышлять о простоте казачьих нравов.—Каких лет у вас женят?—спросил я.—Да лет 14-ти.—Слишком рано, муж не сладит с женою.—Свекор, если добр, так поможет—вот у нас старик Суслов женил сына да и сделал себе внука.

*Черновые варианты из путевых записок 1829 г.*

### 1. (К о л я с к а г р а ф а П у ш к и н а)

Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка, мы ее прозвали *Отрадною*. В северной ее части

хранятся вина и съестные припасы; в южной—книги, мундиры, шляпы etc, etc. С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами и проч. На каждой станции выгружается часть северных запасов и таким образом мы проводим время, как нельзя лучше.

## 2. (К а л м ы ч к а)

На днях, покамест запрягали мне лошадей, пошел я к калмыцкой кибитке (т. е. круглому плетню, крытому шестью, обтянутыми белым войлоком, и с отверстием сверху). У кибитки паслись уродливые и косматые кони, знакомые нам по верному карандашу Орловского. В кибитке я нашел целое калмыцкое семейство; котел варился посредине и дым выходил в верхнее отверстие.— Молодая калмычка, собой очень недурная, шила, куря табак. Лицо смуглое, темнорумяное—багровые губки, зубы жемчужные. Замечу, что порода калмыков начинает изменяться—и первобытные черты их лица малопомалу исчезают. Я сел подле нее.—Как тебя зовут?—...—Сколько тебе лет?—Десять и восемь.—Что ты шьешь?—Портка.—Кому?—Себя.—Поцелуй меня.—Неможна, стыдно.—Голос ее был чрезвычайно приятен. Она подала мне свою трубку и стала завтракать [со] всем своим семейством. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. (Не думаю, чтобы кухня какого бы то ни было народу могла произвести что-нибудь гаже.) Она предложила мне свой ковшик—и я не имел силы отказаться—я хлебнул, стараясь не перевести духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне подали кусочек сушеной кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня балалайкой по голове, мусикийским орудием, подобным нашей бал[алайке]. Калмыцкая любезность мне надоела,

я выбрался из кибитки и поехал далее.—Вот к ней послание, которое, вероятно, никогда до нее не дойдет.— — —

### 3. (Минарет в Татартубе)

Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался на то место, где уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах проезжими офицерами. Суета сует! Гр. П[ушкин] последовал за мною. Он начертал на кирпиче имя ему любезное, имя своей жены—счастливец—а я свое.

Любите самого себя,  
Любезный, милый мой читатель.

### 4. (Черкесы)

Можно попробовать влияние роскоши—новые потребности мало-по-малу сблизят с нами черкесов—самовар был бы важным нововведением. Должно надеяться, что с приобретением части восточного берега Черного моря черкесы, [отрезанные] от Турции, [лишенные торговли с Турцией]... Есть, наконец, средство самое сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века. Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве апостольство с нею несовместно?

Легче для лености выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением и раскаянием должны вы потупить голову и безмолвствовать — — — Кто из вас, муж Веры и Смирения, уподобился старцам, скитающим по пустыням Африки, Азии и Америки, в рубищах, часто без крова, без пищи, но оживленны(м) теплым усердием и смиренномудрием. Какая награда их ожидает? Обращение рыбака или странствующего маль-

чика, или семейства диких, или бедного умирающего старца, нужда, голод, иногда мученическая смерть. Мы умеем в великолепных храмах спокойно блистать велеречием, упиваться похвалами слушателей. Мы читаем светские книги и важно находим в суетных произведениях выражения предосудительные.—

Предвижу улыбку на многих устах. Многие, сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякой (и) не везде имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения. Истина, как добро Молиера, где попадаетея, там и берется——

#### Заметка о секте езидов

Рукопись этого текста находится в неправильно сшитой жандармами тетради № 2383, лл. 36—39 и 60—62. Обложка (л. 35) с заглавием: «Приложения к Путешествию в Арзрум, 1835»—является автографом Пушкина. «Маршрут от Тифлиса до Арзрума» имеется в рукописи неизвестной руки и в копии писаря, писавшего и часть текста «Путешествия в Арзрум» в этой тетради (№ 2383). «Notice sur la secte»—писарская копия, написанная той же рукой. Обложка и «Notice sur la secte» написаны на листах несколько меньшего формата, чем in folio, белой плотной бумаги с желтоватым оттенком, без водяного знака. Текст «Путешествия в Арзрум» в писарской копии писан на бумаге in folio, с водяным знаком: «А. Г. 1834».

Очевидно, Пушкин, готовя в 1835 г. к изданию «Путешествие в Арзрум», предполагал приложить маршрут от Тифлиса до Арзрума и «Notice sur la secte des Yézidis», текст которой впервые напечатан в книге «Рукою Пушкина», М. 1935, стр. 866—871.

Выписка о секте езидов сделана писарем по указанию Пушкина из книги «Description du Pachalik de Bagdad, suivie d'une Notice historique sur les Wahabis, et de quelques autres pièces relatives à l'Histoire et à

la Littérature de l'Orient. Par M.\*\*\*. Paris 1809». («Описание Багдадского Пашалыка, сопровождаемое исторической заметкой о вагабисах и несколькими другими сочинениями, относящимися к истории и литературе Востока. Соч. г.\*\*\*. Париж 1809».) Предисловие подписано буквами S. de S.

Среди приложений к этой книге имеется «Notice sur les Yézidis» (стр. 191—210), текст которого скопирован писарем для Пушкина в точности, если не считать, что все редакторские сноски опущены. В заметке (стр. 185—190), предвещающей это приложение, рассказывается, что автором «Заметки об езидах» является монах Морис Гардзони, бывший в течение 18 лет миссионером в Курдистане. Выпустив в 1787 г. в Риме грамматику и словарь курдского языка, Гардзони привлек интерес к этому народу, и некий аббат Сестини, побывав у Гардзони в Курдистане, побудил его написать заметку о религии курдов, которая и вошла в сборник «Viaggie opuscoli diversi di Domenico Sestini» («Описание путешествий и различные заметки Доменика Сестини»), напечатанный в 1807 г. в Берлине. Переведенная на французский язык S. de S. и озаглавленная «Notice sur les Yézidis», статья эта была помещена в приложениях к книге «Description du Pachalik de Bagdad...» и в таком виде, на французском языке, должна была войти в приложения к отдельному изданию «Путешествия в Арзрум». Что Пушкин хотел дать статью в своей книге, не переводя ее на русский язык, доказывается тем, что книга эта была в библиотеке у Пушкина (см. ПС IX—X, № 869), и ему не имело смысла заказывать ее списывать для перевода. В писарской копии есть одна карандашная пометка, указывающая, что Пушкин просматривал этот текст: слова «Иисус Христос» вычеркнуты. Очевидно, это было сделано применительно к цензуре в России.

Поводом поместить эту заметку при «Путешествии в Арзрум» послужило то обстоятельство, что

в III главе Пушкин рассказывает о своем знакомстве с езидами.

«В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слышущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий уродливый мужчина, в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язидов правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого бога, что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показали мне уж гораздо простительнее».

#### 781. *Перевод:*

Среди многочисленных сект, возникших в Месопотамии среди мусульман после смерти их пророка, ни одна не ненавистна всем прочим в такой мере, как секта езидов. Езиды взяли свое имя от шейха Иезида, основателя их секты и отъявленного врага семьи Али. Учение, которое они исповедуют, является смешением манихеизма, магометанства и верования древних персов. Оно сохраняется среди них посредством предания и передается от отца к сыну без помощи какой бы то ни было книги: ибо им запрещено учиться читать и писать. Это отсутствие книг является, без сомнения, причиной того, что магометанские историки упоминают об этой секте лишь вскользь, обозначая этим именем людей, предан-

ных богохульству, жестоких варваров, проклятых богом и изменивших религии своего пророка. Вследствие этого не удастся добыть относительно верования езидов никаких точных сведений, если не считать того, что можно теперь среди них наблюдать.

Первое правило езидов—заручиться дружбой дьявола и братья за оружие для его защиты. Поэтому они воздерживаются не только от того, чтобы его называть, но и от того даже, чтобы употреблять какое-либо выражение, приближающееся по созвучию к его имени. Например, река на обычном языке называется *шатт*, и так как это слово имеет легкую связь со словом *шайтан*, именем дьявола, езиды называют реку *аве мазен*, то есть *большая вода*. Подобно этому еще: турки часто проклинают дьявола, пользуясь для этого словом *наль*, которое значит *проклятие*; езиды же тщательно избегают всех слов, которые имеют с ним некоторую аналогию. Поэтому вместо слова *наль*, которое кроме того значит *подкова*, они говорят *соль*, то есть *подошва башмаков лошади*, и заменяют словом *солькер*, которое значит *сапожник*, термин обычного языка *нальбенда*, что значит *кузнец*. Кто посещает места, где они проживают, должен быть очень внимателен к тому, чтобы не произнести слов *дьявол* и *проклятый*, и особенно слов: *да будет проклят дьявол*; иначе он очень сильно рискует, что с ним плохо обойдутся, даже убьют его. Когда дела привлекают езидов в турецкие города, им нельзя нанести бóльшей обиды, как проклясть дьявола в их присутствии, а если лицо, совершившее эту неосторожность, будет встречено в пути езидами и узнано ими, оно подвергается большой опасности испытать их месть. Не раз случалось, что члены этой секты, будучи задержаны вследствие какого-нибудь преступления турецким правосудием и приговорены к смерти, предпочитали идти на то, что приговор будет приведен в исполнение, чем использовать возможность, которая им предоставлялась, избежать этого, прокляв дьявола.

Дьявол не имеет имени на языке езидов. Самое большее, если они пользуются для того, чтобы назвать его, перифразой: *шейх мазен* — великий начальник. Они признают всех пророков и всех святых, чтимых христианами и имена которых носят расположенные по соседству с селениями езидов монастыри. Они верят, что все эти святые, когда они жили на земле, были отличены от других людей, смотря по тому, насколько в них преобладал дьявол. В особенности, по их мнению, он более всего проявился в Моисее, Иисусе Христе и Магомете. Словом, они думают, что повелевает бог, но что он поручает возможностям дьявола исполнение своих повелений.

Утром, едва солнце начинает всходить, они босыми бросаются на колени и, повернувшись лицом к этому светилу, повергаются ниц в благоговении, прижимаясь лбом к земле. Для выполнения этого молитвенного действия они уединяются далеко от людей; они делают всё возможное, чтобы их не видели, пока они выполняют этот долг, от исполнения которого они даже освобождают себя, смотря по обстоятельствам.

У них нет ни постов, ни молитв, и, чтобы оправдать себя в упущении этих дел набожности, они говорят, что шейх Иезид выполнил их за всех, кто будет исповедывать его учение, до конца дней, и что он получил в этом положительное уверение в своих откровениях. Вследствие этого им и запрещается учиться читать и писать. Однако все начальники племен и больших деревень оплачивают магометанского наставника, чтобы читать и переводить письма, которые им адресованы турецкими вельможами и пашами, и чтобы отвечать на них. В отношении дел, которые они имеют между собой, они никогда не доверяются человеку другой религии; они посылают свои распоряжения и поручают все свои дела устно людям своей секты.

Не имея ни молитв, ни постов, ни жертвоприношений, они не имеют также и никаких праздников. Однако

они устраивают на десятый день после августовского новолуния собрание в соседстве с могилой шейха Ади. Это собрание, на которое множество езидов сходятся из отдаленных местностей, длится весь этот день и следующую ночь. Пять или шесть дней до и после дня, когда оно имеет место, маленькие караваны рискуют подвергнуться в равнинах Моссула и Курдистана нападению этих паломников, которые всегда путешествуют по несколько человек вместе, и редкий год проходит без того, чтобы это паломничество не дало повода для какого-нибудь досадного происшествия.

Говорят, что большое количество женщин езидов, за исключением, впрочем, девушек, которые еще не замужем, отправляются из соседних деревень на это собрание, и что этой ночью, хорошо выпив и поев, гасят все огни и больше уже не говорят до приближения зари, когда все расходятся. Можно вообразить, что происходит в этом безмолвии и под покровом тьмы.

Никакой вид пищи не запрещен езидам, за исключением латука и тыквы. Они никогда не пекут дома пшеничного хлеба, а только ячменный. Не знаю, какая тому причина.

Для своих клятв они употребляют те же формулы, которые в обычае среди турок, христиан и евреев, но самая сильная клятва, которую они между собой употребляют, это клятва *знаменем Изиды*, то есть клятва их религией.

Эти сектанты очень уважают христианские монастыри, находящиеся в их окрестностях. Когда они их посещают, то снимают свою обувь, прежде чем войти в ограду, и, идя босиком, целуют дверь и стены; они думают этим заручиться покровительством святого, имя которого носит монастырь. Если им случается во время болезни увидеть во сне какой-нибудь монастырь, то, едва выздоровев, они отправляются посетить его, с приношениями воска, меда или чего-нибудь другого. Они остаются там

около четверти часа и снова целуют его стены, прежде чем удалиться. Они без всякого затруднения целуют руку патриарху или епископу, являющемуся настоятелем монастыря. Что касается мечетей турок, они воздерживаются от входа туда.

Езиды признают главой своей религии шейха, управляющего тем племенем, которому поручена охрана могилы шейха Ади, восстановителя их секты. Эта могила находится в ведении князя Амадийского. Начальник этого племени всегда должен быть взят из потомства шейха Иезида; он утверждается в должности князем Амадийским, по просьбе езидов и при помощи подарка в несколько кошельков. Уважение, которое эти сектанты питают к главе своей религии, столь велико, что они почитают себя очень счастливыми, когда могут получить одну из его старых рубашек себе на саван: они верят, что это обеспечивает им более выгодное место на том свете. Некоторые отдают до сорока пиастров за подобную реликвию, и, если они не могут получить ее целиком, они довольствуются частью ее. Иногда сам шейх посылает в подарок одну из своих рубашек. Езиды тайно препровождают этому верховному главе часть добычи от всех своих грабежей, чтобы возместить его расходы, вызванные гостеприимством, которое он оказывает членам своей секты.

Глава езидов всегда имеет при себе другое лицо, которое они называют *кочек* и без совета которого он ничего не предпринимает. В кочке видят оракула главы секты, потому что он имеет привилегию непосредственно принимать откровения дьявола. Поэтому, если езид колеблется, должен ли он предпринять какое-нибудь важное дело, он отправляется к кочку спросить его мнения, которого он, впрочем, не получает без того, чтобы это не стоило ему некоторых денег. Прежде чем высказать совет, кочек, чтобы придать больше веса своему ответу, растягивается во всю длину на полу и, укрывшись, спит или делает вид, что спит, после чего

говорит, что ему было открыто во сне то или иное решение; иногда чтобы дать ответ, он берет отсрочку в две или три ночи. Следующий пример покажет, сколь велико доверие, питаемое к его откровениям. Примерно лет сорок тому назад женщины езидов, как и арабские женщины, носили, чтобы сберечь мыло, синие рубашки, выкрашенные индиго. Однажды утром, когда этого всего менее ожидали, кочек отправился к главе секты и заявил ему, что в прошедшую ночь ему было открыто, что синий цвет предвещает несчастье и не нравится дьяволу. Этого было достаточно, чтобы немедленно разослать всем племенам с нарочными предписание запретить синий цвет, сбросить с рук все платья этого цвета и заменить их белой одеждой. Это предписание было выполнено с такой точностью, что, если бы в наши дни езиду, которому пришлось поселиться у турка или христианина, дали синее одеяло, он скорее стал бы спать под одной своей одеждой, чем употребить это одеяло, будь это хоть в самое холодное время года.

Езидам запрещено подправлять усы ножницами, они должны предоставить им расти естественно; поэтому среди них находятся такие, у которых едва заметен рот.

Эта секта имеет также своих сатрапов, известных в местности близ Алеппо под именем *факиран* и которых простолюдин называет *карабаш*, так как они носят на голове *черную шапку* с завязками того же цвета.

Их верхняя одежда, или *аба*, также черная, но их нижнее платье—белое. Этих людей очень небольшое количество; всюду, куда они ходят, им целуют руки и встречают их как посланцев благословения и счастливых предзнаменований.

Когда их призывают к больному, они возлагают ему руки на шею и плечи и бывают хорошо вознаграждены за свой труд. Если они вызваны, чтобы обеспечить

умершему блаженство на том свете, они, прежде чем одеть тело, ставят его на ноги и слегка касаются его шеи и плеч; затем они ударяют его ладонью правой руки, обращаясь к нему одновременно со следующими словами на курдском языке: *ара бехешт*, то есть *иди в рай*. Они дорого берут за этот обряд и не довольствуются умеренным вознаграждением.

Езиды верят, что души умерших отправляются в место успокоения, где они наслаждаются большей или меньшей степенью блаженства, соразмерно с их заслугами, и что они иногда являются во сне своим родным и друзьям, чтобы сообщить им свои пожелания. Это верование общее у них с турками. Они также убеждены, что в день страшного суда они проникнут в рай с оружием в руках.

Езиды делятся на несколько народностей, или племен, независимо друг от друга. Светская власть верховного главы их секты распространяется только на одно его племя. Тем не менее, когда несколько племен находятся между собой в раздоре, его долг взять на себя посредничество в их примирении; редко случается, чтобы усилия, которые он для этого употребляет, не увенчались успехом. Некоторые из их племен живут во владениях князя Джулемеркского, другие на территории князя Джезиретского, есть среди них и такие, которые имеют местопребывание в горах, подчиненных управлению Диарбекира, другие находятся в области князя Амадийского. К числу последних относится самое благородное из всех племен, известное под названием *шейхан*, верховным главой религии которых и хранителем могилы шейха Ади является шейх, которого они называют *мир*, то есть князь. Начальники деревень, занимаемых этим племенем, происходят все из одной семьи и могли бы оспаривать друг у друга первенство, если бы между ними произошло какое-нибудь несогласие. Однако среди всех их племен самым могущественным и внушающим наибольший страх является то, которое

населяет гору Синджар между Моссулом и рекой Хабур и которое поделено между двумя шейхами, из коих один управляет восточной частью, а другой южной. Гора Синджар, богатая разными сортами плодов, очень трудно доступна, и племя, которое ее занимает, может выставить свыше шести тысяч стрелков, не считая кавалерии, вооруженной копьями. Не проходит года, чтобы какой-нибудь крупный караван не был ограблен этим племенем. Езиды этой горы выдержали несколько войн против пашей Моссула и Багдада. В таких случаях после того, как бывает пролито много крови с той и с другой стороны, всё в конце концов улаживается при помощи денег. Эти езиды всюду вызывают страх своей жестокостью; когда они разбойничают, они не ограничиваются тем, что грабят людей, попадающих им в руки, но всех без исключения убивают, и если среди них находятся *шерифы*, происходящие от Магомета или от мусульманских наставников, они их истребляют более варварским способом и с большей радостью, предполагая, что это составляет большую заслугу.

Султан терпит езидов в своем государстве, потому что, по мнению магометанских наставников, следует признавать верным и истинно верующим всякого, кто исповедует основные догматы (*Нет бога иного, кроме бога и Магомет—апостол бога*), хотя бы он в остальном не исполнял всех предписаний мусульманской веры.

С другой стороны, курдские князья терпят езидов ради своей частной выгоды: они стараются даже привлечь большее число племен этого народа в свои владения, так как езиды, будучи испытанной храбрости, хорошие солдаты, как пешие, так и конные, и очень пригодны на всякое смелое предприятие и на ночной грабеж в деревнях, почему эти князья и пользуются ими с большой выгодой, либо для того, чтобы укротить те из магометанских племен их округа, которые им отказывают в подчинении, либо для того, чтобы бороться с другими

князьями, когда между ними идет война. Впрочем, все магометане твердо убеждены, что всякий, кто гибнет от руки этих сектантов, умирает мучеником; поэтому князь Амадийский всегда заботится о том, чтобы постоянно держать при себе палача из этого народа, чтобы приводить в исполнение смертные приговоры против турок. Езиды имеют те же взгляды относительно турок, и это взаимно: если турок убивает езида, он совершает угодный богу поступок, а если езид убивает турка, он совершает дело очень достойное в глазах *великого шейха*, то есть дьявола. Когда амадийский палач несколько лет пробыл на службе у князя, он оставляет свою должность для того, чтобы другой мог, сделавшись его преемником, стать столь же достойным. Куда бы к езидам ни являлся палач после того, как он сложил с себя свои обязанности, его встречают с уважением и целуют его руки, освященные кровью турок.

Напротив того, персы и все магометане, входящие в секту Али, не терпят езидов в своих владениях; более того, среди них запрещено оставлять в живых этих сектантов.

Туркам разрешается, когда они воюют с езидами, обращать в рабство их жен и детей и оставлять их себе для собственной надобности или продавать их; езиды, не имея того же разрешения по отношению к туркам, всех их истребляют. Если езид хочет объявить себя турком, достаточно, чтобы он, вместо всякого исповедания веры, проклял дьявола, а затем пусть он спокойно учится молиться по обычаю турок: ибо езиды получают обрезание через восемь дней после рождения.

Все езиды говорят на курдском языке; среди них есть и такие, которые знают турецкий или арабский, так как им часто случается посещать людей, говорящих на том или другом из этих языков, а также из-за преимуществ, которые они видят в том, чтобы вести свои собственные дела с большей уверенностью, не пользуясь переводчиками.

Без сомнения, езидам свойственно еще много других заблуждений или суеверий, но изложенные мною являются единственными, о которых мне удалось получить сведения, так как у езидов нет никаких книг. Впрочем, многое у них изменяется вследствие так называемых откровений, что увеличивает трудность основательно узнать их учение.

### Маршрут от Тифлиса до Арзрума

Текст, написанный неизвестной рукой, занимает л. 2, тетради № 2383, сшитой жандармами из отдельных листов с перебеленным текстом «Путешествия в Арзрум». Л. 2 вклеен неправильно. «Маршрут от Тифлиса до Арзрума» должен был составить одно из двух «приложений» к «Путешествию», которое Пушкин, судя по этой рукописи, намеревался издать отдельной книгой. Другим приложением должно было быть «Notice sur la secte des Yézidis».

«Маршрут» напечатан впервые Якушкиным в «Русской Старине» 1884, № 11, стр. 372—373, и перепечатан в собрании сочинений Пушкина изд. «Просвещение», т. VI, стр. 662. И здесь и там нет указания, что «Маршрут» писан не рукой Пушкина.

«Маршрут от Тифлиса до Арзрума», составленный по поручению Пушкина на основании неизвестного источника и подготовленный к печати в виде приложения к «Путешествию в Арзрум», находится в соответствии с текстом «Путешествия» и обозначением населенных пунктов и урочищ уясняет путь, проделанный поэтом. Из них для текста «Путешествия» наибольшее значение имеют: Пост Акзибеук (надо думать, что к нему относятся слова Пушкина: «Переночевав на казачьем посту» (стр. 739)—здесь, следовательно, была первая ночевка поэта по выезде из Тифлиса, а не на Самисском посту (всего 72 версты от Тифлиса), как предполагает Е. Вей-

денбаум (о чем ниже); Безобдал («я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении», стр. 739); Гергерский пост («я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры», близ Гергер поэт встречает тело Грибоедова, в Гергерах же Пушкин соединяется с Бутурлиным—стр. 740—743); Бекант (Пушкин в «Путешествии» называет несуществующий в данном месте казачий пост Пернике, говоря: «От Пернике до Гумров считается 27 верст», на это обратил внимание Вейденбаум, писавший: «Название Пернике приведено Пушкиным ошибочно. Это селение Бекант, где находился казачий пост, в 27 верстах от Гумр» («Русский Архив» 1905, № 4, стр. 679), по «Маршруту» от Беканта до Гумр всего 15 верст); Гумры (впоследствии Александрополь) («до Гумров оставалось верст десять... Наконец, я достигнул Гумров около полуночи... В этот день проехал я 75 верст»—по «маршруту» от Акзибеука до Гумр 103½ версты; если же предположить, что местом первой ночевки был пост Самисы, то во второй день Пушкин должен был проделать 123 версты, а в первый день всего 72 версты, что неправдоподобно); Халиб Оглы («Я переменил иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20½ верстах от Карса»—Халиб Оглы по «маршруту» в 18½ верстах от Карса). От селения Котанлы «маршрут» намечает два пути—первый (западный) через Саган-лу, второй—через Миллидюз (восточный). В начале третьей главы «Путешествия» читаем: «Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Арзрумской дороге (второй путь) прямо противу турецкого лагеря, между тем как всё прочее войско должно было идти правую стороную в обход неприятелю (первый путь)—этим путем («правую стороную») и шел Нижегородский полк Раевского, с ним и направился поэт. Саган-лу («Мы благополучно прошли опасное ущелье и стали на высотах Саган-лу, в 10 верстах от неприятельского лагеря», стр. 752);

мост на Араксе («В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах», стр. 763, по «маршруту» в 14½ верстах); Гассан-Кале («24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега»); замок Минжегерт—правильнее Меджингерт. См. в книге «Рукою Пушкина» комментарий П. С. Попова к маршруту, стр. 880—881.



## Содержание\*

### Повести

От редакции . . . . .	7	
⟨Арап Петра Великого⟩ . . . . .	9	795
Повести покойного Ивана Петровича Белкина		
От издателя . . . . .	63	817
Выстрел . . . . .	70	819
Метель . . . . .	90	820
Гробовщик . . . . .	110	823
Станционный смотритель . . . . .	122	824
Барышня-крестьянка . . . . .	141	826
История села Горюхина . . . . .	172	828
Рославлев . . . . .	199	837
⟨Дубровский⟩ . . . . .	218	845
Пиковая дама . . . . .	342	857
Кирджали . . . . .	385	865
Египетские ночи . . . . .	396	867
Капитанская дочка . . . . .	417	872

### Отрывки и наброски

Надинька . . . . .	601	905
«Гости съезжались на дачу...» . . . . .	602	906

\* Второй столбец цифр означает страницы комментариев.

«На углу маленькой площади...» . . . . .	614 . . . . .	908
⟨Роман в письмах⟩ . . . . .	620 . . . . .	911
«В начале 1812 года полк наш стоял...» . . . . .	643 . . . . .	918
⟨Повесть о прапорщике Черниговского полка⟩ . . . . .	644 . . . . .	919
«Участь моя решена, я женюсь...» . . . . .	649 . . . . .	921
Отрывок . . . . .	654 . . . . .	923
⟨Роман на Кавказских водах⟩ . . . . .	659 . . . . .	924
⟨Русский Пелам⟩ . . . . .	663 . . . . .	931
«В 179* году возвращался я...» . . . . .	669 . . . . .	939
«Мы проводили вечер на даче у княгини Д. ...». . . . .	672 . . . . .	939
«Цезарь путешествовал...» . . . . .	682 . . . . .	942
⟨Мария Шонинг⟩ . . . . .	687 . . . . .	945

#### П л а н ы:

I. Карты; продан... . . . . .	699 . . . . .	948
II. ⟨Влюбленный бес⟩ . . . . .	699 . . . . .	948
III. ⟨L'homme du monde...⟩ . . . . .	699 . . . . .	949
IV. Н. избирает себе в наперсники... . . . . .	701 . . . . .	950
V. ⟨Планы и наброски повести о стрельце и боярской дочери⟩ . . . . .	701 . . . . .	950
VI. Криспин приезжает в губернию... . . . . .	702 . . . . .	951
VII. Les deux danseuses... . . . . .	703 . . . . .	952
VIII. «Сын казненного стрельца...» . . . . .	703 . . . . .	953

#### Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года

Предисловие . . . . .	707 . . . . .	955
Глава первая . . . . .	710 . . . . .	961
Глава вторая . . . . .	731 . . . . .	966
Глава третья . . . . .	756 . . . . .	968
Глава четвертая . . . . .	759 . . . . .	971
Глава пятая . . . . .	769 . . . . .	972
Заметка о секте езидов . . . . .	781 . . . . .	982

## Комментарии

Повести . . . . .	795
Отрывки и наброски . . . . .	905
Планы . . . . .	948
Путешествие в Арзрум . . . . .	955



Книга подготовлена к  
печати изд. «Academia»

\* \* \*

Редакторы:

Е. И. Ковальчик и  
Л. Е. Цукерман.  
Технический редактор  
Л. А. Фрязинова

Корректоры:

А. Н. Кашин и  
В. Н. Знаменская.

\* \* \*

Сдано в набор 9/1 1938.  
Подп. в печать 27/IV 1938.  
Уполн. Главлита Б-39663.  
Зак. изд. 270. Инд. X-00в.  
П 91. Тир. 20.300. Зак.  
т. 144140. У. ав. л. 32, 27.  
Печ. л. 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>+1 вкл. Бум.  
55×82<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

\* \* \*

Москва.

Гознак, Мытная, 17

\* \* \*

**Цена Р. 7.00**

## О П Е Ч А Т К И

Стр.	Строка	Напечатано:	Нужно:
77	5 сн.	bonnet de policé	bonnet de police
332	1 сн.	бриллиантов	бриллиантов
783	6 сн.	réligion	religion
838	10 св.	в «Современ- нике» 1837 г., т. III, стр. 197— 203,	в Посмертном изд. соч. Пуш- кина, т. XI, 1841, стр. 115—119,
935	13 св.	l'exécuteur	l'exécuteur
968	10 св.	Союза благо- действия	Союза Благоден- ствия
998	4 сн.	756	750

